Джордж Герберт Уеллс

Сплячий прокидається // Коли сплячий прокинеться

Твір подається російською мовою через відсутність українського перекладу

Глава 1

БЕССОННИЦА

Однажды, в жаркий полдень, во время отлива мистер Избистер, молодой художник, проживавший в Боскасле, направлялся из этого местечка в живописной бухточке Пентарджена с тем, чтобы осмотреть тамошние пещеры. Он шел пешком вдоль берега моря и, спускаясь по крутой тропинке к Пентарджену, неожиданно наткнулся на какого-то человека, который сидел под навесом выступавшей в море скалы. Вся поза этого человека говорила о глубоком отчаянии. Он сидел согнувшись; его руки бессильно свесились с колен, красные воспаленные глаза тупо глядели в пространство, и все лицо было мокро от слез.

Он оглянулся, услышав шаги художника. Оба смутились, особенно Избистер. Он невольно остановился и, не зная, как выйти из неловкого положения, с глубокомысленным видом промямлил что-то такое о погоде, "жаркой не по сезону".

— Да, жарко, — коротко отозвался незнакомец. Он помолчал с секунду и добавил однозвучным, вялым тоном: — Я не могу спать.

Избистер резко остановился.

— В самом деле?

Вот все, что он нашелся сказать, но во всей его манере сквозило искреннее желание помочь, насколько это в его власти.

— Это может показаться невероятным, — продолжал незнакомец, поднимая на него усталые глаза и подкрепляя свои слова вялым движением руки, — трудно поверить, но вот уже шесть ночей, как я не спал, совсем не спал, ни минуты.

— Советовались вы с докторами?

— Да. Ни одного путного совета. Микстуры, пилюли. А моя нервная система… Все эти лекарства, может быть, и хороши для большинства людей… Как бы это объяснить?.. Я не решаюсь принять достаточно сильную дозу.

— Это должно помочь, — заметил Избистер.

Он беспомощно стоял на узкой тропинке, недоумевая, что же делать дальше. "Бедняге хочется поговорить — это ясно", — подумал он и, движимый естественным при данных обстоятельствах побуждением, поспешил поддержать разговор.

— Сам я бессонницей никогда не страдал, — заговорил он беспечным тоном светской болтовни, — но я знаю, что для таких случаев существуют средства…

Незнакомец сделала жест отрицания.

— Я боюсь делать эксперименты.

Он говорил устало, через силу. Оба опять помолчали.

— А моцион? Пробовали вы моцион? — нерешительно спросил Избистер, переводя взгляд с измученного лица своего собеседника на его костюм туриста.

— Пробовал, как раз в эти дни. И, кажется, глупо сделал. Я прошел пешком весь берег от самого Нью-Кея. Я иду уже несколько дней. К умственному утомлению прибавилась физическая усталость — вот и все. Да ведь и началась-то со мной эта история от переутомления и… от забот. Я, видите ли…

Он оборвал речь, точно у него не хватило сил продолжать, потом потер лоб своей тонкой, костлявой рукой и начал снова так, как будто говорил сам с собой:

— Я — одинокий волк, живу уединенно, всем чужой, не принимаю прямого участия в жизни. Нет у меня ни жены, ни детей… Кто это сказал про бездетных людей, что это мертвые сучья на древе жизни?.. У меня нет жены, нет детей, нет обязанностей. Даже желаний нет в моем сердце. Я долго не находил себе задачи, цели в жизни. Но, наконец, нашел. Я решил сделать одно дело. Я сказал себе: я хочу это сделать и сделаю. И для того, чтоб сделать это, чтоб побороть инертность своего вялого тела, я прибегал к лекарствам. Боже ты мой! Сколько я их проглотил! Не знаю, все ли чувствуют то, что чувствовал я тогда. Сознаете ли вы, например, все неудобство иметь тело, ощущаете ли всю тяжесть его, чувствуете ли с отчаянием, как много времени оно отнимает у вашей души — времени и жизни?.. Жизнь! Да разве мы живем? Мы живем лишь урывками. Нам надо есть. Мы едим и получаем тупое пищеварительное удовлетворение или, наоборот, раздражение. Нам нужны движение, воздух, иначе наше мышление замедляется, ум тупеет, мысль отвлекается внешними и внутренними впечатлениями и забредает в тупики. А там наступает дремота и сон. Люди и живут-то, кажется, только затем, чтобы спать. Даже в лучшем случае человеку принадлежит такая ничтожная часть его дня. А тут еще приходят на подмогу эти наши друзья-предатели — алкалоиды, которые заглушают

естественное чувство усталости и убивают покой. Черный кофе, кокаин…

— Да, да, понимаю, — вставил Избистер.

— Но я окончил свое дело, — сказал раздражительно бедный больной. — Я добился своего.

— Ценою бессонницы?

— Да.

С минуту оба молчали.

— Вы себе представить не можете, до чего я жажду покоя — алчу и жажду, — снова заговорил незнакомец. — Все эти шесть долгих суток, с той минуты, как я кончил работу, в моей несчастной голове кипит водоворот. Мысли вихрем кружатся на одном месте, быстро, непрерывно… несутся бешеным потоком неведомо куда… — Он помолчал и кончил: — в бездну.

— Вам надо заснуть, — сказал Избистер с таким решительным видом, точно открыл радикальное средство. — Вам положительно необходимо заснуть.

— Мысли мои вполне ясны — яснее, чем когда-либо. И все-таки я знаю, чувствую, что меня захватил водоворот. Видали вы когда-нибудь, как в водоворот затягивает щепку? Разве она может бороться? Вот она кружится, кружится… все глубже, все ниже… прочь от света дня, прочь из счастливого мира живых… все дальше в пучину, на дно.

— Но позвольте… — возразил было Избистер.

Незнакомец вытянул руку решительным жестом.

— Я знаю, что я сделаю: я убью себя, — Глаза его сверкали безумием, голос звенел. — Я добьюсь покоя, если не где-нибудь еще, то там, у подножия этих скал, где зияет черная бездна, где волны так зелены, где то вздымается, то падает белая пена прибоя, где дрожит легкой рябью вон та узкая полоска воды. Там я, во всяком случае, найду… сон.

— Ну, уж это совсем неразумно, — проговорил Избистер, пораженный истерическим волнением незнакомца, — Наркотики все-таки лучше.

— Там я найду сон, — повторил тот не слушая.

Избистер смотрел на него.

— Найдете сон, вы говорите? Ну, знаете, это еще вопрос. В Лалворт-коувс есть такая же скала, во всяком случае, не ниже этой. Так вот с нее упала девушка — с самой верхушки, и что ж бы вы думали? Цела и невредима. Живет и по сей день.

— А эти скалы внизу? Разве можно упасть на них и не разбиться?

— Разбиться-то разобьетесь, конечно, и будете лежать всю ночь с переломанными костями, дрогнуть под брызгами холодной воды, мучиться… Что, хорошо?

Их взгляды встретились.

— Мне жаль разочаровывать вас, — прибавил Избистер беспечно. "С дьявольской находчивостью", — подумал он про себя, — но бросаться с этой скалы, да и со всякой вообще…Такой род самоубийства, — я

говорю с точки зрения художника (он засмеялся), — право, это уж чересчур по-любительски.

— Но что же мне делать? — прокричал почти с гневом незнакомец. — Когда ночь за ночью не спишь ни секунды… Ведь от этого с ума можно сойти!

— Скажите: всю эту длинную дорогу по берегу вы сделали один?

— Да.

— Неостроумно. Простите, что я так говорю. Один! Еще бы, как тут не свихнуться? Вы правильно тогда сказали: физическая усталость — плохое лекарство против переутомления мозга. И кто вам посоветовал это средство? Ходьба — хорошо говорить! Жара, солнцепек, одиночество — с утра до ночи, день за днем…. А вечером вы, наверно, ложились в постель и силились заснуть, а?

Избистер замолчал, устремив на страдальца лукаво-проницательный взгляд.

— Посмотрите на эти скалы! — крикнул вдруг тот, не отвечая на вопрос. Он взволнованно и сильно жестикулировал руками. — Посмотрите на это море, которое вечно сверкает и волнуется, как сейчас! Видите, как плещет и рассыпается белая пена вон под тем высоким утесом и снова исчезает в темной глубине. А этот синий купол со своим ослепительным солнцем, которое нещадно льет на землю горячие лучи? Это ваш мир. Вы его любите, вы чувствуете себя в нем, как рыба в воде. Вас он согревает, живит, дает вам наслаждение. А для меня…

Он повернулся к своему собеседнику и показал ему свое истощенное, бледное лицо, тусклые, налитые кровью глаза и бескровные губы. Он говорил почти шепотом.

— Для меня все это, весь этот мир — лишь внешняя оболочка моего страдания… моего горя.

Избистер обвел глазами дикую красоту сверкавших в высоте, залитых солнцем вершин, потом взгляд его снова упал на поднятое к нему человеческое лицо, на котором было написано такое отчаяние, и он не нашелся, что сказать. Но вдруг он вскинул голову нетерпеливым движением.

— Вам надо выспаться — вот и все. Проспите как следует ночь, и все покажется вам в другом свете, — вот увидите.

Теперь он был уже убежден в предопределенности этой встречи. Каких-нибудь полчаса тому назад он не знал, куда деваться от скуки; и вот ему представлялось занятие, которое могло дать вполне законное удовлетворение всякому порядочному человеку. Одна мысль о предстоящей задаче поднимала его в собственных глазах, и он жадно ухватился за нее. Он решил, что этому несчастному прежде всего нужно общество, а потому, недолго думая, опустился на поросший травой выступ холма рядом с неподвижно сидевшей фигурой и принялся болтать о чем попало.

Но незнакомец, по-видимому, не слушал его: он снова погрузился в апатию. Угрюмым, неподвижным взглядом смотрел он на море, отвечая только на прямые вопросы, да и то не на все, но ничем, однако, не протестуя против непрошенного участия своего новоявленного друга.

Бедняга был как будто даже благодарен ему — по-своему, безмолвно и апатично, — и когда Избистер, чувствуя, что его разговорные ресурсы, не встречая поддержки, скоро иссякнут, предложил снова подняться на кручу и вместе вернуться в Боскасль, тот спокойно согласился. Не прошли они и половины подъема, как незнакомец принялся говорить сам с собой, потом вдруг повернул помертвелое лицо к своему спутнику.

— Что это? Что это?.. Вертится, вертится — быстро-быстро, как веретено. Все вертится… и без конца.

Он показал рукою, как все вертится.

— Ничего, милейший, все вздор, — проговорил Избистер тоном старого друга. — Вы только не волнуйтесь. Положитесь на меня.

Тот опустил руку и пошел дальше. И все время, пока они огибали гребень горы по узкой тропинке, где можно было идти только гуськом, и потом, когда, миновав Пинолли, они подходили к плоскогорью, измученный человек размахивал руками, бессвязно бормоча все о том же — как у него вертится в мозгу. На мыске, перед выходом на плоскогорье, в том месте, откуда открывается вид на черную яму Блэкапита, они присели отдохнуть. Еще раньше, как только тропинка настолько расширилась, что можно было идти рядом, Избистер снова начал болтать. Только он стал распространяться о том, как трудно в непогоду войти в Боскасльскую гавань, как вдруг его спутник, перебив его на полуслове, опять заговорил:

— Положительно что-то странное творится с моей головой. — Он усиленно жестикулировал, должно быть оттого, что ему не хватало достаточно выразительных слов, — Раньше этого не было. Что-то давит мне мозг, точно гнет какой-то навалился…. Нет, это не от бессонницы. Это не дремотное состояние. Хорошо, если бы так! Это как тень, как густая завеса, которая вдруг упадет и закроет от тебя главное, самое нужное, над чем ты хочешь подумать. И мысль твоя продолжает кружиться в темноте. О, какая сумятица мыслей, какой ужасный хаос! Кругом, кругом, все в одну сторону… все вертится и жужжит… Я не могу этого выразить… не могу сосредоточиться настолько, чтобы ясно выразить это в словах.

Он замолчал, обессилев.

— Успокойтесь, голубчик, — сказал Избистер. — Я вас, кажется, понимаю. Да, впрочем, и не стоит объяснять: право, это не так важно.

Незнакомец с усилием поднес руки к лицу и долго протирал глаза. Все это время Избистер, не умолкая, болтал. Вдруг его осенила новая мысль.

— Знаете что, зайдемте ко мне, — предложит он. — Выкурим по трубочке. Я покажу вам мои наброски Блэкапита. Хотите?

Больной послушно встал и последовал за ним по начинавшемуся спуску. Он шел очень тихо, нетвердыми шагами. Несколько раз Избистер слышал, как он спотыкался.

— Так, значит, решено: вы зайдете ко мне. Выкурите трубку или сигару. А заодно, может быть, захотите испробовать благодетельное действие алкоголя. Вы пьете вино?

Они стояли у садовой калитки перед домом, где жил Избистер.

Незнакомец не отвечал и не двигался с места. Он кажется, уже перестал сознавать, где он и что делает.

— Я не пью, — медленно выговорил он наконец, направляясь тем не менее к дому по садовой дорожке. Немного погодя он рассеянно повторил: — Нет, я не пью… А оно все вертится, все вертится…

В дверях он споткнулся и вошел в дом, как человек, который ничего не видит перед собой.

Он тяжело опустился, почти упал в кресло, нагнулся вперед, подпер голову руками и застыл в этой позе. Через несколько секунд послышались какие-то слабые звуки вроде хрипенья.

Избистер двигался по комнате с нервной торопливостью неопытного хозяина, роняя изредка отрывочные фразы, не требовавшие ответа. Он перешел комнату, достал свою папку с этюдами и положил ее на стол. Потом взглянул на часы, стоявшие на камине.

— Хотите, может быть, поужинать со мной? — проговорил он, держа в руках незакуренную сигару. В эту минуту он ломал голову над вопросом, нельзя ли как-нибудь незаметно подсунуть гостю хорошую дозу хлорала. — У меня ничего нет, кроме холодной баранины, — продолжал он, — Но баранина первый сорт — из Уэльса. Ах, да, есть еще, кажется, торт.

Выждав немного и не получив ответа, он повторил эти слова. Но человек, сидевший в кресле, продолжал молчать. Избистер тоже замолчал и смотрел на него с зажженной спичкой в руке.

Тишина не прерывалась. Спичка догорела и погасла, незакуренная сигара была отложена в сторону. Гость был до странности неподвижен.

Избистер снова взялся за свою папку, раскрыл ее и задумался, собираясь что-то сказать.

— Может быть… — нерешительно начал было он пониженным голосом и замолчал. Взглянул на дверь, на неподвижную фигуру, сидевшую перед ним. Потом на цыпочках, стараясь ступать как можно осторожнее и беспрестанно оглядываясь на своего странного гостя, вышел из комнаты и бесшумно притворил за собой дверь.

Наружная дверь была не заперта. Он вышел в сад и встал у средней клумбы. Отсюда через открытое окно его комнаты ему была видна склоненная фигура в кресле. Незнакомец не изменил позы: он, видимо, не шелохнулся с тех пор, как его оставили одного.

Какие-то ребятишки, бежавшие гурьбой по дороге, остановились и с любопытством глазели на художника. Знакомый лодочник, проходя, поздоровался с ним. Ему становилось неловко торчать так, без всякого дела: он чувствовал, что его положение наблюдателя должно казаться публике странным и необъяснимым. Может быть, оно выйдет естественнее, если закурить? Он достал из кармана кисет с табаком и стал не спеша набивать трубку.

— Что же это будет, однако, хотел бы я знать? — пробормотал он уже с некоторым оттенком досады. — Ну, да уж пусть себе спит, не будить же его. — Он храбро чиркнул спичкой и закурил.

Вдруг он услышал за собой шаги своей хозяйки. Она шла с зажженной лампой из кухни в его комнату. Он обернулся и замахал на нее трубкой, шепча ей, чтоб она не входила к нему. Не без труда удалось ему объяснить ей положение дел: ведь она даже не знала, что у него сидит гость. Она отправилась обратно со своей лампой, видимо заинтригованная такой таинственностью, а он снова занял свой наблюдательный пост у клумбы, взволнованный и не в духе.

На дворе совсем стемнело. В воздухе замелькали летучие мыши. Он давно уже докурил свою трубку, а человек в кресле все не шевелился. Хорошо бы взглянуть на него поближе… Но всякие сложные соображения удерживали его. Наконец любопытство превозмогло. Тихонько прокрался он в свою комнату, где теперь было совершенно темно, и остановился на пороге. Незнакомец сидел в прежней позе, выделяясь темным пятном на светлом квадрате окна. За окном стояла полная тишина; только со стороны гавани слабо доносилось пение: должно быть, матросы пели на одном из стоявших там мелких судов. Высокие стебли дельфиниума на клумбе слабо вырисовывались на буром фоне ближнего холма.

Вдруг Избистер вздрогнул: у него мелькнула одна мысль. Он нагнулся над столом и прислушался. Его подозрение окрепло. Мало-

помалу оно превратилось в уверенность. Ему стало страшно.... Если человек этот спит, так отчего же не слышно его дыхания?..

Бесшумно, осторожно, поминутно прислушиваясь, Избистер обошел вокруг стола. Вот он положил руку на спинку кресла и нагнулся над спящим, почти касаясь головой его головы. Потом нагнулся еще ниже, заглянул ему в лицо и откинулся назад с криком испуга: вместо глаз на него глядели белые стекляшки. "Глаза открыты, а зрачки закатились под лоб, — сообразил он, всмотревшись пристальнее. — Что же такое, наконец, с этим человеком?"

Его испуг превратился в ужас. Он взял незнакомца за плечо и принялся трясти его.

— Вы спите? — спросил он дрогнувшим голосом и, не получив ответа, повторил тоном ниже: — Вы спите?

Человек этот умер — теперь он был в этом убежден. Он вдруг засуетился: быстрыми шагами перешел комнату, наткнувшись при этом на стол, и сильно позвонил.

— Пожалуйста, свету! — крикнул он своей хозяйке в коридор. — С моим знакомым что-то случилось.

Потом он вернулся к своему неподвижному гостю и снова взял его за плечо. Он тряс его, кричал ему в ухо — напрасно. Комната вдруг осветилась желтым светом: хозяйка внесла лампу. На ее лице было написано изумление. Он повернулся к ней бледный, мигая от внезапного света.

— Я побегу за доктором, — сказал он, — С ним, должно быть, припадок, если только это... не смерть. Есть вас доктор в деревне? Где он живет?

Глава II

ТРАНС

Состояние каталептического столбняка, в которое впал незнакомец, продолжалось беспримерно долгое время. Со временем его окоченелые члены приобрели прежнюю гибкость. Тогда стало возможным закрыть ему глаза, и он производил впечатление человека, спящего спокойным сном.

Из квартиры художника его перенесли в больницу в Боскасле, а из больницы через несколько недель отправили в Лондон. Но все усилия врачей вывести его из этого состояния оставались бесплодными. Спустя некоторое время по причинам, о которых речь впереди, было решено оставить эти попытки. Долго, очень долго пролежал он таким образом, инертный, недвижимый — не мертвый, не живой, остановившись, так сказать, на полдороге между жизнью и небытием. Спячка его была абсолютною тьмой, в которую не проникал ни один луч мысли или сознания: это был сон без сновидений, длительный, глубокий покой. Его душевная буря, все разрастаясь, достигла своего предела и сразу сменилась полной тишиной. Где был человек в это время? Где была его душа? Где витает вообще душа человека, когда он теряет сознание?

— Мне кажется, это было вчера, так ясно я это помню, — сказал Избистер, — Право, я не мог бы помнить яснее, если бы все это случилось вчера.

Это был тот самый молодой художник, с которым мы познакомились в прошлой главе, но теперь он уже не был молодым. Его когда-то густые темные волосы, которые были у него всегда немного длиннее, чем это принято у мужчин, теперь были острижены под гребенку и серебрились сединой. Его когда-то свежее, розовое лицо огрубело и стало красным. Теперь он носил бородку клином, и в ней было, по крайней мере, наполовину седых волос.

Он разговаривал с другим пожилым человеком в легком летнем костюме. Это был Уорминг, лондонский адвокат и ближайший родственник Грехэма — того самого больного, который впал в транс. Оба стояли в комнате рядом и смотрели на распростертое тело того, о ком они говорили.

Это было сухое желтое тело с вялыми членами и непомерно отросшими ногтями, с осунувшимся лицом и щетинистой бородой. Прикрытое только длинной рубахой, оно лежало на налитом водою гуттаперчевом матраце, в высоком ящике из тонкого стекла. Эти стеклянные стенки как будто отграничивали спящего от реальной жизни, отделяли его от мира живых, как аномалию, как диковинку, как странное уродство. Двое живых стояли у самого ящика, заглядывая в него.

— Признаюсь, я очень тогда испугался, — снова заговорил Избистер. — Меня и теперь бросает в дрожь, когда вспомню эти белые глаза. Они у него, знаете, совсем закатились тогда, так что видны были только белки. Все это так живо мне вспоминается теперь… когда я смотрю на него.

— А вы с тех пор ни разу его не видали? — спросил адвокат.

— Много раз думал зайти посмотреть, да все дела мешали. Дела в наше время не много оставляют человеку досуга. Я ведь большей частью жил в Америке все эти годы.

— Вы, кажется, живописец, насколько я припоминаю? — спросил Уорминг.

— Был. Потом, когда я женился, я скоро понял, что мне надо распрощаться с искусством. Искусство — роскошь, по крайней мере для нашего брата — людей среднего дарования. Я занялся практическим

делом, и успешно. Видали вы в Дувре на скалах рекламы? Все это работа моей мастерской.

— Хорошие рекламы, — сказал Уорминг, — хоть, признаюсь, мне неприятно было встретить их там.

— Работа прочная: продержится, пока стоят сами скалы, ручаюсь! — самодовольно воскликнул Избистер. — Эх, как меняется жизнь! Двадцать лет тому назад, когда он уснул, я проживал в Боскасле свободным художником. Благородное старомодное честолюбие да ящик с акварельными красками составляли все мое имущество. Не думал я тогда, что моим кистям выпадет со временем честь размалевать весь берег милой старой Англии от Лэндс-Энда вплоть до Лизарда. Да-а, удача часто приходит, откуда меньше всего ее ждешь.

У Уорминга, видимо, были кое-какие сомнения насчет такой удачи, но он сказал только:

— Помнится, мы тогда чуть-чуть не встретились в вами в Боскасле. Вы уехали за час до моего приезда.

— Да. Вы приехали тем самым дилижансом, который отвез меня на станцию. Это было в день юбилея Виктории: я помню, еще флаги развевались на Вестминстере и на улицах была страшная давка. Мой извозчик на кого-то наехал в Челси, и вышла целая история…

— Да, это был второй юбилей — бриллиантовый, — заметил Уорминг.

— Да, да. Во время первого, главного, когда праздновалось пятидесятилетие, я был еще мальчишкой и жил в провинции, так что ничего не видал… о господи — я опять возвращаюсь к Грехэму, — какой это был переполох тогда, если б вы знали! Моя хозяйка ни за что не хотела оставить его у себя. И в самом деле, он был такой страшный! Пришлось перенести его в гостиницу. Боскасльский доктор — не

теперешний молодой, а прежний — старичок — провозился с ним до двух часов ночи. Мы с хозяином гостиницы помогали ему: держали свечи, подавали все нужное, бегали в аптеку… Ничего не помогло.

— Вначале это был, кажется, обыкновенный столбняк?

— Да. Он был деревянный: как ни согни, так и остается. Если б его на голову поставить, он и то бы стоял. Ничего подобного я никогда не видал. То, что вы теперь видите (он указал на распростертую фигуру движением головы), совершенно другое.… А этот старикашка доктор… как бишь его звали?

— Смитерс?

— Да, Смитерс… Он просто ошибся. Он ведь надеялся очень скоро привести его в чувство. Чего он только не испробовал! Мороз по коже продирает, как вспомнишь. И горчицу, и нюхательный табак, и щипки. А потом притащил еще эту проклятую машинку… динамо не динамо, а как ее?

— Индукционную катушку?

— Да. И пустил ее в ход. Если бы вы видели, как его дергало! Каждый мускул прыгал. Вы только представьте себе: полутемная комната… лишь у кровати горят две свечи, которые мы двое держим в руках… пламя колеблется… на стенах дрожат тени… маленький доктор нервничает, суетится, а тот весь корчится под током, точно автомат на пружинах.… Уф! мне и теперь часто снится эта картина.

Молчание.

— Да, странное явление, — сказал Уорминг.

— Очень странное. Человек в этом состоянии, можно сказать, отсутствует вполне. Остается только тело без души — не мертвое, но и не живое. Это все равно, как стул в каком-нибудь общественном месте — пустой, но на котором написано "занят". Ни ощущений, ни пищеварения, ни биения сердца. Взгляните: ну кто скажет, что это живой человек? В известном смысле он мертвее мертвого, потому что у него даже волосы перестали расти, — так я слышал от врачей. А у мертвецов ведь волосы еще некоторое время…

— Да, я знаю, — перебил его Уорминг с оттенком неудовольствия.

Они еще раз заглянули в стекло. Действительно, престранный феномен представлял этот спящий. Во всей истории медицины не было подобных примеров. Бывали случаи, что спячка продолжалась около года, но к концу этого срока она всегда заканчивалась или пробуждением или смертью. Случалось и так, что вслед за пробуждением наступала смерть.

Избистер заметил на теле спящего несколько знаков, оставшихся после вспрыскивания под кожу питательных веществ (в первое время врачи прибегали к этому средству, чтобы предупредить паралич сердца). Он указал на них Уормингу, который и сам давно их заметил, но старался не смотреть.

— Подумать только, как много перемен произошло в моей жизни с тех пор, как он здесь лежит! — продолжал Избистер с эгоистическим самодовольством здорового человека, который любит жизнь. — Я успел жениться, обзавестись семьей. Мой старший сын, — в то время я и не помышлял ни о каких сыновьях, — мой старший сын уже американский гражданин и скоро кончает университет. Я постарел, поседел. А этот человек ни на один день не состарился и ни на йоту не стал умнее — в практическом смысле, хочу сказать, — чем был я в дни моей зеленой юности. Курьезно!

Уорминг повернулся к нему.

— Я тоже стариком стал. Мы с ним в крикет играли мальчишками, а он все еще выглядит молодым человеком. Пожелтел, это правда. Но все-таки еще молодой человек.

— А сколько событий совершилось за эти годы. Война…

— И началась, и кончилась, и забыли о ней.

— У него, я слыхал, было небольшое состояние? — спросил Избистер, помолчав.

— Как же! — подтвердил, принужденно покашливая, Уорминг. — Я хорошо это знаю, так как был назначен его опекуном.

— А-а… — Избистер опять помолчал, потом нерешительно заговорил: — Вероятно… ведь содержание его здесь недорого стоит… вероятно, за эти годы его состояние возросло?

— Конечно. Он проснется — если только проснется — богатым человеком, значительно богаче, чем был.

— Видите ли, меня, как делового человека, естественно, занимает этот вопрос, — сказал Избистер. — Мне даже приходило иногда в голову, что эта спячка была для него очень выгодна. Он, можно сказать, весьма предусмотрительно поступил, заснув на такой большой срок. Если б он продолжал жить…

— Сомневаюсь, чтобы он загадывал вперед на такой долгий срок, — перебил Уорминг. — Он никогда не отличался предусмотрительностью. Мы с ним всегда расходились по этому пункту. Он был очень неблагоразумен во всем, и я поневоле должен был его опекать. Вам, как человеку практическому, должно быть понятно, что…. Впрочем, не в

этом вопрос. Выгодна или невыгодна для него эта спячка — во всяком случае, сомнительно, чтоб он вернулся к жизни. Такой сон истощает, медленно, но все же истощает. Тихонько, незаметно человек катится вниз… вы меня понимаете?

— Очень жаль, если так. Воображаю его изумление, если бы он проснулся!

— Жаль будет, если мы этого не увидим. Сколько было перемен за эти двадцать лет! Словно возвратившийся Рип Ван Винкль.

— Куча перемен, — сказал Уорминг, — Да, перемен было немало для каждого из нас. Для меня, например: я теперь старик.

— Я бы этого не сказал, — нерешительно пробормотал Избистер, изобразив удивление на своем лице. Но удивление вышло несколько запоздалым.

— Мне было сорок три года в тот год, когда я получил уведомление от его банкиров об этом казусе. Это вы ведь тогда телеграфировали им, помните?

— Да. Я нашел их адрес в чековой книжке, которая оказалась у него в кармане, — сказал Избистер.

— Ну-с, сорок три да двадцать… сумму нетрудно получить.

Избистеру очень хотелось задать один вопрос. Выждав приличную паузу, он, наконец, решился дать волю своему любопытству.

— Ведь это может затянуться на многие годы, — начал он. Потом он немного замялся и продолжал: — Надо прямо смотреть в глаза будущему. В один прекрасный день опека над его состоянием может перейти… в другие руки, не так ли? Что тогда?

— Поверьте, мистер Избистер, я и сам много думал об этом. Дело в том, что между моими близкими нет никого, кому бы можно было доверить такую опеку…. Да, положение не из обыкновенных, — беспримерное, можно сказать.

— Мне кажется, в подобных случаях опекуном следовало бы назначать какое-нибудь официальное лицо, — сказал Избистер.

— Скорее, официальное учреждение. Тут нужен бы бессмертный опекун — конечно, если он очнется и будет жить, как полагают многие из врачей… Я даже обращался под этому поводу в некоторые учреждения, но пока безуспешно.

— А что ж бы вы думали? Чудесная мысль! Сдать его на попечение Британскому музею, например, или Королевской медицинской коллегии. Оно странно звучит, это правда, но ведь и весь-то случай странный.

— Вы говорите: сдать медицинской коллегии. А как вы убедите их принять его? В этом главное затруднение.

— Вы правы. Этот их формализм, канцелярщина…

Новая пауза.

— Да, прекурьезная история, могу сказать, — снова заговорил Избистер. — Заметили вы, как у него нос заострился и как провалились глаза?

Уорминг поглядел на спящего и ответил не сразу.

— Я сомневаюсь, чтобы он проснулся когда-нибудь.

— Я никогда не мог хорошенько понять, отчего с ним это приключилось, — сказал Избистер. — Он говорил мне что-то такое о переутомлении. Так неужели только от этого? Мне очень хотелось бы знать.

— Он был человек одаренный, но чересчур впечатлительный, нервный, порывистый во всем. У него были серьезные домашние неприятности. Он разошелся с женой и, вероятно, чтоб как-нибудь забыться, очертя голову бросился в политику. Он был фанатик-радикал, вернее социалист — энергичный, необузданный, дикий. Он вел жестокую полемику со своими противниками, работал как лошадь и надорвался. Я помню его памфлет. Любопытное произведение. Какой-то бред сумасшедшего, но с огоньком. Там было много пророчеств. Большая часть из них провалилась, но два-три сбылись. Впрочем, вообще говоря, читать такие вещи, значит время терять.... Да, от многого придется ему отказаться и многому поучиться, когда он проснется.... если только проснется.

— Дорого бы я дал, чтобы видеть этот момент... послушать, что он скажет, когда оглядится и узнает, как долго он спал, — сказал Избистер.

— И я хотел бы видеть, очень хотел бы, — проговорил Уорминг с недовольным чувством жалости к себе, какое часто бывает у старых людей. — Но я никогда не увижу. — Он замолчал и задумчиво смотрел на восковое лицо спящего, — Этот человек никогда не проснется, — прибавил он и вздохнул. — Никогда.

Глава III

ПРОБУЖДЕНИЕ

Но Уорминг ошибся: Гренхэм проснулся.

Что за сложное целое представляет собою эта кажущаяся столь простою единица, которую мы называем человеческим "я". Кто проследит, как происходит ее реинтеграция изо дня в день в момент нашего пробуждения, как растут, переплетаются и сливаются составляющие ее бесчисленные факторы? Кто проследит эти первые движения пробуждающейся души, этот переход от бессознательного к полусознательному вплоть до того момента, когда оно озарится полным светом сознания и мы вновь обретем себя? Такое бывает почти с каждым из нас даже после одной ночи крепкого сна. Так было и с Грехэмом после его долгой спячки. Туманное облако еще неосознанных ощущений сменилось странным чувством жути, и он осознал себя, довольно смутно правда, слабым, очень слабым, но живым.

Это странствование во мраке в поисках своего "я" заняло, казалось ему, целые века. Чудовищные сны, бывшие для него в свое время страшной действительностью, оставили в его памяти неясные, но тревожные следы, туманные образы странных существ, небывалых пейзажей, точно с другой планеты. Было еще впечатление какого-то важного разговора...Какое-то имя, — он никак не мог припомнить его, — вертелось у него в голове; потом явилось странное, давно забытое ощущение собственного тела… мучительное сознание бесплодных усилий выплыть на свет, как это бывает с утопающими…. Затем перед ним встала незнакомая панорама, в которой все колебалось и сливалось, ослепляя его.

Грехэм понял, что глаза у него открыты, что он смотрит на какой-то непонятный предмет.

Это было что-то белое, похожее на ребро деревянной рамы. Он слегка повернул голову, чтобы лучше рассмотреть этот предмет, но ему не видно было, где он кончается. Он попробовал было отдать себе отчет, где он. Да, впрочем, не все ли равно, когда он чувствует себя таким бессильным и жалким? Мрачное уныние — таков был общий тон его мыслей. Он испытывал чувство беспричинной, неопределенной тоски, как бывает, когда проснешься незадолго до рассвета. Потом ему

показалось, что он как будто слышит шепот и поспешно удаляющиеся шаги.

Попытка повернуть голову вызвала в нем ощущение крайней физической слабости. Он думал, что лежит в постели, в гостинице той деревушки, где он останавливался в последний раз; но такой белой рамы над постелью там, помнится ему, не было. Он, очевидно, долго спал. Теперь он припомнил, что у него была бессонница. Вспомнилась ему скала, водопад и как он разговаривал с каким-то прохожим…

Долго ли он спал? Кто это сейчас убежал из комнаты? И что это за гомон вдали, который то разрастается, то затихает, точно шум прибоя? Он с усилием протянул руку, чтобы взять часы, которые он всегда клал на ночь на стул возле себя, и наткнулся на что-то гладкое и твердое, похожее на стекло. Это было так неожиданно, что он испугался. Он разом повернулся на бок, с минуту в недоумении смотрел перед собой, потом сделал усилие, чтобы сесть. Это оказалось гораздо труднее, чем он ожидал: у него закружилась голова, он совсем ослабел… "Да что же это такое? Где же я наконец?"

Он протер глаза. Загадочность того, что его окружало, приводила его в тупик, но ход его мыслей был вполне логичен: ясно, что сон освежил его ум. Он заметил, что он совершенно раздет и лежит не на кровати, а на какой-то мягкой упругой подстилке, в ящике из цветного стекла. Подстилка была полупрозрачная, что он заметил с некоторым страхом, а под ней было зеркало, в котором смутно отражалось его тело. К его руке, — он испугался, увидев, как высохла и пожелтела его кожа, — был так искусно прикреплен какой-то гуттаперчевый прибор, что он, казалось, представлял с ней одно целое. И это странное ложе помещалось в ящике из зеленоватого стекла — так ему, по крайней мере, казалось. Одна из перекладин белой рамы этого ящика и привлекла его внимание в первый момент. В углу ящика стояла подставка с какими-то незнакомыми ему блестящими приборами очень тонкой работы, между которыми он различил только максимальный и минимальный термометры.

Зеленоватый цвет стекловидного вещества, окружавшего его со всех сторон, мешал ему хорошо рассмотреть, что было за ящиком, но он все-таки мог видеть обширный великолепный зал с огромной, лишенной всяких орнаментов аркой, находившейся прямо против него. У самой его клетки была расставлена мебель: стол, накрытый скатертью, серебристой, как рыбья чешуя; два-три изящных кресла. На столе стояли разные яства, бутылка и два стакана. Тут только он почувствовал, как он голоден.

В комнате не было ни души. После минутного колебания он сполз со своей прозрачной подстилки и попробовал встать на чистый, белый пол своей клетки. Но он плохо рассчитал свои силы, пошатнулся и, чтобы не упасть, уперся рукой в стекловидную стенку ящика. Она удержала его руку на мгновение, растягиваясь и выпячиваясь наружу, потом вдруг лопнула с легким треском и исчезла, как мыльный пузырь. Ошеломленный, он вылетел из ящика, ухватился за стол, чтоб удержаться на ногах, столкнув при этом на пол один из стаканов, который зазвенел, но не разбился, и опустился в кресло.

Когда он немного опомнился, он взял бутылку, наполнил оставшийся на столе стакан и выпил. Это была бесцветная жидкость, но не вода; она имела очень приятный вкус и запах и обладала свойством быстро восстанавливать силы. Он поставил стакан и стал осматриваться кругом.

Огромный зал ничуть не потерял своего великолепия после того, как исчезла зеленоватая оболочка, сквозь которую он смотрел перед этим. По ту сторону находившейся перед ним высокой арки начиналась лестница, которая вела вниз, в широкую галерею. Вдоль этой галереи, по обе стороны, тянулись колонны из какого-то блестящего камня цвета ультрамарина с белыми прожилками. Оттуда доносился гул человеческих голосов и какое-то ровное и непрерывное гудение.

Теперь Грехэм совершенно очнулся. Он сидел, выпрямившись, и прислушивался с таким напряженным вниманием, что даже забыл о

еде. Вдруг ему стало неловко: он вспомнил, что он раздет. Обыскивая глазами, чем бы прикрыться, он увидел на стуле возле себя длинный черный плащ. Он завернулся в этот плащ и снова опустится в кресло, весь дрожа.

Он был совершенно ошеломлен и терялся в догадках. Одно было ему ясно: он спал очень долго, и его куда-то перенесли во время сна. Но куда? И кто эти люди там, за голубыми колоннами, эта толпа, кричащая вдали? Не может быть, чтобы все это было в Боскасле. Он налил из бутылки еще стакан бесцветной жидкости и выпил.

Что это за здание? Где находится этот великолепный зал? И почему ему кажется, что эти стены все время дрожат, точно живые. Он обвел взглядом изящный, простой, без всяких архитектурных украшений зал и увидел в потолке большое круглое отверстие, сквозь которое сверху лился яркий свет. Вдруг он заметил, что на этот светлый круг набежала какая-то тень и скрылась, потом еще и еще. "Тррр, тррр…" — у этой мелькающей тени был свой самостоятельный звук, отчетливо слышный сквозь глухой ропот толпы, наполнявший воздух.

Он хотел крикнуть, позвать, но голос изменил ему. Он встал и неверными шагами, как пьяный, направился к арке. Спотыкаясь, он кое-как спустился с лестницы, наступил на край бывшего на нем плаща и еле удержался на ногах, ухватившись за колонну.

Он очутился в галерее; перед ним открылась широкая перспектива с преобладанием голубого и пурпурного тонов. Галерея заканчивалась перед ним открытым выступом, обнесенным решеткой, чем-то вроде балкона. Балкон был ярко освещен и висел на большой высоте, но, по-видимому, все вместе представляло внутренность какого-то гигантского здания, потому что за балконом, как сквозь дымку, виднелись вдали величественные очертания причудливых архитектурных форм. Теперь голоса доносились до него громко и явственно. На балконе спиной к нему стояли, сильно жестикулируя и оживленно о чем-то разговаривая, три человека в роскошных костюмах

широкого, свободного покроя и ярких цветов. Через балкон долетали крики огромной толпы. Раз ему показалось, что мимо промелькнула верхушка знамени или флага; потом в воздухе пронеслось что-то бледно-голубое, может быть подброшенная вверх шляпа, и, описав дугу, упало. Кричали как будто по-английски; очень часто повторялось слово "проснись". Потом он услышал чей-то пронзительный крик, и вдруг три человека на балконе стали громко смеяться.

— Ха-ха-ха! — покатывался одни из них, рыжеволосый, в ярко-красном плаще. — Когда проснется Спящий! Ха-ха-ха!

Еще со смехом он оглянулся назад, в сторону галереи, — и замер. Лицо его сразу изменилось. У него вырвался возглас испуга. Двое других быстро обернулись в ту же сторону и тоже окаменели. На их лицах выразилась растерянность, почти ужас.

У Грехэма вдруг подогнулись колени. Его рука, державшаяся за колонну, соскользнула. Он покачнулся и упал ничком.

Глава IV

ОТГОЛОСКИ ВОЛНЕНИЙ

Последним впечатлением Грехэма, прежде чем он лишился чувств, был оглушительный звон колоколов. Впоследствии ему рассказали, что час он был без сознания, между жизнью и смертью. Когда он, наконец, пришел в себя, он снова лежал на своем прозрачном гуттаперчевом ложе. Во всем теле и в сердце он ощущал живительную теплоту. Он заметил, что рука его по-прежнему забинтована, но странный резиновый прибор был снят. Его окружала все та же белая рама, но заполнявшее ее зеленоватое стекловидное вещество исчезло. Над ним стоял человек в темно-лиловом плаще — один из тех троих, которых он застал на балконе, — и внимательно всматривался в его лицо.

Откуда-то издалека слабо, но назойливо доносился трезвон и смешанный многоголосый гул. В его воображении встала картина огромной кричащей толпы. Потом сквозь этот шум до него долетел короткий резкий стук, как будто где-то вдали захлопнулась тяжелая дверь.

Он повернул голову.

— Что все это значит? Где я? — с усилием выговорил он.

Тут он увидел рыжего человека — того самого, который первым заметил его. Чей-то голос, ему показалось, спросил: "Что он говорит?" — и другой ответил шепотом: "Молчите".

Потом заговорил человек в лиловом. Он говорил по-английски, с легким иностранным акцентом.

— Не бойтесь, вы в безопасности, — сказал он пониженным голосом, как говорят с больными. — Из того места, где вы заснули, вас перенесли сюда. Вы пролежали здесь довольно долго. Все это время вы спали. У вас была спячка, транс.

Он сказал еще что-то, чего Грехэм не расслышал, потом взял поданный ему кем-то флакон. Грехэм ощутил на лбу прохладную струю какой-то ароматической жидкости, которая удивительно освежила его. Ощущение было такое приятное, что у него от удовольствия сами собою закрылись глаза. Когда он их снова открыл, человек в лиловом спросил его:

— Что, теперь лучше? — Это был еще молодой человек, лет тридцати, с остроконечной белокурой бородкой и с приятным лицом. Его лиловый плащ был застегнут у горла золотою пряжкой. — Лучше вам теперь?

— Да, — ответил Грехэм.

— Вы проспали… некоторое время. Это был каталептический сон. Вы слышите? Каталепсия!.. У вас, должно быть, теперь очень странное ощущение. Но вы не волнуйтесь: все будет хорошо.

Грехэм молчал, но эти слова возымели свое действие: он успокоился. Взгляд его с выражением вопроса перебегал поочередно на каждого из троих окружавших его людей. Они тоже смотрели на него как-то особенно. Он знал, что он должен быть где-то в Корнуэлсе, но представление о Корнуэлсе совершенно не вязалось с этими новыми впечатлениями. Вдруг он припомнил то, о чем думал в Боскасле в последние дни перед своим каталептическим сном. Тогда это было у него почти принятым решением, но почему-то он все не мог собраться привести его в исполнение. Он откашлялся и спросил:

— Телеграфировали ли моему двоюродному брату Уормингу? Улица Чэнсери-Лэн, двадцать семь?

Они внимательно слушали, стараясь понять. Но ему пришлось повторить свой вопрос.

— Как странно он произносит слова, — шепнул рыжий молодому человеку с белокурой бородой.

— Он имеет в виду электрический телеграф, — пояснил третий, юноша лет девятнадцати-двадцати с очень милым лицом.

— Ах, я дурак! И не догадался! — вскрикнул белокурый. — Не беспокойтесь, будет сделано все возможное, — прибавил он, обращаясь к Грехэму, — Только, боюсь, трудновато будет… телеграфировать вашему кузену. Его нет в Лондоне…. Но, главное, вы не волнуйтесь и не утомляйте себя этими мелочами. Вы проспали очень долго, и вам необходимо окрепнуть — это прежде всего.

— А-а, — протянул Грехэм неопределенно и замолчал.

Все это было очень загадочно, но, очевидно, эти люди в необыкновенных костюмах знали лучше, что нужно делать. А все-таки странные люди, и комната странная… Должно быть, он попал в какое-нибудь только что основанное учреждение…. Тут его осенила новая мысль… подозрение. Может быть, это помещение какой-нибудь публичной выставки? И он пролежал здесь все это время? Как мог Уорминг допустить это?.. Ну, хорошо же: если так, он ему покажет, он с ним поговорит!.. Но нет, не может быть. На выставку не похоже. Да и где же видано, чтобы выставляли напоказ голого человека?

И вдруг неожиданно для себя он понял, что с ним случилось. В один миг, без всякого заметного перехода от подозрения к уверенности, он понял, что спячка его длилась бесконечно долго. Теперь он знал так твердо, словно разгадал каким-то таинственным путем чтения мыслей, что означал этот почтительный, почти благоговейный страх, написанный на лицах окружавших его людей. Он смотрел пронзительным взглядом. И в этом взгляде они, казалось, тоже прочли его мысль. Губы его зашевелились: он хотел заговорить и не мог. И почти в тоже мгновение у него явилось необъяснимое побуждение утаить свое открытие от этих людей, желание говорить совершенно прошло. Он молча смотрел на свои голые ноги, весь дрожа.

Ему дали выпить какой-то розовой жидкости с зеленоватой флуоресценцией и с привкусом мяса, и силы его быстро поднялись.

— Это… помогает… Мне лучше теперь, — выговорил он с трудом.

Кругом послышался почтительный шепот одобрения.

Так и есть: он спал страшно долго. Может быть, год или больше. Теперь он знает наверное. Он снова сделал попытку заговорить, но

снова ничего не вышло. Он поднес руку к горлу, откашлялся и с новым отчаянным усилием попробовал в третий раз.

— Долго ли… — начал он, стараясь говорить ровным голосом, — долго ли я спал?

— Да, довольно долго, — ответил белокурый молодой человек, быстро переглянувшись с остальными.

— Сколько времени?

— Очень долго.

Грехэм вдруг рассердился.

— Ну да, я понимаю, — сказал он с нетерпением. — Понимаю, что долго. Но я хочу… хочу знать, как долго. Год? Или, может быть, больше? Несколько лет, может быть? Я хотел еще что-то…. Забыл что…. У меня путаются мысли. Но вы… — он вдруг зарыдал, — зачем вы от меня скрываете? Скажите, сколько времени…

Больше он не мог говорить. Тяжело дыша и утирая слезы, он молча сидел, ожидая ответа.

Они вполголоса о чем-то советовались между собой.

— Ну что же? Сколько лет? — спросил он слабым голосом. — Пять? Шесть?.. Неужели больше?

— Гораздо больше.

— Больше?!

— Да.

Он смотрел на них вопрошающим взглядом. От волнения у него дергалось все лицо.

— Вы проспали много лет, — сказал рыжий.

Грехэм выпрямился. Он смахнул набежавшие слезы своей прозрачной рукой и повторил: "Много лет..." Потом закрыл глаза, опять открыл и в недоумении озирался вокруг, останавливая взгляд то на одном, то на другом, то на третьем чужом, незнакомом лице.

— Сколько же? — спросил он наконец.

— Вы должны приготовиться... Вы очень удивитесь.

— Ну?

— Более гросса лет.

Это незнакомое слово вывело его из себя.

— Больше чего? Как вы сказали?

Двое старших стали шептаться. До него долетели слова "десятичная система", но к чему они относились, он не разобрал.

— Сколько, вы сказали? — повторил он с гневом свой вопрос. — Говорите же! Не глядите на меня так. Говорите!

Они продолжали шептаться. На этот раз он уловил конец фразы: "Больше двух столетий".

— Что? — вскрикнул он, быстро поворачиваясь к самому молодому, который, как ему показалось, произнес эти слова. — Кто это сказал? Что такое? Два столетия?

— Да, — ответил рыжий, — двести лет.

Грехэм машинально повторил: "Двести лет". Он приготовился услышать большую, очень большую цифру, но это конкретное "двести лет" ошеломило его.

— Двести лет! — повторил он еще раз, напрасно силясь охватить воображением необъятную бездну, разверзшуюся перед ним. Ах, нет, не может быть!

Они молчали.

— Как вы сказали? Повторите еще.

— Двести лет. Ровно два столетия, — повторил рыжий.

Наступила пауза. Грехэм со слабой надеждой смотрел то на одного, то на другого.... Но нет, они не смеялись: лица их были серьезны. Он понял, что ему сказали правду.

— Не может быть, — повторил он упрямо, уже и сам не веря себе. — Должно быть, я еще сплю и вижу сон... Вы говорите: спячка. Но спячка никогда не длится так долго. Какое право вы имеете так издеваться надо мной? Скажите правду: ведь это было недавно, несколько дней тому назад, что я шел пешком вдоль берега в Корнуэлсе? Потом я был в Боскасле...

Тут голос изменил ему.

Белокурый молодой человек вопросительно взглянул на друга и нерешительно проговорил:

— Я не силен в истории…

— Боскасль?.. Совершенно верно, — подхватил самый младший из троих, — На юго-западе старого герцогства Корнуэлс было такое местечко. Там еще уцелел один дом — я видел его.

Грехэм повернулся к говорившему.

— В мое время это был целый поселок. Маленькая деревушка… я заснул где-то там… не припомню в точности где… — Он сдвинул брови и прошептал: — Двести с лишком лет… — Ледяной холод сжимал ему сердце.

Вдруг он заговорил быстро-быстро:

— Но ведь если с тех пор прошло двести лет, то, стало быть, не осталось в живых ни души… ни одного человеческого существа, которое я бы знал? Все, все, кого я когда-нибудь видел, с кем я говорил, — все до единого умерли?

Ответа не было.

— Все умерли — богатые и бедные, простые и знатные, — все до одного? Ни нашей королевы нет, ни королевского семейства, ни министров — моих современников, — ни одного из государственных деятелей, которые были при мне?.. Может быть, и Англии нет?.. Англия, вы говорите, существует? Ну, слава богу, хоть одно утешение!.. А Лондон?.. Это Лондон, да? Мы в Лондоне теперь?.. А вы кто же?.. Постойте, я знаю, вы мои сторожа. — Он смотрел на них почти безумным взглядом. — Но отчего же я здесь?.. Молчите! Не говорите! Дайте мне…

Он умолк и закрыл лицо руками. Когда он снова поднял голову, перед ним держали наготове второй стаканчик подкрепляющей розовой жидкости. Он выпил все. Лекарство почти мгновенно оказало свое действие. Из глаз его полились обильные слезы и облегчили его.

Наплакавшись вволю, он поднял глаза на своих караульщиков и неожиданно, совсем по-детски засмеялся сквозь слезы.

— Двести лет! — выговорил он.

Губы его передернулись гримасой, и он опять истерически зарыдал и закрыл руками лицо.

Через несколько минут он успокоился. Он сидел, свесив руки с колен, — в той самой позе, в какой его застал Избистер у скалы в Пентарджене два века тому назад. Вдруг он услышал приближающиеся шаги, и чей-то громкий, повелительный голос сказал:

— Что же это вы делаете? Отчего мне не дали знать? Это была ваша обязанность. Вы за это ответите! Никого не пускайте к нему. Заперты двери? Все? Его не надо беспокоить: не надо ему говорить. Ему ничего не сказали?

Белокурый что-то ответил вполголоса. Грехэм повернул голову и увидел подходившего к нему человека маленького роста, толстого, коренастого, с короткой шеей, гладко выбритым лицом, двойным подбородком и орлиным носом. Густые, черные, почти сходящиеся на переносице и слегка нависшие брови, из-под которых смотрели пронзительные серые глаза, придавали его лицу что-то внушительное, почти наводящее страх. Он бросил беглый взгляд на Грехэма и повернулся к белокурому.

— Зачем тут эти двое? — резко спросил он, — Они здесь лишние.

— Прикажете уйти? — спросил рыжий.

— Конечно, уходите пока. Да не забудьте запереть за собой двери.

Двое людей, к которым относилось это приказание, мельком взглянув на Грехэма, послушно повернулись и пошли, но не к арке, как он ожидал, а в противоположную сторону, где была глухая стена. Тут случилась престранная вещь: средняя часть стены с легким треском отделилась в виде широкой вертикальной полосы и начала подниматься, свертываясь валиком, как штора. Пропустив уходивших, она опять упала и слилась со стеной. В комнате теперь осталось только трое: Грехэм, белокурый молодой человек и вновь прибывший.

В первые минуты этот человек не обращал никакого внимания на Грехэма: он продолжал допрашивать белокурого, очевидно своего подчиненного, насчет подробностей важного события — "пробуждения Спящего". Он говорил громко, произносил отчетливо каждое слово, но Грехэму были понятны далеко не все слова. Пробуждение его не столько поразило этого человека, но, судя по тому, как он был взволнован, доставило ему много неприятных хлопот.

— Я вас покорно прошу ничего ему не рассказывать. Не надо его волновать, — твердил он без конца.

Получив ответы на свои вопросы, он быстро повернулся к Грехэму и остановил на нем испытующий взгляд.

— Очень странно вы себя чувствуете?

— Да.

— Вас поражает то, что вы видите? Жизнь очень изменилась, а?

— Что делать, придется привыкать.

— Да, я полагаю.

— Прежде всего… я хотел бы одеться.

— Да, да, вы сейчас получите платье.

Толстяк сделал знак белокурому, и тот вышел.

— Скажите, это правда, что я проспал два столетия? — спросил Грехэм.

— А, вам уже успели сообщить…. Да, двести три года, уж если вы хотите знать.

Итак, это был неоспоримый факт. Приходилось примириться с ним. Грехэм ничего не сказал, только брови его сдвинулись и опустились углы рта. Помолчав, он спросил:

— Что это так трещит за стеной? Мельница, верно, работает поблизости или динамо-машина? — И, не дожидаясь ответа, прибавил: — Впрочем, может быть, теперь уже нет ни мельниц, ни динамо-машин? Условия жизни, я думаю, страшно изменились… Что значат эти крики? — задал он новый вопрос, видя, что толстяк молчит.

— Ничего особенного, — ответил тот нетерпеливо. — На улице кричат. Вы все равно не поймете…. Потом, может быть, когда узнаете… Вы сами сказали: многое изменилось. — Он говорил отрывисто, хмурил брови и беспрестанно оглядывался, как человек, который попал в трудное положение и старается найти выход. — Подождите немного: скоро вам дадут одежду, а пока побудьте здесь: сюда никто не войдет. Вам еще побриться надо.

Грехэм машинально потрогал свою давно не бритую бороду.

В это время вернулся белокурый молодой человек. Он подошел к ним, но вдруг остановился, прислушиваясь, потом взглянул вопросительно на своего начальника и выбежал через арку на балкон. Долетавшие оттуда крики становились все громче. Толстяк повернул голову и тоже прислушался. Вдруг он пробормотал какое-то проклятие и бросил на Грехэма неприязненный взгляд. Между тем рев толпы все разрастался, то поднимаясь, то падая, как морской прибой. Гневные возгласы, визг, хохот — все сливалось в этом тысячеголосом вое. Один раз послышались короткие, отрывистые звуки, как будто звуки ударов и резкий крик отдаленных голосов, потом что-то щелкало и трещало, точно ломали сухие прутья или хлопали бичом. Грехэм тщетно напрягал слух, стараясь что-нибудь понять в этом гаме.

Но вот он уловил целую фразу, повторенную много раз. Что это? Не может быть! Он не верил ушам…

Но нет, он не ошибся. Там кричали: "Покажите нам Спящего! Покажите нам Спящего!"

Толстяк бросился к арке.

— Безумцы! — закричал он. — Как они узнали? Кто им сказал?.. Да знают ли они, или только догадываются?

Должно быть, ему что-то ответили, потому что он продолжал:

— Я не могу выйти. Мне за ним надо смотреть. Крикните им с балкона.

Опять последовал какой-то ответ.

— Скажите им, что он и не думал просыпаться. Скажите что-нибудь, что хотите! — Он поспешно вернулся к Грехэму. — Вам надо поскорее одеться. Вам здесь нельзя оставаться. Невозможно будет…

И он выбежал вон, не отвечая на вопросы, которыми Грехэм его осыпал. Через минуту он опять вернулся.

— Не спрашивайте. Я ничего не могу вам сказать. Объяснять слишком сложно. Узнаете потом. Сейчас вы получите платье, сию минуту. А потом вы пойдете со мной…Здесь вам быть нельзя. У нас свои неприятности… Вы скоро поймете, в чем дело… слишком скоро, может быть.

— Но что это за голоса? Они кричат…

— О Спящем? Это вы. Они забрали себе в голову…. Впрочем, я и сам хорошенько не знаю. Я ничего не знаю. Я…

В комнате раздался резкий звонок, покрывший своим треском долетавший снаружи смешанный шум. Толстяк сломя голову бросился к батарее каких-то приборов, стоявших в углу. С минуту он внимательно слушал, уставившись глазами на какой-то хрустальный шарик, потом кивнул головой, пробормотал невнятно несколько слов и подошел к стене, через которую ушли те двое. От стены опять отделилась средняя полоса и закатилась вверх, как штора. Толстяк стоял, чего-то ожидая.

Грехэм поднял руку и с удивлением почувствовал, как много у него прибавилось сил. Очевидно, это было действие укрепляющих лекарств. Он спустил с постели одну ногу, потом другую. Голова больше не кружилась. Так приятно было чувствовать себя здоровым и бодрым. Он с наслаждением ощупывал свое тело: ему просто не верилось, что это он.

Из-под арки снова появился белокурый молодой человек, и почти в ту же минуту в отверстии раскрытой стены показалась клетка спускавшегося откуда-то лифта. Когда она остановилась, из нее вышел сухопарый, седобородый человек, в темно-зеленом в обтяжку костюме с длинным свертком в руках.

— Вот ваш портной, — сказал толстяк Грехэму. — Вам нельзя носить черное. Не понимаю, как попал сюда этот плащ. Такой беспорядок!.. Ну, да мы это разберем…. Надеюсь, вы не замешкаетесь? — прибавил он, обращаясь к портному.

Темно-зеленый поклонился, подошел к Грехэму и присел возле него на постель. Держался он очень спокойно, и только сверкавшие любопытством глаза выдавали его.

— Вы найдете моды сильно изменившимися, сэр, — вежливо сказал он Грехэму и бросил беглый взгляд исподлобья на толстяка.

Быстрым привычным движением он развернул свой сверток и разложил у себя на коленях образцы каких-то блестящих материй.

— Вы жили, сэр, в эпоху по преимуществу цилиндрическую — в эпоху викторианизма. Тогда вообще имели слабость к закруглениям: полушарие преобладало даже в головных уборах. А теперь…

Он достал какой-то приборчик, размерами и формой напоминавший карманные часы, нажал в нем какую-то кнопку, и на циферблате прибора, как на экране кинематографа, задвигалась человеческая фигурка в белом. Портной выбрал образчик голубоватой шелковой материи.

— Вот, мне кажется, именно то, что вам требуется, — сказал он.

К ним подошел толстяк и заглянул через плечо Грехэма.

— Пожалуйста, поскорее: время дорого, — сказал он.

— Положитесь на меня, — ответил портной. — Мою машину сейчас привезут…. Ну-с, что же вы об этом думаете, сэр? — обратился он к Грехэму.

— Что это у вас за прибор? — спросил, в свою очередь, человек девятнадцатого века.

— Вот, видите ли, в ваши времена были модные журналы. Теперь их вытеснила вот эта самая штучка. Преостроумное изобретение. Смотрите.

Он снова нажал кнопку, и на циферблате прибора выскочила та же фигурка, но уже в новом наряде более широкого покроя. Щелк, щелк — и опять человечек переменил костюм. Все это портной проделал очень быстро, поглядывая в то же время на отверстие в стене, где опускался лифт.

Вот, наконец, там что-то загрохотало, и скова показалась клетка лифта. На этот раз из нее вышел анемичный, коротко остриженный парень монгольского типа в светло-голубом балахоне из грубого холста. Вместе с ним приехала какая-то сложная машина на колесах, которую он бесшумно вкатил в зал. Портной убрал своей приборчик, попросил Грехэма стать против машины и начал давать инструкции своему анемичному подмастерью, который отвечал на каком-то гортанном наречии, совершенно незнакомом Грехэму. После этого парень отправился в угол, где стояла батарея. Портной между тем вытягивал из машины какие-то рычажки, их которых каждый заканчивался маленьким диском. Потом одним ловким поворотом он направил все эти рычажки таким образом, что каждый диск прилег вплотную к телу Грехэма: два пришлись на плечах, два на локтях, одни на шее и так далее — на всех сгибах. В это время лифт привез еще одного пассажира. Грехэм не мог его видеть, так как стоял спиною к стене. Приладив свои рычажки, портной повернул рукоятку машины, и она заработала с легким ритмическим стуком. Еще минута — и он снял рычажки, остановив машину. Грехэм был свободен. На него опять накинули плащ, и белокурый молодой человек поднес ему стаканчик с розовым питьем. Тут только он увидел новоприбывшего — юношу с очень бледным лицом, который разглядывал его с нескрываемым любопытством.

Все это время толстяк нервно шагал из угла в угол, косясь на Грехэма. Теперь он вдруг повернулся и вышел через арку на балкон, откуда по-прежнему доносился, то разрастаясь, то замирая, смешанный шум волнующейся толпы.

Между тем подмастерье подал своему хозяину кусок шелковой голубой материи, и они принялись вдвоем всовывать его в машину примерно так, как в девятнадцатом столетии вкладывали бумагу в печатные станки. Затем они откатили машину в противоположный угол зала, где со стены свободной петлей свешивался тонкий кабель. Конец этого кабеля они соединили с машиной, и она сейчас же очень энергично заработала.

— Скажите, какою силой приводятся в действие ваши машины? — спросил Грехэм у белокурого, указывая рукой на суетившихся у кабеля людей и стараясь не замечать преследовавшего его неотступного взгляда бледного юноши. — А этот кабель, верно, проводник энергии? Да?

— Да, — отвечал белокурый.

— А кто такой этот человек?

Он указал в сторону арки, куда скрылся толстяк. Белокурый замялся, нерешительно погладил свою бородку и ответил, понижая голос:

— Это Говард, ваш главный хранитель. Вот видите ли, сэр… Довольно трудно это объяснить… Совет назначил вам трех хранителей — главного и двух помощников. В этот зал допускалась публика — с некоторыми ограничениями, конечно. Каждому, естественно, хотелось удовлетворить свое любопытство, и нам пришлось уступить желанию народа… Но вы меня извините, я не могу… Пусть он сам вам объяснит.

— Странно! — пробормотал Грехэм, — Хранители… Совет… Ничего не пойму! — Потом, повернувшись спиной к новоприбывшему, он спросил вполголоса: — Отчего этот человек так пялит на меня глаза? Он, верно, магнетизер?

— Магнетизер?! О нет. Он капиллотомист и притом это в своем роде художник — артист своего дела. Он получает в год до шести дюжин львов.

Это звучало уже совсем дико. Грехэм подумал, уж не сходит ли он с ума.

— Шесть дюжин львов? — переспросил он растерянно.

— Ах, да, я и забыл, что в ваше время не было львов. Вы считали по-старинному, на фунты стерлингов… Лев — это наша монетная единица… Да, правда, все изменилось, даже в мелочах. Вы жили в эпоху десятичной системы, арабской. Десяти, сотни, тысячи — такой был у вас счет. У нас же теперь одиннадцать арифметических знаков. Десять и одиннадцать изображаются одним знаком, и только двенадцать — двумя. Двенадцать дюжин составляют гросс, двенадцать гроссов — дозанду, а двенадцать дозанд — мириаду. Совсем просто… А вот и ваше платье готово, — прибавил белокурый, взглянув через плечо Грехэма.

Грехэм быстро оглянулся: за ним стоял, улыбаясь, портной и держал новое платье, бережно перекинув его через руку, а его подмастерье уже откатывал свою странную машину к клетке лифта, подталкивая ее одним пальцем. Грехэм вытаращил глаза.

— Да неужто вы уже успели… — начал было он.

— Только что кончил, — ответил портной.

Он положил платье возле Грехэма, отошел к постели, на которой тот недавно лежал, откинул прозрачный матрац и приподнял бывшее под ним зеркало таким образом, чтобы можно было смотреться в него.

В это время в углу раздался неистовый трезвон. Толстяк бросился туда со всех ног. Белокурый побежал за ним, спросил его о чем-то и выбежал в галерею.

Покуда портной помогал Грехэму натянуть нижний костюм — темно-красное трико, заменявшее чулки, панталоны и сорочку, белокурый вернулся с балкона, и толстяк, увидев его, быстро пошел ему навстречу. Они стали торопливо шептаться. В манере обоих, в каждом их движении чувствовались тревога и страх.

Когда на Грехэма поверх трико накинули какое-то сложное, но красивого покроя одеяние из голубоватой ткани, он представлял из себя довольно странную фигуру: небритый, с желтым лицом, еще дрожащий от слабости. Но теперь он был, по крайней мере, одет, и даже по последней моде. Он погляделся в зеркало и остался доволен собой.

— Мне надо еще побриться, — сказал он.

— Сию минуту, — отозвался Говард.

При этих словах бледный юноша, преследовавший Грехэма неотступными взглядами, выступил вперед. Он на секунду зажмурился, снова широко раскрыл глаза и подошел к нему вплотную. Потом остановился, оглянулся назад и сделал плавный жест рукой.

— Подайте стул, — нетерпеливо приказал Говард.

Белокурый засуетился, и в одни миг за спиной у Грехэма очутился стул.

— Садитесь, — сказал ему Говард.

Грехэм заметил, что в правой руке у пучеглазого сверкнула сталь. Он не решался сесть, опасливо поглядывая на него.

— Что же вы, сэр? Или вы не поняли? — напомнил ему белокурый учтиво, но с ноткой нетерпения в голосе. — Садитесь. Он вас побреет и острижет.

— Ах, вот что? — пробормотал Грехэм с облегчением.

— Но вы сказали, кажется, что он...

— Капиллотомист? Ну да. Он лучший художник в мире в этой области.

Грехэм сел. Белокурый куда-то исчез. Пучеглазый, грациозно изгибаясь, ощупал Грехэму затылок, темя, уши и, вероятно, еще долго производил бы свое исследование, если бы Говард не торопил его. Видя, что приходится поторопиться, он приступил к делу. Ловко и быстро пуская в ход один за другим какие-то невиданные инструменты, он выбрил Грехэму подбородок, подправил усы, постриг и причесал волосы. Всю эту операцию он проделал, не проронив ни звука, с вдохновенным видом поэта. Как только он кончил, Грехэму подати башмаки.

Вдруг из угла, где стояли таинственные приборы, раздался громкий голос: "Скорее! Скорее! Народ узнал. Весь город в волнении. Прекращают работу. Не мешкайте ни минуты. Идите!"

Это воззвание страшно взволновало Говарда. Он заметался от арки к лифту и от лифта к углу, не зная, куда ему кинуться прежде. Потом, очевидно решившись, направился в угол и погрузился в созерцание хрустального шарика. Между тем глухой гул голосов, непрерывно

долетавший со стороны арки, все усиливался. На один миг он превратился в дикий рев и снова стал замирать, точно раскат удаляющегося грома. Грехэма неудержимо потянуло туда, в галерею. Он бросил исподтишка быстрый взгляд на Говарда и, отдаваясь своему порыву, юркнул под арку. В два прыжка он очутился внизу и в следующий момент уже стоял на том самом балконе, где после пробуждения он застал трех человек.

Глава V

ДВИЖУЩИЕСЯ УЛИЦЫ

Он подбежал к решетке балкона. Откуда-то снизу до него донеслись громкие крики кишевшей на огромном пространстве волнующейся толпы. При его появлении в этих криках послышалось изумление.

Подавляющая грандиозность того, что он увидел, — вот первое, что поразило его. Под ним была площадь необычайных размеров, окруженная гигантскими зданиями. Вокруг всего широкого пространства площади стояли колоссальные кариатиды, поддерживая узорчатую, необыкновенно тонкой работы крышу из какого-то прозрачного вещества. Подвешенные наверху громадные шарообразные фонари разливали кругом такой ослепительно яркий свет, что перед ним меркли солнечные лучи, проникающие сквозь переплет крыши. Там и сям над этой глубиной висели легкие, как паутина, мостики, усеянные прохожими. В воздухе по всем направлениям были протянуты тонкие кабели.

Он видел над собой массивный фронтон ближайшего здания, противоположный же фасад был так далеко, что представлялся ему как в тумане: весь он был прорезан какими-то арками, большими круглыми отверстиями вроде бойниц, усеян балконами, башенками, широкими окнами и какими-то мудреными барельефами и испещрен по всем направлениям надписями, составленными из непонятных букв. В

круглые отверстия, проделанные в стене это здания, были проведены особенно толстые кабели, прикрепленные под крышей площади в разных местах. Едва успел Грехэм заметить эти кабели, как внимание его привлекла крошечная человеческая фигурка в светло-голубом. Человечек лепился под самой крышей на каменном выступе у места прикрепления одного из кабелей. Свесившись вперед, он возился с какими-то проводами, соединенными с главным кабелем, почти невидным на таком расстоянии. Вдруг он так стремительно бросился вниз, что у Грехэма замерло сердце, и, скользя по кабелю с головокружительной быстротой, исчез в одном из круглых отверстий здания по ту сторону площади.

До сих пор Грехэм смотрел только вверх и прямо перед собой, и то, что он видел, до такой степени завладело его вниманием, что он долго не замечал ничего другого. Но каково же было его изумление, когда он взглянул, наконец, вниз! Под ним была улица, но совсем не такая, к каким он привык. В девятнадцатом столетии улицами назывались полосы твердого, неподвижного грунта, вдоль которых посредине ехали экипажи, а по бокам шли пешеходы. А эта улица была футов в триста шириною и… двигалась. Двигалась вся, за исключением середины, которая была ниже краев. В первый момент это ошеломило его, но потом он понял, в чем дело.

Под балконом, где он стоял, эта необыкновенная улица неслась слева направо, неслась непрерывным потоком со скоростью курьерского поезда девятнадцатого века. Это была бесконечная платформа, составленная из отдельных, сцепленных между собою площадок, что позволяло ей следовать по всем поворотам пути. По всей платформе были расставлены скамьи, местами виднелись киоски. Но все это мчалось с такой быстротой, что он не мог рассмотреть подробностей. Таких движущихся платформ было несколько, все они шли параллельно одна другой. Ближайшая к нему, наружная, платформа двигалась с наибольшей быстротою; смежная с ней, бывшая немного пониже, двигалась тише; следующая — еще тише и так далее. Разница в скорости движения была так мала, что позволяла легко

переходить с одной платформы на другую и таким образом перебираться на середину улицы, которая была неподвижна. А за этой неподвижной средней полосой начинался новый ряд платформ, которые тоже двигались с постепенно увеличивающейся быстротой, но только в обратную сторону, справа налево. Все эти платформы кишели народом. Это была необыкновенно пестрая толпа. Одни на наружных платформах сидели группами, как в вагонах, другие переходили с платформы на платформу, направляясь к середине на неподвижной полосе.

— Вам нельзя здесь быть! — закричал Говард, неожиданно очутившийся возле него. — Сейчас же уходите!

Грехэм ничего не ответил. Он слышал слова, не вникая в них. Бегущие платформы грохотали, народ кричал. В этой проносившейся мимо толпе особенно выделялись молодые женщины, с распущенными волосами, в необыкновенно красивых и оригинальных нарядах, с какими-то перевязями на груди. Потом он заметил, что преобладающим цветом в этом калейдоскопе костюмов был светло-голубой. Он вспомнил, что такого цвета платье было и на подмастерье портного. До него донеслись крики: "Где Спящий? Что сделали со Спящим?" И вдруг вся ближайшая к нему платформа покрылась светлыми пятнами человеческих лиц. Поднимались руки, на него указывали пальцами. Он заметил, что на том месте неподвижной полосы улицы, которое приходилось против балкона, выросла густая толпа людей в голубом. Там завязалась какая-то борьба. Людей разгоняли в обе стороны, толкая на бегущие платформы, которые и увозили их против воли. Но, отъехав на приличное расстояние от места свалки, они сейчас же соскакивали опять на середину улицы и возвращались назад.

"Это Спящий, право, это Спящий!" — кричали одни. "Да нет, совсем не он!" — перебивали другие. Все больше и больше лиц обращалось вверх, к балкону.

Грехэм заметил, что по всей длине средней полосы улицы, на равных расстояниях один от другого, темнели открытые люки,

служившие, по-видимому, началом лестниц, уходивших вниз, под землю. По всем этим лестницам вверх и вниз сновали люди. Один из ближайших к нему люков оказался центром разгоревшейся борьбы. Сюда сбегались голубые с движущихся платформ, ловко перепрыгивая с одной на другую. Внимание толпы на внешних платформах делилось между этим люком и балконом. Десятка два дюжих молодцов в ярко-красной форме, действовавших очень методично и дружно, были, по-видимому, приставлены к люку, чтобы никого не пускать вниз. Толпа вокруг них быстро росла. Яркий цвет мундиров резко отличался от светло-голубых костюмов их противников, — да, противников, так как было ясно, что между красными и голубыми происходит борьба.

Грехэм с жадным любопытством смотрел на эту картину, не обращая внимания на Говарда, который что-то кричал ему в ухо и тряс его за плечо. Потом Говард вдруг куда-то исчез, и Грехэм остался одни.

Толпа продолжала кричать: "Вон Спящий, смотрите!" — и все новые и новые голоса подхватывали этот крик. Сидевшие на наружной, ближайшей к Грехэму, платформе вставали, и он заметил, что люди покидали ее по мере удаления от балкона. То же происходило и по ту сторону улицы на наружной платформе, мчавшейся в противоположном направлении: к балкону она приближалась, переполненная народом, а удалялась пустая. Толпа в середине улицы росла с невероятной быстротой: это было какое-то живое, волнующее море. Отдельные крики "Спящий! Спящий!" слились в один сплошной непрерывный ликующий рев. Махали платками, слышались крики: "Остановить улицы!" Выкрикивалось еще какое-то имя, совершенно незнакомое Грехэму: "Острог" или что-то в этом роде. Нижние платформы вскоре тоже переполнились народом, бежавшим навстречу их движению, чтобы не удаляться от балкона.

"Остановите, остановите улицы!" — раздавалось со всех сторон. Многие быстро перебегали с середины улицы на ближайшую платформу, проносились мимо, выкрикивая какие-то непонятные слова,

потом соскакивали на смежные платформы и бегом возвращались назад с криком: "Да, да, это Спящий, это он!"

Сначала Грехэм стоял не шевелясь, но мало-помалу он понял, что эти крики относятся к нему. Эта неожиданная популярность очень польстила ему, и, желая как-нибудь выразить свою признательность, он поклонился и помахал рукой. Это вызвало такую бурю восторга, что он был поражен.

Свалка у люка приняла ожесточенный характер. Балконы переполнились людьми. Люди скользили по кабелям, проносились по воздуху через всю огромную площадь, сидя на каких-то трапециях. Он услышал за собой голоса: по лестнице, со стороны арки, бежало несколько человек. Он вдруг почувствовал, что его схватили за руку, и, обернувшись, увидел перед собой Говарда, кричавшего ему что-то, чего он за шумом не мог разобрать. Говард был бледен как полотно.

— Уйдите отсюда, — расслышал он наконец. — Они остановят улицы. Поднимется настоящий содом.

Грехэм увидел, что по галерее между колоннами бегут еще люди. Впереди была его стража — рыжий и белокурый — и еще какой-то высокий человек в красном мундире, а за ним бежала целая толпа других в такой же форме с жезлами в руках. У всех были встревоженные, перепуганные лица.

— Уведите его! — закричал Говард.

— Зачем? — спросил Грехэм. — Я не понимаю…

— Говорят вам — уходите! — сказал человек в красном решительным тоном. Не менее решительно было и выражение его глаз. Грехэм обвел взглядом окружавшие его лица и тут в первый раз испытал самое неприятное ощущение из всех, какие бывает у человека

— сознание своего бессилия против грубой силы. Кто-то схватил его за руку… Его потащили с балкона. Тогда шум, доносившийся с улицы, удвоился и изменил характер: казалось, половина кричавших там голосов перенеслась наверх, в галерею огромного здания, в котором был он. Ошеломленного, растерявшегося, тщетно пытающегося сопротивляться Грехэма протащили через всю галерею, и не успел он опомниться, как очутился один с Говардом в клетке лифта, быстро уносившего их вверх.

Глава VI

ЗАЛ АТЛАСА

С того момента, как ушел портной, и до того, когда Грехэм с Говардом очутились в лифте, прошло не более пяти минут.

Грехэма все еще окутывал туман его бесконечно долгой спячки: все еще непривычное для него сознание того, что он жив и живет в столь далекую от его прежней жизни эпоху, придавало в его глазах всему окружающему отпечаток чудесного, сказочного. Все, что он видел, было для него сном наяву. Он все еще был недоумевающим зрителем, оторванным от жизни, участвовавшим в ней лишь наполовину. Все его новые впечатления, особенно эта бушующая, ревущая толпа, которую он видел в рамке балкона, имела для него характер театрального представления, как будто он смотрел из ложи на сцену.

— Я не понимаю, — сказал он. — Из-за чего вся эта кутерьма? У меня мутится ум. Чего они требуют? Кому грозит опасность?

— Мы переживаем смутное время, — ответил Говард, избегая пытливого взгляда Грехэма. — Дело в том, что ваше появление, ваше пробуждение именно в данный момент как раз совпало с…

Он круто оборвал речь. Он говорил вообще с трудом, точно у него перехватило дыхание.

— Я не понимаю, — сказал Грехэм.

— Поймете позже, — отвечал Говард.

Он с беспокойством поглядел вверх, как будто ему казалось, что лифт подымается слишком тихо.

— Надеюсь, что пойму, когда немного осмотрюсь, — проговорил Грехэм неуверенно. — А пока все это ошеломляет меня. Все кажется возможным, всему можно поверить, всему… У вас и счет, как я слышал, другой.

Лифт остановился. Они вышли и очутились между высокими стенами длинного узкого коридора, вдоль которого тянулись сотни толстых кабелей и труб.

— Неужели мы все в одном и том же здании? — спросил Грехэм. — Где мы?

— Это центральная сеть проводов, служащих для разных общественных надобностей, — освещения и так далее.

— А что это было на улице, под балконом? Бунт? Какое у вас управление? Полиция у вас еще есть?

— И даже не одна, — ответил Говард.

— Не одна?

— Да, целых четырнадцать видов.

— Ничего не понимаю.

— Ничего нет удивительного. Наш общественный строй, наверное, покажется вам очень сложным. А по правде сказать, я и сам плохо в нем разбираюсь. Да и не я один… Вы, может быть, поймете со временем… Ну, идемте в Совет.

Внимание Грехэма все время раздваивалось. Ему хотелось успеть побольше расспросить Говарда обо всем, но его беспрестанно отвлекали новые впечатления, новые встречи в коридорах и залах, по которым они проходили. Мысли его то сосредоточивались на Говарде и его уклончивых ответах, то обрывались под ярким впечатлением чего-нибудь нового, неожиданного. Половина людей, попадавшихся им в коридорах и залах, была в красных мундирах. Светло-голубых холщовых костюмов, которые преобладали на движущихся улицах, здесь не было и следа. Все эти люди с любопытством смотрели на него и кланялись ему и Говарду.

Помнилось ему также, что они проходили каким-то длинным коридором, где было много маленьких девочек. Все они сидели рядами на низких скамейках, точно в классе. Учителя не было, а вместо него стоял какой-то невиданный аппарат, из которого, как ему показалось, исходил человеческий голос. Девочки с удивлением и любопытством разглядывали его и провожатого. Но его увлекли дальше, прежде чем он успел отдать себе отчет, что это было за сборище детей. Он решил про себя, что внимание попадавшихся им навстречу людей относилось не к нему, а к Говарду. Говард был, по-видимому, важной персоной, его же, Грехэма, ведь никто ни знал. А между тем тот же Говард был приставлен к нему сторожем. Странно!..

Потом ему, как во сне, представлялся другой проход, над которым висел пешеходный мостик на такой высоте, что видно было только ноги проходивших по нему. У него осталось смутное впечатление еще каких-то переходов и встречных прохожих, которые оборачивались и с

изумлением глядели вслед им обоим и сопровождавшему их конвойному в красном мундире!

Действие подкрепляющего питья, которое ему давали раньше, начинало проходить. Он скоро устал от быстрой ходьбы и попросил Говарда идти потише. Вскоре они опять сидели в клетке лифта. В ней было окно, выходившее на ту самую площадь, на которую он смотрел с балкона. Но окно было из не вполне прозрачного стекла и закрыто, и, кроме того, они были на большой высоте, откуда нельзя было различать движущихся улиц. Но зато он видел, как люди проносились в воздухе, скользя по кабелям, и сновали по хрупким, легким, как кружева, мостикам.

Потом они вышли из лифта и перешли улицу по узкому стеклянному крытому мосту, висевшему над ней на огромной высоте. Пол моста был тоже стеклянный, так что у него голова закружилась, когда он нечаянно посмотрел вниз. Ему вспомнились скалы между Нью-Кеем и Боскаслем, которые он представил себе так живо, как будто видел их вчера, и он решил, что этот мост должен находиться на высоте футов четырехсот над движущимися улицами. Он остановился и посмотрел себе под ноги, вниз, на копошившуюся там красно-голубую толпу людей, казавшихся крошечными на таком расстоянии, по-прежнему махавших руками и продиравшихся к балкону — к игрушечному балкончику, каким он ему представлялся теперь и на котором он недавно стоял. На этой высоте свет огромных осветительных шаров был так ярок, что по контрасту с ним все, что было внизу, казалось подернутым мглою.

Вдруг откуда-то сверху, с еще более высокого пункта, сорвался человек, сидевший в открытой корзинке, — сорвался так стремительно, точно упал, — и, скользя по кабелю, пронесся мимо них. Глаза Грехэма невольно приковались к этому странному путешественнику, и только когда тот исчез в круглом отверстии стены пониже моста, взгляд его опять обратился на бушевавшую внизу толпу.

Одна из наружных платформ мчалась, вся красная от покрывавшей ее сплошной массы красных мундиров. Когда она поравнялась с балконом, эта красная масса распалась на отдельные красные пятнышки и полилась с платформы на платформу к тому месту у люка, где происходила борьба.

Оказалось, что все эти красные люди были вооружены дубинками, которыми они действовали очень ловко, расшвыривая толпу. Раздался тысячеголосый яростный вопль, долетевший до Грехэма наполовину заглушённым.

— Вперед! — крикнул Говард, толкая его.

В эту минуту еще какой-то человек бросился по кабелю вниз. Грехэм хотел посмотреть, откуда он слетел, и, взглянув вверх, увидел сквозь стеклянную крышу моста и сквозь сеть переплетавшихся над ней кабелей неясные очертания вертящихся лопастей, напоминавших крылья ветряных мельниц, и между ними просветы далекого бледного неба. Но тут Говард опять потащил его вперед.

— Я хочу посмотреть, — начал было Грехэм упираясь.

— Нет, нет, нельзя останавливаться, идите за мной! — закричал Говард, еще крепче сжимая его руку. Красные конвойные, сопровождавшие их, уже готовы были, как ему показалось, подкрепить это приказание более осязательным воздействием, и он должен был покориться. Вскоре они вошли в узкий коридор, все стены которого были испещрены геометрическими фигурами.

В глубине коридора показалось несколько негров в черных с желтым мундирах, с узким перехватом у талии, отчего они были похожи на ос. Один из них поспешно отодвинул к стене какой-то щит, оказавшийся дверью, дал им пройти и повел их куда-то дальше. Они очутились в галерее, выступавшей в виде хор над одним концом

высокого зала, или, вернее, огромного вестибюля. На противоположном конце подымавшиеся вверх ступени широкой лестницы вели к величественному порталу, полузавешенному тяжелой драпировкой. Здесь тоже стояли навытяжку негры в черных с желтым мундирах и белые люди в красном. Сквозь портал был виден другой зал, еще больших размеров.

Сопровождавший их черный служитель прошел вперед, отодвинул второй щит и остановился в ожидании. Проходя по галерее, Грехэм слышал, как шептались внизу, и видел, что все головы поворачивались в его сторону. "Спящий! Спящий!" — донеслось до него. Через узкий проход, проделанный в стене вестибюля, они вышли в другую галерею, железную, ажурной работы. Она тянулась вокруг того самого большого зала, который он уже видел сквозь портал. Только теперь, очутившись в этом зале, он получил полное представление о его колоссальных размерах. Черный служитель с тонкой, как у осы, талией отступил в сторону, как подобает хорошо выдрессированному рабу, и задвинул за ними щит.

Все то, что Грехэм видел до сих пор, по роскоши убранства не могло идти в сравнение с этими хоромами. В противоположном конце зала, ярко освещенная, стояла гигантская, могучая белая фигура Атласа, в напряженной позе, с земным шаром на согнутой спине. Эта фигура поразила его: она была так колоссальна, так реальна в своем терпеливом страдании, так проста… Если не считать этой гигантской фигуры да высокой эстрады посредине зала, он был совершенно пуст. Эстрада терялась в огромном пространстве этой пустыни, и только группа из семи человек, стоявших на ней вокруг стола, давала понятие об ее настоящих размерах. Все эти люди были в белых мантиях. По-видимому, они поднялись со своих мест при появлении Грехэма и теперь в упор смотрели на него. На одном конце стола сверкала сталь каких-то механических приборов.

Говард провел его по галерее до того места, которое приходилось прямо против могучей, согнувшейся под тяжестью своей ноши фигуры.

Тут они остановились. Два красных конвоира, не отстававшие от них ни на шаг, стали по бокам Грехэма.

— Постойте здесь, я сейчас вернусь, — пробормотал Говард и, не дожидаясь ответа, побежал куда-то дальше по галерее.

— Позвольте, — начал Грехэм и двинулся было вслед за Говардом, но одни из красных загородил ему дорогу.

— Извольте оставаться здесь, сэр, — сказал он. — Так приказано.

— Кем?

— Все равно кем. Приказ.

Грехэм покорился.

— Что это за здание, — спросил он, — и кто эти люди?

— Члены Совета, сэр.

— Какого Совета?

— У нас одни Совет.

— А… — пробормотал Грехэм и после безуспешной попытки заговорить с другим конвойным подошел к решетке галереи и стал смотреть на людей в белом, которые стояли внизу и, в свою очередь, смотрели на него, о чем-то перешептываясь.

Теперь он насчитал их восемь человек, хотя и не заметил, когда появился восьмой. Ни одни из них не сделал ему знака приветствия. Они стояли и смотрели на него, как в девятнадцатом столетии

остановившаяся на улице кучка людей могла бы смотреть на воздушный шар, неожиданно показавшийся вверху. Что это за таинственное собрание? Кто эти восемь человек, стоящие у ног внушительного белого колосса среди пустыни этого огромного зала, где их не могут подслушать ничьи нескромные уши? Зачем его поставили перед ними и зачем они так странно смотрят на него и говорят о нем шепотом, так что он не может их слышать? Внизу показался Говард. Он быстро шел через зал, направляясь к эстраде. Перед ступенями эстрады он остановился, отвесил глубокий поклон и проделал ряд своеобразных движений, как это, очевидно, полагалось по церемониалу. Потом он поднялся по ступенькам и стал у того конца стола, где были расставлены таинственные приборы. С ним заговорил один из членов Совета.

Грехэм с любопытством следил за их неслышной беседой. Он видел, как собеседник Говарда поглядывал наверх, в его сторону. Он тщетно напрягал слух: до него не долетало ни звука. Но, судя по энергичной жестикуляции обоих собеседников, разговор принимал все более и более оживленный характер. В недоумении он поднял вопрошающий взгляд на своих сторожей, но их бесстрастные лица ничего не сказали ему… Когда он снова глянул вниз, он увидел, как Говард разводил руками и качал головой, явно протестуя. Его прервал один из белых сановников, ударив рукой по столу.

Разговор тянулся бесконечно долго — так, по крайней мере, казалось Грехэму. Он поднял глаза на безмолвного великана, у ног которого заседал Совет, потом взгляд его стал блуждать по стенам. Они были сплошь покрыты рисунками в японском вкусе, вставленными в рамы из темного металла. Воздушная грация этих рисунков еще более усиливала внушительное впечатление, которое производила могучая белая фигура гиганта, застывшего в своей напряженной позе.

В то время как Грехэм вспомнил о Совете и снова посмотрел вниз, Говард спускался с эстрады. Когда он подошел настолько близко, что можно было рассмотреть его лицо, Грехэм заметил, что он очень красен

и отдувается, как человек, только что покончивший с трудной задачей. Следы волнения еще оставались на его лице даже и тогда, когда он поднялся на галерею

— Сюда, — сказал он коротко, и все четверо направились к маленькой двери, которая отворилась при их приближении. Красные конвойные стали по бокам этой двери, а Говард попросил Грехэма войти. На пороге он обернулся назад и увидел, что белые члены Совета все еще стоят на прежнем месте тесной группой и смотрят ему вслед. Потом тяжелая дверь затворилась за ними, и первый раз с момента своего пробуждения Грехэм очутился в полной тишине. Даже пол был затянут войлоком, так что не слышно было шагов.

Говард отворил вторую дверь, и они вошли в первую из двух смежных комнат, в которой все убранство было белого и зеленого цвета.

— Что это за Совет? — спросил Грехэм. — О чем они совещались? Что они намерены сделать со мной?

Говард тщательно запер дверь, тяжело перевел дух и что-то пробурчал себе под нос, потом прошелся по комнате и остановился перед Грехэмом отдуваясь.

— Уф! — вырвалось у него с облегчением. Грехэм смотрел на него и ждал.

— Надо вам знать, — начал Говард, избегая его взгляда, — что наш общественный строй очень сложен. Всякое неполное объяснение может дать вам совершенно ложное представление о нем. Все дело тут отчасти в том, что ваш маленький капитал вместе с завещанным вам состоянием вашего кузена Уорминга, увеличиваясь из года в год процентами и процентами на проценты, вырос до чудовищной цифры. А кроме того, и по другим причинам, — я не могу вам объяснить почему,

— вы стали важным лицом, настолько важным, что можете влиять на судьбы мира.

Он замолчал.

— Ну и что же? — спросил Грехэм.

— У нас теперь трудное время… Народ волнуется…

— Ну?

— Ну, словом, дела обстоят таким образом, что признано целесообразным изолировать вас.

— То есть посадить меня под замок?

— Нет… только просить вас побыть некоторое время в уединении.

— Это, по меньшей мере, странно, — возмутился Грехэм.

— Вам не сделают никакого вреда, но вам придется посидеть…

— Пока мне не растолкуют, какое отношение имеет моя личность к вашим общественным делам?

— Именно.

— Прекрасно. Так начинайте же ваши объяснения. Почему вы сказали: "Не сделают вреда"? Разве и это было под сомнением?

— Сейчас я не могу ответить на этот вопрос.

— Почему?

— Это слишком длинная история, сэр.

— Тем больше причин начать не откладывая. Вы говорите, я важная особа. В таком случае вы должны исполнить мое требование. Я хочу знать, что значат крики толпы, которые я слышал с балкона? Какое отношение имеют они к тому, что я очнулся от моей многолетней спячки? И кто те люди в белом, которые сейчас совещались обо мне?

— Все в свое время, не торопитесь, — сказал Говард. — Мы переживаем переходное время: никто ни в чем не уверен. Ваше пробуждение… Никто не ожидал, что вы проснетесь. Это событие и обсуждает Совет.

— Какой Совет?

— Тот, который вы видели.

Грехэм сделал порывистое движение.

— Это черт знает что! Вы обязаны все мне рассказать!

— Вооружитесь терпением. Я очень вас прошу, подождите.

Грехэм резко опустился на стул.

— Я так долго ждал возвращения к жизни, что, очевидно, могу и еще подождать, — сказал он.

— Вот так-то лучше, — одобрил Говард. — А теперь мне придется оставить вас… ненадолго. Мне нужно быть в Совете… Извините.

Он направился к выходу, приостановился было в нерешительности, потом бесшумно отворил дверь и исчез.

Грехэм попробовал дверь и убедился, что она заперта каким-то особенным, неизвестным ему способом, потом он повернулся, походил из угла в угол и сел. Он долго сидел неподвижно со скрещенными руками с нахмуренным лбом, стараясь связать в одно целое все пестрые впечатления первых часов своей новой жизни. Эти гигантские сети протянутых в воздухе кабелей, паутина висячих мостов, эти огромные залы, бесконечные переходы; эта бурная волна народного движения, заливающая улицы, потом эта кучка белых людей у ног колоссального Атласа, — людей, явно недоброжелательно к нему настроенных; загадочное поведение Говарда, его обмолвки о каком-то огромном капитале, который по праву принадлежит ему, Грехэму, но которым, может быть, уже успели распорядиться без него; намеки на чуть ли не мировое значение его личности — всего этого никак не мог вместить его ум. Что он должен делать? Вернее, что он может сделать? Эти законопаченные комнаты красноречиво говорили о том, что он узник.

На одну минуту ему показалось несомненным, что весь этот ряд подавляющих впечатлений — просто сон. Он попробовал закрыть глаза, что оказалось не трудно, но это освященное временем средство не привело к пробуждению.

Потом он принялся исследовать все незнакомые детали обстановки обеих маленьких комнат, куда его заперли.

В большом овальном зеркале он увидел свое отражение и был поражен: на нем был изящный костюм, пунцовый со светло-голубым. Остроконечная, с легкой проседью бородка и полуседые волосы, оригинально, но красиво зачесанные надо лбом, совершенно меняли его лицо. Теперь ему можно было дать на вид лет сорок пять. В первую минуту он не узнал себя. И громко расхохотался, когда, наконец, узнал.

"Вот зайти бы к Уормингу в таком виде и предложить ему пойти со мной позавтракать в ресторане!" — мелькнуло у него в голове.

Продолжая смеяться, он стал перебирать одного за другим тех немногих близких друзей своей молодости, над кем можно было бы теперь так хорошо подшутить, и вдруг вспомнил, что из всех людей не осталось в живых ни души, что все они умерли много десятков лет тому назад. Сердце его сжалось острой болью, смех разом оборвался и сменился выражением отчаяния на побледневшем лице.

Но потом более яркая, волнующая картина огромных зданий и этих удивительных движущихся улиц, запруженных народом, снова выступила на первый план. Отчетливо, как живые, представились ему толпы кричащих людей и эти неслышно совещающиеся вдали сановники в белом, в которых он чувствовал врагов. Какую маленькую, ничтожную фигурку представляет он собою! Как он бессилен и жалок при всем своем "мировом значении"! И как странно, как непонятно все, что его окружает, — весь мир!

Глава VII

В ПОКОЯХ БЕЗМОЛВИЯ

Но надо было жить, надо было чем-нибудь наполнять свое время. Грехэм вздохнул и принялся за осмотр своего помещения. Любопытство пересиливало и усталость и тоску.

Первая комната была очень высока, с потолком в виде купола. Посредине этого купола был овальный прорез, выходящий на крышу воронкой, и снизу были видны широкие лопасти вращавшегося в нем колеса, очевидно приспособления для вентиляции. Слабое гудение колеса было единственным звуком, нарушавшим тишину. В промежутки между тихо вертевшимися лопастями мелькали полоски темного неба, и вдруг Грехэм увидел звезду.

Это очень его удивило и заставило обратить внимание на тот факт, что в комнате не было окон. Он осмотрел ее внимательнее и заметил,

что своим ярким освещением, не уступавшим дневному свету, она была обязана маленьким лампочкам, которыми были усеяны все карнизы. Тогда он стал припоминать и вспомнил, что ни в одном из огромных коридоров и залов, которыми они с Говардом проходили, он не заметил окон. Правда, он видел несколько окон, выходивших на улицу, но для освещения ли предназначались они? Быть может, они имели другое назначение. Может быть, этот город освещается искусственным светом и ночью и днем, так что в нем никогда не бывает темно?

Поразила его еще одна вещь: ни в той, ни в другой комнате не было камина. Может быть, на дворе стояло лето и эти комнаты были летним помещением? Или, быть может, весь город равномерно отапливается зимой и так же равномерно охлаждается летом? Его это заинтересовало. Он тщательно ощупал гладкие стены, осмотрел все карнизы, углы: нигде не было и следов каких-нибудь проводов для отопления. В одном углу стояла кровать, на вид очень простая, но с целым ассортиментом остроумных приспособлений, позволявших обходиться без посторонних услуг. Все вообще поражало полным отсутствием вычурных украшений при необыкновенной красоте форм и таком приятном сочетании цветов, что нельзя было оторвать глаз. На всем лежал отпечаток изящной простоты. Эта кровать да несколько удобных кресел вокруг легкого небольшого стола составляли всю меблировку. На столе стояли стаканы, бутылки с напитками и два блюда с каким-то полупрозрачным кушаньем, похожим на желе. Но странно: не было ни книг, ни газет, ни письменных принадлежностей. "И вправду, видно, свет переменился", — подумал Грехэм.

Во второй комнате вдоль одной стены тянулся длинный ряд небольших цилиндров с зелеными надписями по белому фону, что вполне гармонировало с убранством этой комнаты. Посредине этого ряда цилиндров выступал вперед, в виде квадратного ящика около ярда длиной и шириной, какой-то аппарат. Одна его сторона, обращенная к комнате, представляла гладкую белую доску. Перед аппаратом стоял стул.

Сначала Грехэм занялся цилиндрами. "Уж не заменяют ли им книги эти приборы?" — мелькнуло у него в голове. Надписей он долго не мог разобрать. В первую минуту ему показалось, что они на русском языке, но потом, по некоторым словам, он догадался, что это сокращенные английские фразы. "Человек, который хотел быть королем", — прочел он на одном цилиндре.

— А-а, "Человек, который хотел быть королем". Фонетическое правописание!

Он вспомнил, что читал когда-то повесть под этим заглавием; припомнил и самую повесть, одну из лучших в мире. Затем он разобрал еще два заглавия на двух других цилиндрах: "Сердце тьмы" и "Мадонна будущего". О таких книгах он никогда не слышал. Если они существуют, то значит их авторы жили не в царствование Виктории, а позднее. Он повертел в руках еще один цилиндрик и поставил на место. Потом перешел к черырехугольному аппарату. "Это уж, во всяком случае, не книга". Он снял крышку. Внутри оказался такой же цилиндрик, как и остальные, только с кнопкой на верхнем конце вроде кнопки электрического звонка. Он нажал эту кнопку. Что-то затрещало, и когда треск прекратился, он услышал музыку и голоса, а на белой поверхности передней доски появились цветные движущиеся тени. Тогда он понял, что это за аппарат. Он отступил на шаг и стал смотреть.

На гладкой поверхности передней доски отчетливо выступила картина. Фигуры на ней двигались, как живые. И не только двигались, но и говорили, правда, слабыми, как будто издалека доносившимися голосами. Получалось такое впечатление, как если бы смотреть на сцену в перевернутый бинокль и слушать через длинную трубку.

Начало представления сразу заинтересовало его. Действующих лиц было двое — мужчина и женщина, очень хорошенькая. Мужчина — молодой человек — в волнении расхаживал по сцене, осыпал гневными упреками женщину, которая дерзко возражала ему. Оба были в живописных костюмах своего времени, казавшихся такими странными

человеку девятнадцатого столетия. "Я работал, — говорит мужчина, — а что делала ты?"

— Ого! Да это любопытно! — пробормотал Грехэм и опустился на стул перед экраном.

Он так увлекся миниатюрным спектаклем, что забыл обо всем. Через пять минут он с удивлением убедился, что маленькие фигурки вдруг упомянули о нем. "Когда проснется Спящий", — услышал он. Это было сказано в ироническом смысле. Фраза, очевидно, вышла в поговорку и применялась в таких случаях, когда говорили о чем-нибудь очень далеком, несбыточном, невероятном. С большим интересом он прослушал всю пьесу, заканчивавшуюся трагически, и оба ее главных героя стали ему близки и понятны.

Что за странная была эта жизнь, — жизнь другой, чуждой эпохи! Что за странный уголок незнакомого мира, в который ему довелось заглянуть! Поистине удивительный мир беззастенчивых, энергичных людей, людей с тонким вкусом, жаждущих наслаждений, и вместе с тем мир экономической борьбы… В пьесе было много такого, чего он не понял, да и не мог понять: какие-то намеки на злободневные вопросы и тому подобное. Но по некоторым маленьким черточкам можно было судить, как радикально изменились за два века нравственные идеалы. Голубой холст, занимавший так много места в его первых впечатлениях от нового Лондона, и здесь фигурировал много раз, и всегда как одеяние простолюдина. Пьеса была, несомненно, из современного быта и отличалась глубоким реализмом. Он еще долго сидел, погруженный в раздумье, после того как она кончилась и экран опустел.

Но вот он, наконец, встряхнулся, протирая глаза. Новейший суррогат нашего теперешнего "романа" так всецело завладел его воображением, что, увидев себя опять в зеленой с белым комнате, где стояли цилиндры, он удивился почти не меньше, чем при пробуждении от своего двухсотлетнего сна.

Он встал, оглянулся кругом и сразу вернулся из мира фантазии в страну реальных чудес. Яркое впечатление маленькой драмы, разыгранной на экране кинетоскопа, побледнело, и перед ним опять встала картина борьбы на необъятном пространстве движущихся улиц, таинственный Совет в зале Атласа и все быстрые фазы его переживаний с минуты пробуждения. В пьесе говорилось о Совете как о власти неограниченной, самодержавной. Много раз упоминалось и о Спящем… Это его почти не поразило тогда; до его сознания в то время как-то не доходило, что ведь он-то и есть этот Спящий… И он стал припоминать, что именно говорили о нем.

Потом он машинально снова прошел в первую комнату, спальню, и стал смотреть на небо в промежутках между вертящимися лопастями колеса. Если не считать ритмического слабого стука лопастей, кругом стояла мертвая тишина. Комната по-прежнему была ярко освещена неугасимым искусственным светом, но он заметил, что мелькавшие вверху узкие полоски неба теперь казались почти черными и были усеяны звездами.

От нечего делать он снова принялся бродить по комнатам. Наружной двери, обитой чем-то мягким, он никак не мог отворить, как ни старался. Хотел позвонить, но не нашел ни звонка, ни каких-либо других приспособлений, чтобы вызывать прислугу. Чудеса новой жизни уже не удивляли его, но ему страстно хотелось разобраться в своем положении, хотелось знать, какое место занимает он среди новых людей. Он убеждал себя успокоиться и терпеливо ожидать, пока к нему придут, но не мог справиться со своим волнением. Желание знать и жажда новых ощущений томили его.

Он опять вернулся в комнату с кинетоскопом. Он давно уже догадался, что в нем можно менять цилиндры, и теперь ему хотелось узнать, как это делается. Он долго копался, прежде чем ему удалось найти секрет. "А эти цилиндрики, должно быть, много поспособствовали закреплению форм языка. Он так мало изменился за два столетия, что я свободно понимаю его", — подумалось ему. Он взял наудачу первый

попавшийся цилиндр и вставил его в аппарат. Аппарат на этот раз воспроизвел оперу. Музыка была незнакомая, но фабулу он сразу узнал. Это была история Тангейзера в переделке на современные нравы. Сначала ему очень понравилось. Играли живо и с большим реализмом. Но что это такое? Этот Тангейзер посещает не Грот Венеры, а Город Наслаждений... Что это? Фу, какая гадость! Не может быть, чтобы это было списано с жизни! Это просто плод фантазии — разнузданной фантазии развратного писаки... нет, положительно ему не нравилась эта опера: очень уж она била на животные инстинкты человека. И чем дальше, тем хуже. Он возмутился. Какое это искусство? Где же туг идеализация действительности? Это просто фотографические снимки самых грубых сторон человеческой жизни... Нет, нет, довольно с него этих Венер двадцать второго столетия!..

Он и забыл, какую роль играл прототип этих самых Венер в "Тангейзере" девятнадцатого века, и отдался своему архаическому негодованию. Ему стало стыдно. Он поднялся со стула, почти сердясь на себя за то, что мог себе позволить смотреть на эту мерзость, хотя бы и без свидетелей. Нетерпеливым движением он пододвинул к себе аппарат и принялся трогать то тот, то другой рычажок, чтобы остановить механизм. Что-то щелкнуло. Блеснула фиолетовая искра, ему свело руку и обожгло палец. Машина стала. Когда на другой день он хотел заменить цилиндрик с "Тангейзером" чем-нибудь другим, то аппарат оказался испорченным.

Он принялся ходить из угла в угол, стараясь справиться со всей этой массой впечатлений, которые давили его. То, что он уже успел подметить из действительной жизни нового Лондона, и то, что ему открыли цилиндрики, сбивало его с толку своим противоречием. Странная вещь: никогда раньше, дожив до тридцати с лишним лет, он не представлял себе такой картины грядущих времен. "Мы в наше время созидали будущее, — думал он, — и ни одному из нас не приходило в голову задаться вопросом, какое будущее мы создаем... Так вот оно, это будущее! К чему идут эти слепцы? Чего они достигли? О, зачем моя злая судьба привела меня к ним?.."

Его не поражала грандиозность улиц и зданий, не поражало и многолюдство. Но эти рукопашные схватки! Этот жестокий антагонизм между согражданами! И это систематическое потаканье своим низменным инстинктам среди богатых классов…

Он вспомнил социалистическую утопию Беллами, так далеко опередившую то, что он нашел здесь, проспав двести лет. Нет, этого никто не назовет утопией. Где тут социалистический строй? Он уже достаточно видел теперь, чтобы убедиться, что исконное противоречие между роскошью, расточительностью, удовлетворением чувственности, с одной стороны, и позорной бедностью — с другой, оставалось во всей своей силе. Главнейшие факторы человеческой жизни были ему настолько хорошо известны, что он ясно понимал все значение такого соотношения. Не только здания в этом городе были колоссальны. Не только колоссальны были толпы народа, запружавшие его. Колоссально было и всеобщее недовольство. О нем кричали люди на улицах, о нем говорила растерянность Говарда; она носилось в воздухе; все было пропитано им. Где он? В какой стране? Как будто в Англии. А между тем все здесь так чуждо ему… такое все "не свое"… Он попробовал представить себе остальной мир, но мысль его остановилась перед завесой тумана, за которой все было загадкой.

Ломая голову над этими вопросами, он метался из комнаты в комнату, как зверь в клетке. От усталости он дошел до той степени лихорадочного возбуждения, когда уже не можешь ни сидеть, ни лежать. Он то становился под вентилятор и прислушивался, стараясь уловить далекие отголоски уличных волнений, которые, он был уверен, все еще продолжались, то принимался говорить сам с собой.

"Двести три года, — твердил он без конца, смеясь бессмысленным смехом, — Мне, стало быть, теперь двести тридцать три. Старейший из живущих… Надеюсь, они еще не упразднили прав старшинства. Мои права неоспоримы — права человека девятнадцатого столетия. Что ни говори, а великий был наш век… Великий? А болгарская война? А турецкие зверства? Ха-ха!"

В первую минуту он и сам удивился, поймав себя на этом смехе, а потом стал опять хохотать громко, безудержу. Потом сообразил, что ведет себя как сумасшедший. "Полно, полно! Возьми себя в руки", — сказал он себе.

Он умерил шаги, стараясь ходить ровнее. "Новый мир... Не понимаю я его... Почему все пришло к этому? Почему?.. Кто мне ответит?.. Должно быть, они теперь умеют летать и мало ли что еще... Надо припомнить, как начиналось у нас с этими полетами..."

И он перенесся воображением на двести лет назад. Мало-помалу воспоминания его приняли личный характер. Год за годом перебирал он первые тридцать лет своей жизни. Сначала ему казалось, что память его ослабла, что многое он забыл. Мелькали какие-то обрывки воспоминаний, все больше мелочи, случайные встречи, не игравшие в его жизни никакой роли. Ярче другого вспоминалось детство, школьные годы, школьные книги. Но потом постепенно стало оживать и дальнейшее: знаменательные события, трагические моменты... Образ давно умершей жены, ее когда-то столь магические для него чары. Ожили и другие забытые образы — лица соперников, друзей и врагов. Вспомнились тяжелые минуты колебаний, минуты быстрых решений и, наконец, последние годы сомнений и внутренней борьбы, закончившиеся напряженной умственной работой. Вскоре он убедился, что прошлое вернулось к нему немного потускневшее, быть может, как металл, долго пролежавший без употребления, но не утерявшее ни одной черточки, так что его можно было освежить. Освежить? Но зачем? Что принесет ему это, кроме гнетущей тоски? Каким-то чудом он был оторван от жизни, ставшей невыносимой. Надо благодарить за это судьбу.

Мысль вернулась к настоящему. Тщетно он старался осмыслить факты, разобраться в невылазной путанице новых впечатлений... Он поднял глаза к вентилятору в потолке и увидел, что небо порозовело. "Скоро солнце взойдет, надо уснуть", — подумал он. "Уснуть! Какое блаженство!" Только теперь он почувствовал, как отяжелели его члены,

как он жестоко устал. Он подошел к простенькой маленькой кровати с мудреными приспособлениями, лег и мгновенно заснул.

Ему пришлось познакомиться со своей тюрьмой ближе, чем он думал, ибо его продержали в заточении трое суток. Странная, непостижимая судьба: вернуться к жизни только затем, чтобы быть оторванным от нее и обреченным на полное одиночество! Перед загадочностью этого заточения бледнело даже чудо его воскресения из мертвых после двухсотлетнего сна.

За все трое суток к нему не входил никто, кроме Говарда, который в определенные часы приносил ему пищу и питье. И кушанья, и напитки были очень вкусны и питательны, но совершенно не знакомы Грехэму. Говард, входя, всякий раз очень тщательно запирал за собою дверь. Он был всегда очень любезен, охотно разговаривал о пустяках, но уклонялся от всяких объяснений насчет того, что особенно занимало Грехэма и из-за чего, как он был уверен, все еще продолжалась борьба за этими глухими стенами. Стоило только задать вопрос об общем положении дел в государстве, как тот заговаривал о другом.

Чего только не передумал Грехэм за эти трое суток? Зачем его держат взаперти? Зачем умышленно оставляют в неведении? Зачем им непременно нужно, чтоб он ничего не видел и не знал? Чтобы объяснить себе эту загадку, он старательно припоминал то, чему был свидетелем, но ни одно объяснение не удовлетворяло его. Кругом него и с ним самим творились такие чудеса, что все становилось возможным и вероятным. Теперь его ничто не удивит: он был готов ко всему. Таким образом, когда пришла, наконец, минута освобождения, она его не застала врасплох.

Уже и раньше он догадывался, что во всем совершающемся не последнюю роль играет личность Спящего, то есть собственная его особа, и поведение Говарда только укрепляло его в этой догадке. Беззвучно отворяясь и затворяясь за этим хитрецом, тяжелая мягкая дверь, казалось, пропускала отголоски происходящих за нею важных

событий. Но даже на самые настойчивые, прямые вопросы он отвечал одними увертками.

— Пробуждения вашего не предвидели, а тут, как на грех, оно еще совпало с критическим моментом социального переворота, — твердил он на разные лады. — Чтобы объяснить вам все, пришлось бы рассказать историю страны за полтора гросса лет.

— Я понимаю, в чем дело, — сказал Грехэм. — Вы боитесь меня: боитесь, что я могу вам повредить. Очевидно, у меня есть какая-то власть… или могла бы быть, если б…

— Нет, не то. Прямой власти у вас нет, но… Это я вам, пожалуй, скажу. Ваше громадное состояние (оно возросло до чудовищной цифры за эти двести лет) дает вам опасную возможность вмешательства в общественные дела. Могут оказать нежелательное влияние и ваши допотопные понятия восемнадцатого века.

— Девятнадцатого, — поправил Грехэм.

— Это не меняет дела. Понятия остаются все-таки допотопными, раз вам не знакома ни одна черта нашего общественного строя.

— Скажите, вы считаете меня дураком?

— Конечно нет.

— Так отчего же вы думаете, что я буду действовать безрассудно?

— Мы, видите ли, не ожидали, что вы вообще когда-нибудь будете действовать. На ваше пробуждение никто не рассчитывал. Ну разве можно было думать, что вы проснетесь? Все были уверены, что вы давно умерли. На вас смотрели, как на диковину, как на беспримерный феномен приостановки разложения — и только. По распоряжению

Совета были применены все новейшие антисептические средства, чтобы как можно дольше сохранить ваш труп. И вот… Но это слишком сложно объяснять. Я не могу так, сразу, без всякой подготовки… Вы ведь еще не совсем проснулись.

— Постойте, не виляйте! — остановил его Грехэм. — Вы говорите, опасное влияние… допотопные понятия… Допустим, что это так. Но отчего же, в таком случае, вы не поделитесь со мной вашей мудростью? Вам следовало бы с утра до ночи, не теряя времени, знакомить меня с фактами, с новыми условиями жизни, чтобы я мог употребить свое влияние с пользой. А я… Чему я научился, что я узнал за эти два дня, с тех пор как проснулся?

Говард закусил губы.

— Я отлично вижу все махинации этого вашего Совета, Комитета или как его там. Вы — его креатура. Говорите же, зачем меня прячут? Кому это нужно? Неужели причина — мое несчастное богатство? Может быть, пока я здесь сижу, ваш Совет стряпает отчет о моих деньгах, который и представит мне потом?

— Такое подозрение… — начал было Говард.

— Э, что там! Не в том дело, — перебил Грехэм. — Скажу вам только, это не пройдет даром тем, кто меня сюда засадил. Не пройдет, попомните мое слово! Я жив. Жив, могу вас уверить. С каждым днем мой пульс бьется сильнее и яснее работает ум. Довольно опеки! Я вернулся к жизни и хочу жить.

— Жить?!

Лицо Говарда осветилось какой-то новой мыслью. Он подошел к Грехэму и заговорил конфиденциальным, дружеским тоном:

— Совет поместил вас сюда для вашего же блага. Но вас это волнует. Понятное дело: вы человек энергичный. Вам здесь скучно. Но все, чего бы вы ни захотели… всякое желание будет исполнено — мы уж позаботимся об этом… Может быть, вы хотели бы… общества?

Он сделал многозначительную паузу.

— Да, хотел бы, — подумав, ответил Грехэм.

— Так и есть! Как это мы упустили из виду?

— Я хотел бы видеть народ, тех людей, что кричали на улицах…

— Ну, это, боюсь… — Говард замялся, — Но всякое другое общество…

Грехэм стал ходить по комнате не отвечая. Говард стоял у двери, наблюдая за ним. "Что хочет он сказать своим предложением? Что значат его намеки?" Грехэму это было не совсем ясно. "Общество!" А что, если поймать его на слове и потребовать себе собеседника, все равно кого. Может быть, можно было бы вытянуть из этого человека хоть что-нибудь относительно общественных событий? Узнать, по крайней мере, чем кончилась междоусобица, разыгравшаяся в момент его пробуждения?

Он все ходил, соображая, и вдруг догадался, на что намекал Говард. Он круто повернулся к нему.

— Что вы хотели сказать? Какое общество вы мне предлагали?

Говард поднял на него испытующий взгляд и пожал плечами.

— Общество человеческих существ, разумеется, — проговорил он с двусмысленной улыбкой на своем деревянном лице. — Надо вам сказать, что в отношении моральных идей, как и во много другом, мы шагнули вперед сравнительно с вашей эпохой. Если бы вы пожелали, например, развлечься в вашем уединении… женским обществом, мы не нашли бы в этом ничего зазорного, уверяю вас. Мы сумели освободиться от предрассудков. В нашем городе существует особый класс женщин, — необходимый класс, отнюдь не заклейменный всеобщим презрением, как это было в ваше время, и…

Грехэм остановился перед ним и слушал, что будет дальше.

— Это вас развлекло бы, помогло бы вам скоротать время, — продолжал Говард. — Мне следовало бы раньше вспомнить… Но я так озабочен… У нас там такое творится, что голова идет кругом.

И он махнул рукой в сторону двери.

Грехэм колебался. На один миг в его воображении встал образ красивой женщины и своею доступностью соблазнительно манил его к себе. Но минута слабости прошла. В нем закипело негодование.

— Нет! — крикнул он резко и снова принялся нервно шагать из угла в угол.

— Я понимаю, в чем тут дело, — заговорил он опять минуту спустя. — Все, что вы делаете, все, что вы говорите, убеждает меня, что с моей особой связан исход каких-то важных событий, что от меня зависит, какой они примут оборот. И вы рассчитываете усыпить меня развратом. Так знайте же: я не хочу развлекаться, как вы это называете. Конечно, и распутство тоже жизнь в известном смысле. А что потом? Вечная смерть, забвение… В прежней моей жизни я много думал над этим проклятым вопросом. Я решил его для себя ценою страдания и не

намерен начинать сначала. Мне нужны люди, народ, а вы держите меня здесь, как кролика в мешке...

Он дал волю душившему его бешенству. Он потрясал кулаками, выкрикивал архаические проклятия своего века, топал ногами, грозил.

— Я не имею понятия, какой вы партии, какие ваши симпатии, кто вы такой вообще. Я ничего не знаю, и вы нарочно не пускаете меня к свету. Но что вы меня заперли не с добрыми намерениями, это я знаю. И я предупреждаю вас, предупреждаю: берегитесь последствий! Как только я буду у власти...

Он вдруг остановился, сообразив, что такие угрозы могут быть для него роковыми. Говард смотрел на него с каким-то странным выражением в глазах.

— Прикажете передать это Совету? — спросил он.

Грехэму вдруг захотелось броситься на этого негодяя, ударить его, придушить. Должно быть, это отразилось на его лице, потому что Говард мгновенно очутился у двери. В следующую секунду она беззвучно затворилась за ним, и человек девятнадцатого века остался один.

С минуту он стоял в оцепенении, забыв даже опустить свои сжатые кулаки. Потом ударил себя по лбу с криком: "Какой я дурак! О господи, как глупо я себя вел!" — и снова забегал по комнате в бессильной злости.

Он долго еще бесновался, проклиная судьбу, браня себя за глупость, меча громы и молнии на мерзавцев, которые заперли его. Он бесновался, потому что не решался хладнокровно взглянуть на свое положение и постараться вникнуть в него. Он злился и взвинчивал себя,

потому что боялся понять, боялся того страха, который его охватит, когда он поймет.

Мало-помалу, однако, он успокоился настолько, что был в состоянии рассуждать. "Я не могу себе объяснить, зачем они меня заперли, — говорил он себе. — Но ведь есть же у них законы, новые, свои. Стало быть, у них допускаются такие меры и со мной поступают по закону Цивилизация ушла вперед на целых два столетия, и, значит, эти люди далеко опередили мое поколение. Не может быть, чтобы они были менее гуманны, чем мы. А между тем — как это сказал Говард? — они сумели освободиться от предрассудков. Что, если гуманность для них такой же предрассудок, как целомудрие?"

Его фантазия стала усиленно работать, рисуя не весьма приятные картины того, что могут с ним сделать. И как он ни старался отвязаться от этих картин, призывая на помощь рассудок, это плохо ему удавалось.

"Ну что ж, будь что будет! — решил он наконец. — В крайнем случае я уступлю, исполню их требования. Но какие их требования? Чего они хотят? И отчего не скажут прямо, чего им от меня нужно, вместо того чтобы держать меня под замком?"

И опять пошли бесконечные догадки о том, как намерен Совет распорядиться его особой. Снова и снова припоминал он в мельчайших подробностях поведение Говарда, его зловещие взгляды, необъяснимые увертки, замалчиванья... Некоторое время мысли его упорно кружились на одном месте, изыскивая способы побега. Но если б даже удалось бежать, куда он денется в этом огромном, чуждом ему мире? Это все равно, как если бы какой-нибудь древнесаксонский крестьянин неожиданно очутился в Лондоне девятнадцатого столетия. Да и есть ли возможность убежать из этих законопаченных комнат?

"Может быть, они порешили меня уморить. Но кому может быть выгодна моя смерть?"

Ему вспомнилась волнующая толпа, рукопашные схватки на улицах, гневные крики — все признаки близкого социального переворота, центром которого каким-то непостижимым образом был он сам. Из темных глубин его памяти ни с того ни с сего всплыли слова, когда-то сказанные другим Советом:

"Во имя общего блага пусть один человек умрет за народ".

Глава VIII

НА КРЫШАХ

Через овальный прорез в потолке первой комнаты долетали снаружи какие-то неопределенные звуки. Мелькавшие между лопастями колеса промежутки, теперь почти совсем черные, показывали, что на дворе была ночь. Поглощенный мрачными мыслями о том, как с ним поступят в конце концов неведомые власти, которым он так опрометчиво бросил вызов, Грехам стоял под вентилятором, забыв об окружающем. Вдруг он вздрогнул он нового неожиданного звука: он услышал над собой человеческий голос.

Он поднял голову и сквозь просветы между вертевшимися лопастями различил смутные очертания лица и плеч человека, смотревшего на него. Вот протянулась темная рука. Ближайшая лопасть, пролетая, ударила по ней своим острым ребром, и сверху на пол закапало что-то жидкое.

Грехэм нагнулся: на полу была кровь. В испуге он снова вскинул голову к потолку. Фигура исчезла.

Он не шевелился, напряженно всматриваясь в мигавшую между лопастями черноту ночи. Он заметил, что в воздухе над вентилятором плавают какие-то пушинки: они то налетали порывами, то скрывались из глаз, относимые ветром, который поднимали лопасти колеса. Откуда-

то неожиданно блеснул яркий луч света. Пушинки сверкнули в нем белыми искорками, и затем все снова погрузилось в темноту. Стало быть, за стенами его теплой, ярко освещенной тюрьмы была зима, и шел снег.

Он машинально прошелся по комнате и снова стал под вентилятор. Там теперь опять торчала человеческая голова. Он услышал шепот. Потом раздался резкий звук удара по металлу, послышалась возня, глухой говор, и колесо остановилось. В комнату вихрем ворвались снежные хлопья и растаяли, не долетев до полу.

— Не бойтесь, — донеслось до него сверху.

— Кто вы? — прошептал он в ответ.

С минуту нельзя было различить ничего, кроме лопастей колеса, которые еще слегка раскачивались по инерции. Потом в один из промежутков осторожно просунулась человеческая голова. Человек этот висел почти верх ногами, уцепившись рукой за что-то невидимое в темноте, — должно быть, за край вентиляционной трубы. Судя по тому, как у него на лбу вздулись жилы, надо думать, что ему очень трудно удерживаться в этой позе. Его темные волосы были мокры от снега. Лица нельзя было хорошо рассмотреть при таком положении тела. Видно было только, что это молодое лицо с блестящими большими глазами.

Несколько секунд оба молчали, разглядывая друг друга.

— Это вы Спящий? — спросил, наконец, незнакомец.

— Да, — ответил Грехэм. — Что вам от меня нужно?

— Я от Острога, сэр.

— От Острога?

Продолжая висеть в вентиляторе, человек повернул голову так, что лицо пришлось в профиль к Грехэму: он, очевидно, прислушивался. Вдруг раздался испуганный возглас, и он быстро откинулся назад, еле успев увернуться от лопасти колеса, которое опять завертелось. И как ни всматривался после того Грехэм в черную дыру вентилятора, он не видел ничего, кроме вертящихся лопастей, мелькающих полосок неба да тихо падающих снежных хлопьев.

Так прошло с четверть часа. Но, наконец, наверху опять послышались какие-то звуки. Опять раздался удар по металлу: колесо стало, и между лопастями показалось то же лицо. Все это время Грехэм не сходил с места; он стоял, прислушиваясь, напряженно всматриваясь в пустоту и весь дрожа от волнения.

— Кто вы? Что вам нужно? — повторил он свой вопрос.

— Нам надо поговорить с вами, сэр, — отвечал человек. — Мы хотим…. Ох, как трудно держаться!.. Рука затекла…Вот уже три дня, как мы пытаемся пробраться к вам.

— Освобождение? Побег? — проговорил Грехэм прерывистым шепотом.

— Да, сэр, если вы захотите.

— Вы — моя партия? Партия Спящего?

— Да, сэр.

— Так говорите, что мне надо делать?

Вверху послышалась возня. Между лопастями просунулась рука, пальцы были в крови. Потом на краю прореза показались колени. Раздался громкий шепот: "Посторонитесь", — и вслед за тем к ногам Грехэма свалился человек, тяжело упав на руки, и стукнувшись об пол плечом. Освобожденный вентилятор с шумом завертелся. Нежданный гость ловко повернулся, вскочил на ноги и с любопытством смотрел на Грехэма своими живыми глазами, тяжело дыша и потирая ушибленное плечо.

— Да вы и в самом деле Спящий, — сказал он. — Я вас узнаю. Я видел вас еще в то время, когда к вам разрешалось ходить всем без всяких ограничений.

— Да, я тот самый человек, что пролежал в летаргии двести с лишним лет, — ответил Грехэм. — А теперь меня посадили в тюрьму. Вот уже, по крайней мере, три дня, как я здесь сижу, почти с тех пор, как проснулся.

Незнакомец хотел было что-то сказать, но вдруг насторожился, бросил быстрый взгляд в сторону двери и кинулся туда, бормоча что-то невнятное и позабыл о Грехэме. В руке его сверкнуло стальное лезвие, и он принялся изо всех сил колотить по петлям двери.

— Эй, тише вы там! — послышалось с потолка.

Грехэм поднял голову, увидел подошвы двух спускающихся ног и не успел опомниться, как на спину ему обрушилась какая-то тяжесть, свалив его на пол. Он упал на четвереньки, лицом вперед, и груз перекатился через его голову. Он привстал на колени: перед ним сидел второй гость.

— Простите, сэр, я вас сверху не заметил, — сказал, с трудом переводя дух, этот человек. Он встал и помог Грехэму подняться. — Я вас очень ушиб?

В эту минуту снова послышался ряд тяжелых ударов в вентиляторе. Сверху слетело что-то большое, чуть не задев Грехэма по лицу, со звоном упало на пол, подпрыгнуло, опять упало и, дребезжа, улеглось на месте, оказавшись большим куском от лопасти вентилятора из какого-то белого металла.

— Что это значит? — вскрикнул Грехэм, в недоумении поднимая глаза к прорезу. — Кто же вы наконец? Что вы хотите делать? Я ничего не понимаю.

— Посторонитесь, сэр! — сказал второй незнакомец и еле успел оттащить его из-под вентилятора, как с потолка свалился второй тяжелый кусок металла.

— Мы за вами пришли, — проговорил тот же человек прерывистым шепотом. Грехэм взглянул на него и увидел, что у него рассечен лоб и из прореза выступают капельки крови. — Нас прислал ваш народ. Народ зовет вас…

— Мой народ, говорите вы? Куда же мне идти?..

— В зал Большого театра, что на Рыночной площади. Здесь ваша жизнь в опасности. У нас есть свои шпионы. Хорошо еще, что мы узнали вовремя. Совет решил или убить вас, или снова усыпить не дальше как сегодня. У нас все готово. Есть своя милиция. Служащие в Управлении ветряных двигателей, инженеры и половина кондукторов движущихся улиц на нашей стороне. Все публичные залы переполнены народом, вас ждут. Весь город восстал против Совета. У нас есть оружие.

Он вытер кровь со лба.

— Оружие? Зачем?

— Чтобы вас защищать. Народ не даст вас в обиду… Что такое?

Он быстро обернулся на неожиданно раздавшийся резкий свист. Это свистнул его товарищ, возившийся около двери. Грехэм тоже взглянул в ту сторону и увидел, что тот показывает им знаками, чтоб они спрятались, а сам торопливо пятится за дверь. Дверь тихонько отворилась, и на пороге показался Говард. Он нес в руках нагруженный поднос, осторожно ступая и не подымая глаз. Но не успел он войти, как дверь захлопнулась за ним с громким стуком. Он вздрогнул, поднял голову и выронил поднос: стальное лезвие рассекло ему шею. Он упал как подкошенный лицом вниз и растянулся поперек комнаты ногами к двери. Ударивший его человек поспешно нагнулся, заглянул ему в лицо, потом спокойно выпрямился и как ни в чем не бывало, занялся опять своей работой у двери.

— Вот ваша отрава, — шепнул Грехэму на ухо второй незнакомец, указывая на поднос с его ужином, валявшийся на полу.

В этот момент обе комнаты вдруг погрузились в темноту: бесчисленные лампочки, горевшие по карнизам, разом погасли. Овал прореза в потолке выступил светлым пятном в этом мраке. Грехэму было видно, как там кружился снег и торопливо двигались какие-то темные фигуры. Вот три из них опустились на колени у края прореза. Вот в комнату стал спускаться какой-то темный предмет, оказавшийся приставной лестницей. Потом показалась рука, державшая горящий факел.

На одну минуту Грехэма взяло сомнение. Но все поведение этих людей, их неподдельное волнение, их решительность, все их слова так совпадали с его собственными чувствами, с его страхом перед Советом, с его желанием вырваться на свободу, что он, не колеблясь, отбросил свои опасения. О чем тут думать? Ведь его ждет народ.

— Я ничего не понимаю во всем этом, но я вам верю, — сказал он. — Говорите, что я должен делать.

Человек с рассеченным лбом схватил его за руку и сказал:

— Взбирайтесь наверх. Скорее! Может быть, они уже заметили…

Вытянув в темноте руки, Грехэм нащупал лестницу и поставил ногу на нижнюю ступеньку. Но прежде чем начать подниматься, он обернулся назад и, заглянув через плечо незнакомца, стоявшего ближе к нему, увидел при желтом мерцающем свете факела, что товарищ его, сидя верхом на трупе Говарда, продолжает работать над дверью. Он отвернулся и полез наверх, подталкиваемый своим провожатым. Не успел он коснуться ногой верхней ступеньки, как его подхватило несколько услужливых рук, и в следующий момент он стоял под открытым небом, возле воронки вентилятора, на чем-то твердом, холодном и скользком.

Его стала пробирать дрожь: разница в температуре между наружным воздухом и теплым помещением его тюрьмы была очень велика. Его окружали какие-то люди — человек шесть или семь. Легкие снежные хлопья падали ему на руки и на лицо и сейчас же таяли. Сначала было темно. Но вот бледный фиолетовый луч на миг прорезал темноту, после чего она, казалось, стала еще гуще.

При этом мимолетном свете Грехэм увидел, что он стоит на крыше огромнейшего здания, занимавшего, по всей вероятности, несколько кварталов прежнего Лондона. Крыша была плоская, и по ней во всех направлениях были протянуты толстые кабели. Из темноты сквозь завесу снежной метели выступали неясные силуэты гигантских ветряных двигателей, гудя своими колесами то громче, то тише, смотря по силе ветра. Откуда-то снизу лился перемежающийся бледный свет, и каждая снежинка горела золотым огнем, попадая в полосу этого света, а вдали подымались гигантскими призраками еще какие-то машины, отбрасывавшие бледно-зеленые искры.

Все это дошло до его сознания лишь смутно и урывками за те немногие минуты, пока его избавители о чем-то торопливо совещались между собой. Вот кто-то накинул на него теплый плащ из какой-то пушистой материи и пристегнул его ремнями у пояса и на плечах. Все говорилось и делалось быстро, решительно. Прежде чем он успел опомниться, какая-то темная фигура взяла его за руку и, указывая вдоль плоской крыши в ту строну, откуда лился мглистый, призрачный свет, сказала: "Сюда!" — и потянула его за собой. Он повиновался.

— Осторожнее! — раздался тот же голос, когда он споткнулся о кабель, — Между ними идите, а не шагайте через них... Скорее!

— Где же народ? — спросил Грехэм. — Народ ждет меня, мне сказали?

Ответа не последовало. Дорожка между кабелями становилась все уже. Проводник Грехэма выпустил его руку и быстро зашагал вперед. Грехэм шел за ним, не оглядываясь по сторонам, думая только о том, как бы не отстать. Они почти бежали.

— А где остальные? Они тоже идут? — спросил он, задыхаясь от бега, но опять не получил ответа. Проводник только оглянулся на него и побежал дальше. Вскоре они добрались до открытого прохода с металлическими перилами по бокам, тянувшегося под углом к той дорожке, по которой они раньше шли. Они свернули в этот проход. Грехэм оглянулся назад, но за падающим снегом не было видно, идут ли за ними остальные.

— Бегите за мной! Не отставайте! — сказал проводник, и они опять побежали.

— Нагнитесь! — услышал Грехэм, и они благополучно увернулись от бесконечного приводного ремня, который несся вверх, к шкиву колеса небольшого ветряного двигателя, торчавшего у них над головами.

— Сюда! — И они очутились по щиколотку в мокром снегу. — Постойте, я пойду вперед, — сказал проводник.

Грехэм плотнее завернулся в свой плащ и пошел за ними.

Теперь они пробирались по узкому открытому желобу, огороженному с обеих сторон металлическими стенками в половину человеческого роста. В одном месте желоб был переброшен с крыши на крышу. Грехэм нечаянно заглянул через стенку и вдруг увидел под собой узкий черный провал. На один миг он пожалел, что согласился бежать. У него закружилась голова. Он машинально месил ногами мокрый снег, не смея поднять глаз, боясь только одного: как бы ему не сделалось дурно.

Выбравшись из желоба, они снова оказались на широкой плоской крыше, мокрой от снега и местами, очевидно, полупрозрачной, потому что снизу проходил слабый свет и можно было даже видеть мелькающие огоньки. Грехэм со страхом ступал по тому прозрачному полу: ему казалось, что он идет по тонкому льду. Но проводник его бежал вперед как ни в чем не бывало, и это успокоило его. Пройдя эту крышу, они вскарабкались по скользким ступенькам на широкий карниз большого стеклянного купола и обогнули его. Из-под купола долетали звуки музыки, прорываясь отдельными нотами сквозь шум ветра. Внизу толпились люди: кажется, там танцевали. Но останавливаться было некогда: проводник все время торопил его.

Они полезли куда-то еще выше и очутились на широком ровном пространстве, сплошь уставленном ветряными двигателями. Один из них был так велик, что можно было различить только нижнюю половину его колеса: вертящиеся лопасти становились видимы, пролетая низом, и, уносясь вверх, терялись в темноте. Они довольно долго пробирались между колоссальными металлическими скреплениями этого двигателя и, наконец, вышли на другую прозрачную, но покатую крышу. Грехэм с удивлением увидел себя над площадью движущихся улиц, таких же, как те, на которые он смотрел с балкона три дня тому назад. На гладкой

покатой поверхности крыши было так скользко, что им пришлось ползти на четвереньках.

Вся крыша была покрыта мокрым снегом, так что трудно было хорошо рассмотреть, что находится под ней. Где-то внизу виднелись лишь контуры зданий, настолько неясные, что нельзя было даже определить расстояния. Но ближе к коньку крыши стекло оказалось чистым, и, заглянув вниз, Грехэм увидел под собой страшную глубину. У него голова закружилась, руки и ноги онемели, и, несмотря на настойчивые понукания проводника, он лег ничком на скате крыши и лежал, как пласт, не в силах шевельнуться. Далеко внизу, на дне глубокой ямы, копошились какие-то букашки — жители бессонного города с его неугасимым искусственным светом, — неслись платформы движущихся улиц, совершая свой нескончаемый путь.

Рассыльные, почтальоны, люди, спешившие по всевозможным неизвестным делам, стремглав летели вниз, скользя по кабелям. Хрупкие висячие мостики были тоже переполнены людьми. Ему казалось, что под ним гигантский улей, населенный людьми вместо пчел, и только тонкое стекло — он даже не знал, насколько крепкое, — не давало ему свалиться в этот улей с головокружительной высоты. Там, внизу, было светло и тепло, а он промок до костей и продрог. Неизвестно, как долго пролежал бы он на одном месте в полузабытьи, если б проводник не закричал ему с ужасом в голосе:

— Идите! Что же вы лежите! Идите скорей!

Он напряг все свои силы и взобрался на конек крыши. Тут, следуя примеру проводника, он сел и быстро съехал вниз по противоположному скату. "Хорошо, если в стекле нет трещин. Что, если я попаду на такую трещину?" — невольно подумал он, пока стремглав катился с этой скользкой горы. Но вот его ноги уперлись во что-то, и в следующую секунду он стоял на железной закраине крыши по щиколотку в талом снегу, благодаря судьбу за то, что под ним не было больше предательского прозрачного пола. Проводник его уже перелез

через железную решетку на ровную площадь соседней крыши, где опять тянулись ряды огромных ветряных двигателей с вертящимися лопастями. Грехэм последовал за ним. Сквозь частый дождь снежных хлопьев смутно вырисовывались переплеты гигантских скреплений, и доносилось ровное гудение колес. Вдруг в этот монотонный шум ворвались пронзительные звуки свистков. Необыкновенно сильные и резкие, они, казалось, неслись со всех сторон.

— Нас ищут! — вскрикнул проводник Грехэма в невыразимом ужасе.

В тот же миг кругом разлился ослепительный свет: ночь разом превратилась в сияющий день. На верхушках ветряных двигателей выросли высокие шесты с прикрепленными к ним осветительными шарами, испускавшими целые снопы ярких белых лучей. Шесты с такими шарами тянулись по всем направлениям, теряясь в бесконечной перспективе. Шары горели спереди, сзади, повсюду, насколько можно было видеть сквозь снежную пелену.

— Становитесь сюда! — крикнул Грехэму проводник и толкнул его на металлическую решетку, тянувшуюся по крыше узкой темной лентой между двумя снежными сугробами. Грехэма удивило, что это место было свободно от снега, но когда он стал на него, его окоченевшие ноги почувствовали тепло, и тут только он заметил, что от решетки шел пар.

— Бегите за мной! — раздался голос проводника уже в десяти ярдах дальше. И, не дожидаясь ответа, он бросился бежать по ярко освещенному пространству между двумя рядами ветряных двигателей. Грехэм, подгоняемый страхом, пустился за ним так скоро, как только несли его ноги. Его ищут… ловят… могут поймать! Нет, все, что угодно, только не попадаться больше в лапы Совету…

Через несколько секунд они уже ныряли между железными переплетами гигантских скреплений, под чудовищными движущимися колесами и рычагами, то исчезая в их тени, то снова появляясь в пятне

яркого света. Вдруг проводник юркнул куда-то вбок и скрылся в полосе густой тени у подножия огромной подпорки. В следующую минуту Грехэм был подле него.

Они присели на корточки и выглядывали из своей засады, с трудом переводя дыхание.

Перед ними была странная, фантастическая картина. Снег перестал идти; лишь изредка то здесь, то там лениво опускался сверху запоздалый пушистый комок. Но вся окружавшая их широкая ровная площадь сверкала белизной, отчего тянувшиеся по ней движущиеся тени исполинских машин выступали еще рельефнее, еще резче и казались живыми титанами мрака. Кругом, куда ни взгляни, торчали переплеты металлических скреплений, сказочно огромных, работы нечеловеческих рук, и медленно в наступившем затишье двигались широкие ободы гигантских колес, уходя сверкающими полукругами все выше и выше в светящуюся мглу. В тех местах, где падали усеянные блестками снежинок снопы света, было видно, как с яростной, неукротимой настойчивостью работали рычаги и неслись вверх и вниз бесконечные ремни, исчезая в черноте собственной тени. И, несмотря на всю эту мощную деятельность, на ту безустанную работу, так громко говорившую о сознательном плане, эти чудовищные машины среди снежной пустыни исключали всякую мысль о близком присутствии человека: казалось, что они существуют сами по себе — такие же безлюдные, неприступные и заброшенные, как какая-нибудь снеговая вершина Альп.

— За нами гонятся! — шепнул Грехэму проводник. — Мы не прошли еще и полдороги. Сидеть страшно холодно, но что поделаешь! Придется переждать, по крайней мере, пока снег пойдет гуще.

У него стучали зубы от холода.

— Где же Рыночная площадь? Где народ? — спросил Грехэм озираясь

Но тот ничего не ответил.

В это время опять поднялся ветер и повалил снег.

— Смотрите! Что это? — вскрикнул в испуге Грехэм, невольно съеживаясь еще больше.

Из-за крутящегося снежного вихря, в чернеющей пасти далекого неба, скользя по воздуху порывистыми взмахами и описывая неправильные круги, показалось что-то серое, бесформенное, быстро летевшее вниз. Остановившись на миг почти прямо над ними, оно описало круглую дугу и, широко распустив огромные крылья и волоча за собой хвост густого белого пара, понеслось в обратную сторону. Легко, как птица, оно скользнуло вверх, пролетело немного в горизонтальном направлении, описав полукруг, и скрылось за метелью. И между ребрами этого странного тела Грехэм успел рассмотреть двух маленьких человечков, занятых важным делом. Они осматривали местность — это было ясно: каждый держал перед собой что-то длинное, очень похожее на подзорную трубу. С секунду они были отчетливо видны, потом стали быстро удаляться, становились все меньше и меньше, пока их не застлало снежной пеленой. Проводник дернул Грехэма за рукав.

— Теперь бежим. Скорее! — сказал он.

И оба опять побежали под аркадой железных подпорок, ныряя под колеса и рычаги. Вдруг проводник круто повернул назад. Грехэм, не ожидавший этого, налетел на него. Ярдах в двенадцати впереди чернела глубокая пропасть. Она тянулась направо и налево и, насколько можно было видеть, совершенно преграждала им путь.

— Делайте теперь то же, что я, — шепнул проводник.

Он лег на живот, подполз к краю обрыва, повернулся и осторожно спустил одну ногу. Потом, нащупав, очевидно, то, что искал, начал спускаться и исчез. Через секунду высунулась его голова.

— Это закраина крыши, — прошептал он, — Здесь мы можем все время пробираться в тени. Ползите за мной.

После минутного колебания Грехэм стал на четвереньки, подполз к провалу, заглянул в его черную глубину и обмер. На него напал такой страх, что он не мог шевельнуться, не мог даже заставить себя вернуться назад. Но это продолжалось недолго: минута слабости прошла. Он сел, осторожно свесил одну ногу, за которую тотчас же ухватились руки проводника, с ужасом почувствовал, что скользит вниз, в темную бездну… и вдруг стал обеими ногами на что-то твердое, расплескав жидкую грязь. Он мог только догадываться, что стоит в желобе крыши, так как кругом была непроницаемая тьма.

— Сюда! — услышал он у себя над ухом голос проводника и ощупью пополз за ним вдоль желоба, прижимаясь к стене. Это путешествие продолжалось не больше десяти минут, но ему оно показалось целым веком. Не было, кажется, той степени волнения и страха, которой он не пережил бы за эти десять минут. Он не чувствовал ни рук, ни ног от холода и усталости.

Желоб постепенно спускался. Вскоре они ползли уже на половине высоты здания. Над ними тянулись ряды каких-то длинных светлых пятен, похожих на привидения. "Завешенные окна", — догадался Грехэм. От одного из этих призраков-окон спускался кабель, чуть-чуть серея в темноте и исчезая нижним концом в черной части провала. В ту минуту, когда они подползали к этому кабелю, Грехэм почувствовал на своей руке руку проводника.

— Тише! — шепнул ему тот.

Он поднял голову в испуге и на голубовато-сером фоне туманного неба увидел распростертые крылья летательной машины, медленно и бесшумно скользившей по отлогому наклону вниз. Через минуту машина описала полукруг, стала снова подниматься и скрылась.

— Не шевелитесь: они еще могут повернуть.

На мгновение оба окаменели. Потом проводник тихонько поднялся на ноги, нащупал в темноте спускавшийся от окна конец кабеля и стал что-то делать с ним.

— Что вы там делаете? — спросил его Грехэм.

В ответ раздался слабый крик. Проводник весь скорчился и прижался к стене. Грехэм нагнулся и заглянул ему в лицо: широко раскрытыми от ужаса глазами он всматривался в светлевшую над ними полоску неба. Грехэм перевел глаза в ту сторону и высоко-высоко над собой увидел в воздухе маленькое светлое пятнышко: это была летательная машина. Он видел потом, как расправились ее крылья, как она повернула и начала опускаться, вырастая с каждой минутой. Вот она долетела до угла крыши и, приняв горизонтальное направление, понеслась прямо на них.

Проводник снова схватился за кабель и лихорадочно принялся что-то с ним делать. Он бросил Грехэму какой-то предмет. Тот поймал его на лету и нащупал большой деревянный крест. Крест оказался прикрепленным к кабелю тонкими шнурами с петлями для рук из какого-то упругого вещества.

— Садитесь верхом на эту штуку, а руками возьмитесь за петли. Да смотрите крепче держитесь! — прошептал вне себя от волнения проводник.

Грехэм исполнил все в точности.

— Теперь прыгайте.... Прыгайте ради самого бога!

Страшную минуту пережил Грехэм. Он радовался одному — что в темноте нельзя было видеть его лица. Он хотел ответить, спросить... но язык не слушался его. Он начал дрожать мелкой дрожью. Одним мгновенным испуганным взглядом он охватил парившую над ними тень, которая, как ему показалось, застилала собою все небо и быстро надвигалась на них.

— Прыгайте же! Прыгайте скорее, или мы будем в их руках! — закричал проводник в отчаянии и, видя, что Грехэм не слушается, толкнул его в спину.

Он невольно качнулся вперед и в ту самую минуту, когда летательная машина была уже над его головой, с безумным, рыдающим криком, которого он не мог удержать, ринулся в черную бездну, сидя на деревянном кресте и судорожно вцепившись руками в петли шнура. Что-то затрещало над ним, что-то быстро проползло, царапая по стене, и стало. Он слушал, как терлись о кабель шнуры его креста, в своем быстром полете, слышал крики аэронавтов. На один миг он почувствовал на своей спине чьи-то колени... Может быть, его хотели схватить.... Но он стремглав несся вниз, падал всею тяжестью своего тела с все возраставшей быстротой. Вся его сила сосредоточилась в руках. Он не кричал только потому, что задыхался.

Вдруг в глаза ему блеснул ослепительный свет, что заставило его еще крепче сжать в руках петли шнура. Мимо него промелькнули осветительные шары, висячие мостики, сети переплетающихся кабелей. Под ним была большая площадь движущихся улиц: он узнал ее. Все это неслось вверх мимо него. На один миг в мозгу его мелькнуло впечатление большого круглого отверстия в стене, зиявшего ему навстречу.

Он снова очутился в темноте и падал, все падал, сжимая немеющими пальцами петли шнура. Потом… Что это? Опять потоки света… и голоса…. Много, много кричащих человеческих голосов…. И он влетает в яркоосвещенную огромную комнату, переполненную ревущей толпой. Народ! Его народ!.. Навстречу ему несутся какие-то подмостки, напоминающие сцену в театре. Кабель его начинает загибаться петлей, направляясь к круглому отверстию вправо. Его полет замедляется. Вот он уже различает отдельные возгласы: "Спящий с нами! Повелитель и властелин! Спасен!" Подмостки приближаются с все уменьшающейся быстротой. И вдруг…

Он услышал испуганный крик человека — проводника, сидевшего у него за спиной, и снизу этот крик был подхвачен тысячью голосов. Он почувствовал, что уже не скользит больше по кабелю, а падает вместе с ним. Зал огласился дикими воплями. Он уперся во что-то мягкое протянутой рукой, навалившись на нее всем своим весом, и это ослабило силу падения…

Когда он очнулся, он понял, что лежит неподвижно. Ему не хотелось шевелиться, но его подняли и понесли. Потом, когда он вспоминал об этом, ему казалось, что его положили на каком-то возвышении и дали ему выпить чего-то, но он не помнил наверное. Про своего проводника он как-то совершенно забыл и не заметил, куда тот девался. Когда сознание окончательно вернулось к нему, он был на ногах, его поддерживал десяток заботливых рук. Он стоял в небольшой комнатке, открытой в сторону зала и напоминавшей глубокую нишу, или альков, или, пожалуй, ложу бенуара, какие обыкновенно бывали в театрах его времени. И в самом деле, уж не театр ли это помещение, куда он попал?

У него звенело в ушах от несмолкаемого крика, который раздавался кругом. Толпа ревела тысячами глоток: "Спящий! Спящий! Это он! Он с нами наконец! С нами наш повелитель и властелин! Он жив! Он спасен!"

Грехэм не различал отдельных людей. Он видел лишь общую картину огромного зала, битком набитого народом. Перед ним белели ряды обращенных к нему человеческих лиц, мелькали машущие руки, развевающиеся одежды. Это человеческое море влекло его к себе таинственными непреодолимыми чарами. Перед ним тянулись галереи, балконы, зияли огромные арки, позволяя видеть широкие коридоры, уходящие вдаль. И все это было заполнено людьми, густою плотной толпой, ликующей и кричащей. На подмостках сцены недалеко от него лежал, свернувшись гигантской змеей, упавший кабель, подрезанный аэронавтами у верхнего конца. Теперь его убирали какие-то люди. Но все это проносилось перед ним, как во сне. От неистовых криков звенело в ушах, и все предметы прыгали перед глазами.

Шатаясь на нетвердых ногах, он оглянулся на окружавших его. Кто-то поддержал его под локоть.

— Проведите меня в маленькую комнату… в маленькую, — повторил он, почти плача.

Больше он ничего не мог сказать.

Кругом засуетились. Какой-то человек в черном выступил вперед и взял его за свободную руку. Перед ним поспешно распахнули дверь. Он шел, шатаясь как пьяный. Его подвели к стулу. Он тяжело опустился на него и закрыл лицо руками. Он весь дрожал как в лихорадке: он не владел собой. С него сняли тяжелый теплый плащ, но когда и кто — он не помнил. Он заметил только, что его пунцовые брюки совсем почернели от грязи. Вокруг него бегали, о чем-то хлопотали, что-то делали, но все это проходило мимо его сознания, не задевая его.

Итак, он спасся. Об этом кричали сотни голосов. Он спасся, он жив. Он среди своих сторонников, среди друзей.

Он судорожно вздыхал, борясь со своим волнением, стараясь подавить рыдания, подступавшие ему к горлу; потом затих и остался сидеть, как сидел, — закрывшись руками. А из зала неслись ликующие крики народа, который его спас.

Глава IX

НАРОД ИДЕТ

Кто-то протягивал ему стакан с каким-то прозрачным напитком. Он поднял голову и увидел перед собой черноволосого молодого человека в желтом костюме. Он выпил залпом и ожил. Около него, указывая рукой на полуоткрытую дверь, которая вела в зал, стоял еще какой-то высокий человек в черной мантии и что-то кричал ему в ухо, но что именно, нельзя было разобрать за оглушительным шумом, доносившимся из зала. Немного подальше стояла молодая девушка в серебристо-сером платье, и Грехэм, несмотря на всю свою растерянность, заметил, что она очень хороша собой. Ее темные глаза смотрели на него с удивлением и любопытством; ее губы дрожали. В полуоткрытую дверь была видна часть зала, битком набитого народом. Оттуда неслась неровный гул голосов, стук топочущих ног, рукоплескания и крики. Весь этот гам то замирал, то опять разрастался, оглушая, как гром. Так продолжалось все время, пока Грехэм был в маленькой комнате. По движению губ человека в черном он догадывался, что тот старается ему что-то объяснить.

С минуту он бессмысленно смотрел перед собой, потом вскочил и схватил за руку этого кричащего человека:

— Скажите мне: кто я? кто я?

Стоявшие кругом подались вперед, стараясь расслышать, что он сказал.

— Кто я? — повторил он с волнением всматриваясь в окружавшие его лица.

— Они ничего ему не сказали? — воскликнула девушка в сером.

— Говорите же, говорите! — кричал Грехэм.

— Вы — властелин земли: вам принадлежит полмира.

Он не верил своим ушам, не смел верить. Не хотел ни слышать, ни понимать.

Он опять прокричал во весь голос:

— Три дня, как я проснулся, три дня, как я в тюрьме, догадываюсь: у вас в этом городе идет какая-то борьба…. Ведь это Лондон?

— Да, — ответил темноволосый молодой человек.

— Ну, а те, что совещались в большом зале, где статуя Атласа? Кто они? Какое отношение они имеют ко мне? Я чувствую, что они говорили обо мне. Мне кажется, что, пока я спал, или весь мир сошел с ума, или я сам. Что они хотели сделать со мной? Ведь они нарочно усыпляли меня? Зачем им это понадобилось?

— Чтобы не дать вам очнуться, — сказал молодой человек в желтом. — Чтобы не допустить вашего вмешательства.

— Но почему?

— Потому что вы Атлас, сэр. Мир держится на ваших плечах. Они правят вашим именем.

Шум и крики, доносившиеся из зала, уже несколько минут, как затихли. Раздавался только чей-то один ровный голос. Но не успел человек в желтом договорить своей последней фразы, как в зале, покрывая его слова, снова поднялся оглушительный гвалт: рев, топот ног, ликующие возгласы; доносились и отдельные голоса, хриплые и пронзительные, перебивавшие друг друга. И все время, пока продолжался этот гам, люди, находившиеся в маленькой комнате, не могли разговаривать между собой.

У Грехэма все смешалось в голове. То, что он сейчас узнал, никак не укладывалось в его сознании.

— Совет, — повторил он растерянно. Потом, хватаясь за неожиданно всплывшее в его памяти имя, спросил: — А кто такой Острог?

— Это наш вождь, организатор восстания, и мы действуем вашим именем.

— Моим именем? А вы кто? И почему его здесь нет?

— Он послал нас. Я его брат, сводный брат. Мое имя Линкольн. Он хочет, чтобы вы показались народу, а потом будет просить вас прийти к нему. Затем-то он нас и послал, а сам он отдает приказания в Главном управлении ветряных двигателей. Народ скоро двинется. Он восстает…

— От вашего имени! — подхватил темноволосый молодой человек. — Они давили, угнетали нас, делали, что хотели, и, наконец, даже…

— От моего имени! От имени властелина земли?

Среди затишья, наступившего в зале в эту минуту, отчетливо прозвучал голос темноволосого молодого человека, громкий и негодующий. Весь дрожа от волнения, он прокричал:

— Никто не ожидал, что вы проснетесь. Они ловко действовали, проклятые тираны. Но они ошиблись в расчете. Они не могли решить, что с вами делать теперь: усыпить ли вас снова, или просто убить.

Опять гул в зале покрыл собой все звуки. Человек, назвавший себя Линкольном, подошел вплотную к Грехэму.

— Острог уже все подготовил. Говорят, скоро начнется сражение. План его уже выработан. Острог — вполне верный человек! Вы можете на него положиться. Народ организован. Мы захватим все кабели. Может быть, Острог уже распорядился сделать это. А потом…

— Здесь, в этом театре, собралась только часть наших сил, — вмешался молодой человек в желтом. — У нас пять мириад обученных людей.

— У нас есть оружие, есть предводитель, — закончил Линкольн, — Их полиция покинула улицы и заперлась в… — конца фразы нельзя было расслышать за шумом. — Теперь или никогда! Совет висит на волоске. Они не могут положиться даже на армию.

— Слышите, народ вас зовет!

Мысли Грехэма кружились, не находя выхода в этом хаосе. Его душевное состояние напоминало бурную лунную ночь, когда месяц то вынырнет из-за туч бледным призраком, то снова спрячется и все погрузится в безнадежную тьму.

Он — властелин земли, и этот властелин земли промок, как губка, ползая на крышах по грязному талому снегу. Вся быстрая смена впечатлений представляла непрерывный ряд контрастов. С одной стороны, Белый Совет — каких-то восемь человек, но за ними власть и дисциплина, — тот самый Белый Совет, от которого он только что убежал. С другой — эти многотысячные толпы, плотная масса людей,

взывающих к нему, провозглашающих его властелином. Та сторона держала его в заточении, решала, жить ему или умереть. Эти же тысячи народа, кричащего вон за той маленькой дверью, спасли его, помогли ему вырваться на волю. Но почему так делалось и зачем, он не понимал.

Вдруг дверь из зала распахнулась. Голос Линкольна потонул в ворвавшемся гаме. Вслед за тем в маленькую комнату ввалилась толпа. Бывшие впереди, оживленно жестикулируя, подбежали к Линкольну. Губы их шевелились, но слов нельзя было разобрать, можно было лишь догадаться по доносившемуся из зала тысячеголосому крику, что они говорили: "Покажите нам Спящего!" К этому примешивались отдельные голоса, призывавшие к тишине и порядку.

Грехэм взглянул в открытую дверь и увидел, как картину в рамке, часть зала, представлявшего сплошную массу взволнованных человеческих лиц — мужских и женских, — поднятых рук и развевающихся светло-голубых одеяний. Все эти люди кричали. Какой-то оборванец в темно-коричневом балахоне, худой, как скелет, стоял на стуле и размахивал черным флагом.

Грехэм встретил взгляд девушки в сером и прочел в нем удивление и ожидание. Чего хотят от него эти люди? Каким-то чутьем он угадал, что настроение толпы изменилось: теперь в этих криках, в этом общем реве слышался призыв к бою. В его душе что-то перевернулось. Он сам не понимал, какое влияние так преобразило его. Но минута слабости, растерянности прошла. Стараясь изо всех сил, чтобы его услышали, он стал спрашивать ближайших к нему, чего от него хочет народ.

Линкольн кричал ему в ухо, но он не слышал его. Все остальные, кроме молодой девушки, энергичными жестами приглашали его войти в зал.

Что это он слышит? Дикий гам сменился стройным пением. Пели все поголовно, отбивая такт ногами. Это было необыкновенное пение: человеческие голоса как будто неслись в волнах могучего потока инструментальной музыки, напоминавшей орган. Звуки сливались, переплетались, рисуя картину марширующих войск, развевающихся знамен, всей торжественной обстановки выступления в бой.

Грехэма увлекали к двери. Он машинально повиновался. Это мощное пение захватило его, приподняло, вдохнуло в него мужество. Перед ним открылся весь зал: широкое, волнующееся море цветных одежд и флагов.

— Сделайте им рукой знак приветствия, — сказал ему Линкольн.

— Подождите, накиньте на него вот это, — раздался голос с другой стороны.

Чьи-то руки задержали его в дверях, и на плечах у него очутился длинный черный плащ, ниспадающий мягкими складками. Он высвободил одну руку и пошел за Линкольном. Возле себя он увидел девушку в сером. Лицо ее сияло одушевлением, рука была протянута вперед. Она казалась ему в эту минуту воплощением чудной музыки, которая так преобразила его. Он прошел в дверь и очутился в том самом алькове, куда он свалился, когда перерезали канат, — и в тот же миг широкая разлившаяся волна музыки упала и рассыпалась пеною ликующих возгласов. Альков действительно оказался ложею огромного театра, очень сложной архитектуры, с множеством балконов, галерей, расположенных амфитеатром, ярусов и высоких арок в глубине. Продолжая следовать за Линкольном, Грехэм прошел на сцену и стал лицом к собравшейся толпе. В глубине театра, прямо против себя, он увидел устье широкого открытого прохода, переполненного людьми, как и весь зал. Из всей этой живой колышущейся массы вдруг выделялась какая-нибудь отдельная фигура или лицо, на один миг овладевала его вниманием и потом снова сливалась с толпой. Прямо против сцены мелькнуло лицо хорошенькой женщины. Ее несли трое

мужчин, высоко приподняв над головами. С развевающимися волосами, горящими глазами, она смотрела в его сторону и махала зеленым жезлом. Недалеко от этой группы какой-то старик с бледным изнуренным лицом с трудом отстаивал свое место в общей давке, а за ним виднелась лысая голова с широко разинутым беззубым ртом. Какой-то голос выкликал таинственное имя Острог. Но все эти мимолетные впечатления потонули в том море неизведанных чувств, которые поднялись в нем, когда возобновилось мощное пение под музыку. Все начали снова отбивать такт. Зеленые жезлы склонялись в воздухе в знак приветствия. Вдруг он увидел, что ближайшие к сцене ряды тронулись с места. Они прошли мимо него, направляясь к высокой арке, с криком:

"В Совет! В Совет!". Он поднял руку. Раздался восторженный рев. Он чувствовал, что надо бы сказать им что-нибудь ободряющее. На языке у него вертелись смелые, вдохновенные слова. Он протянул руку по направлению к арке и закричал: "Вперед!". Теперь они уже не отбивали такт на месте: они маршировали под музыку. Кого только не было в этой толпе: бородатые, взрослые люди, старики, юноши, нарядные женщины с обнаженными руками, молоденькие девушки — все люди нового века. Богатые наряды и потерявшие цвет лохмотья перемешивались в этом стремительном вихре голубых одежд. Огромное черное знамя, колыхаясь над головами, повернуло вправо. Мимо него промелькнули негр в голубом балахоне, сморщенная старуха в желтом платье, два китайца. Какой-то высокий темноволосый юноша с болезненным лицом и горящими глазами подбежал к самой рампе, прокричал какое-то приветствие и снова пошел за другими, оглядываясь назад. Головы, руки, флаги, жезлы — все колыхалось в такт.

Перед ним выплывали отдельные лица, встречались с ним глазами и уносились дальше общим потоком. Ему делали приветственные знаки, кричали что-то дружелюбное, хотя он и не слышал слов. Лица были большею частью красные, возбужденные, но попадались и смертельно бледные, отмеченные печатью болезней; и не одна рука, посылавшая

ему привет, поражала своей худобой. Вот они, люди нового века! Странное, фантастическое сборище! По мере того, как этот широкий живой поток проносился мимо него слева направо, боковые ярусы и коридоры зала, как притоки, беспрерывно вливали в него все новые и новые массы людей. Основной мотив песни обогащался гулкими отголосками, которые со всех сторон посылали величественные своды арок. Звуки плыли, летели вперед; стремительно шли вперед и люди. Казалось, весь мир марширует в такт этим звукам. Он чувствовал, что и сердце его бьется в такт. Людской поток все расширялся и ускорял свой бег.

Линкольн потянул его за собой. Бессознательно подчиняясь движению его руки, Грехэм повернул в сторону арки и, сам того не замечая, тоже зашагал в такт, подгоняемый бодрящими звуками песни. Все это шествие двигалось вниз по отлогому спуску. Он смутно сознавал, что перед ним расчищают дорогу, что его окружает почетный караул и что Линкольн не отстает он него ни на шаг. Услужливые руки расталкивали толпу в обе стороны. Он видел перед собой черные плащи своих телохранителей, маршировавших по трое в ряд. Его провели по узкому проходу с железными решетками по бокам, и вдруг он увидел себя над улицей, на открытой галерее, под которой двигалась вся масса народа, не переставая приветствовать его громкими криками. Он не знал, куда его ведут, да и не стремился узнать.

Глава X

БИТВА В ТЕМНОТЕ

Они шли по галерее, висевшей на большой высоте. Перед ним и за ним маршировал его караул. Все широкое русло движущихся улиц внизу кипело народом, быстро двигавшимся влево. Люди кричали, махали шляпами, протягивали к нему руки… Они кричали, приближаясь, кричали, проходя мимо, кричали, удаляясь, пока непокрытые головы их не исчезали в далекой, постепенно суживающейся перспективе электрических огней.

Теперь песня гремела при поддержке оркестра и разливалась вольнее. К размеренному топоту марширующих ног примешивались беспорядочные шаги людей, сбегавшихся из боковых улиц.

Но странная вещь: здания на противоположной стороне улицы казались пустыми, висячие мосты были безлюдны, и ни одной души не спускалось по кабелям, переплетавшимся над всем этим широким пространством. Это его поразило. Он невольно подумал, что и тут должно было бы царить такое же оживление, как и внизу.

У него вдруг явилось странное, беспокойное ощущение, как будто что-то колебалось, дрожало у него внутри. Он остановился. Его телохранители, бывшие впереди, продолжали идти прежним шагом, задние остановились вместе с ним. Их лица были обращены в одну сторону. Он взглянул по этому же направлению и понял, в чем дело: дрожали огни осветительных шаров.

Сначала он подумал, что это случайное явление, не имеющее никакого отношения к тому, что делается внизу. Каждый из огромных шаров ослепительно белого цвета то съеживался и почти погасал, точно его сжимали невидимые лапы, то опять разгорался, отчего свет быстро чередовался с темнотой.

Но скоро Грехэм догадался, что то мерцание огней отнюдь не случайность.

Вся картина — общей вид домов, улиц и толпы, проходившей внизу, — резко изменилась: все спуталось, перемешалось в этой борьбе света с тьмой. Отовсюду выскакивали чудовищные тени; они подпрыгивали вверх, расширялись, росли с неимоверной быстротой, на миг отступали, затем вновь устремлялись вперед еще более грозно. Пение и размеренный топот тысяч марширующих ног прекратились. Слышались только поспешные шаги групп, бегущих в разных направлениях, да крики: "Гасят огни! Гасят огни!" Грехэм взглянул вниз. При судорожно

пляшущем в предсмертной агонии свете огней он увидел, что все широкое пространство улицы превратилось в арену жестокой борьбы. Огромные белые шары света помутнели, затянулись красноватой дымкой; они мигали быстрее и быстрее, как будто не решаясь ни разгореться, ни погаснуть, потом перестали мигать и превратились в красные угольки, чуть тлеющие среди надвинувшейся тьмы. В десять секунд все погасло, и не осталось ничего, кроме торжествующего мрака, который, как черный дракон, поглотил все эти мириады людей.

Грехэм почувствовал, что его схватили за руки. Кто-то наступил ему на ногу. Чей-то голос прокричал ему в ухо:

— Не бойтесь, мы с вами.

Грехэм стряхнул с себя оцепенение, овладевшее им в первую минуту, быстро повернулся и, стукнувшись лбом о голову Линкольна, прокричал в свою очередь:

— Что значит эта темнота?

— Совет распорядился перерезать провода, которые служат для освещения города. Придется подождать, пока... народ заставит их...

Его голос потерялся, заглушённый ревом толпы. Раздавались голоса: "Спасайте Спящего! Берегите Спящего!" Один из телохранителей Грехэма наткнулся на него в темноте и больно ушиб ему руку.

Вокруг него, как вихрь, носился дикий гам, все разрастаясь, становясь все громче, все яростнее. До него долетели отдельные слова, обрывки фраз, но прежде чем он успевал их осмыслить, они тонули в море других оглушительных звуков. Голоса перекликались, отдавая противоречивые приказания. Где-то очень близко раздались пронзительные крики.

Кто-то крикнул над его ухом: "Красная полиция!"

Вдали послышался треск, и вслед за тем вдоль улицы по краям запрыгали слабые искры. При этом мимолетном свете Грехэм различил головы и фигуры вооруженных людей, резко выступавшие при каждой вспышке искры и тотчас же снова исчезавшие в темноте. Треск все усиливался приближаясь; искры вспыхивали по всей улице, то там, то здесь, чаще и чаще.

Вдруг темнота расступилась, точно отдернули черную завесу. Сноп ярких лучей света почти ослепил его на мгновение. Он заглянул вниз и в ужасе отшатнулся: там кипела отчаянная борьба. По улице понеслись угрожающие крики. Он взглянул вверх, чтоб узнать, откуда идет этот ослепительный свет. Высоко над его головой висел на кабеле человек, держа в руке сверкающую звезду, свет которой разгонял темноту. На этом человеке был красный мундир.

Взгляд Грехэма снова скользнул вниз. Ему бросилась в глаза кучка людей, выделявшаяся красным пятном неподалеку от галереи. Вскоре он убедился, что это были солдаты красной полиции. Толпа оттеснила их на одну из крайних верхних платформ, и теперь они стояли, прижавшись спинами к выступу какого-то здания и защищались, как могли. Оружие сверкало, зеленые жезлы взвивались вверх и опускались, поражая противника струйками сероватого дыма. Люди падали, и на их месте тотчас же вырастали другие.

Вдруг свет звезды погас, кромешная тьма поглотила эту сцену кровавой борьбы.

Грехэм почувствовал, что его толкают назад, вдоль галереи. Возле него прокричали какую-то фразу, но он был слишком ошеломлен, чтобы вслушиваться.

Его прижали к стене, и он слышал, как мимо него бежали люди. Ему показалось, что между его телохранителями завязалась борьба.

Вдруг снова вспыхнула звезда, и все опять залилось ослепительным белым светом. Грехэм увидел, что отряд красной полиции увеличился и подвинулся ближе, передние ряды спустились уже почти до середины улицы.

На нижних галереях противоположных зданий тоже появилось много красных солдат. Они стреляли через головы товарищей в самую гущу толпы, нападавшей на них. Тут только понял Грехэм, что все это значило: народ в самом начале своего выступления попал в засаду. Все, естественно, пришли в замешательство, когда погасли огни, и красная полиция воспользовалась этим для нападения. Вдруг он заметил, что его оставили одного: его караул и Линкольн были далеко в том конце галереи, откуда его привели. Они отчаянно махали руками и бежали к нему. В эту минуту по улице пронесся дикий крик. Весь фасад противоположного здания покрылся красными мундирами полицейских солдат. Все они показывали пальцами в его сторону, что-то крича. И в то же время народ внизу кричал в ужасе: "Спящий, Спящий! Спасайте Спящего!"

Что-то ударилось в стену над его головой. Он поднял глаза и увидел на стене звездообразный серебристый отпечаток расплющившейся пули. Кто-то схватил его за руку. Он обернулся. Подле него стоял Линкольн. Хлоп! — опять удар в стену…. В него стреляли два раза и оба раза промахнулись, — он только теперь об этом догадался. Он взглянул в сторону улицы — все опять скрылось; вторая звезда погасла.

Крепко держа его за руку, Линкольн потащил его за собой.

— Скорей, скорей, пока темно, — кричал он.

Энергия Линкольна заразила Грехэма. Как ни велико было его оцепенение, но инстинкт самосохранения оказался сильнее. Им овладел животный страх смерти. Он бежал без оглядки, спотыкаясь в темноте, наткнулся на своих телохранителей, ожидавших его, и побежал дальше вместе с ними. Единственною его мыслью было: "Скорее! Скорее! Подальше от этой страшной галереи, где он служит мишенью".

Почти сразу же после второй звезды загорелась третья. Вместе с появлением света раздался торжествующий крик по ту сторону улицы и другой, ответный внизу. Вся середина улицы, как он успел заметить, была уже занята красными солдатами. Их лица были обращены к нему. Они тоже кричали.

Во всем этом было что-то фантастическое, непостижимое, и все это касалось его, Грехэма, вращалось вокруг него, как вокруг центра. Ведь эти красные солдаты — гвардия Совета, задавшегося целью снова захватить его.

Грехэм не знал, что направленные в него выстрелы были первыми за последние полтораста лет и что только благодаря этому он остался цел. Он слышал, как пули шлепались о стены, один раз ему обожгло ухо брызгами расплавленного металла. Он видел, не глядя, что весь отряд красной полиции, засевшей в противоположном здании, целится только в него. Один человек из его караула, бежавший впереди, упал. Грехэм уже не мог остановиться. Он перескочил через извивавшееся в предсмертных муках тело.

В следующий момент он очутился в каком-то совершенно темном проходе и с разбегу налетел на кого-то, бежавшего, очевидно, навстречу. Потом почти скатился с лестницы в наступившей темноте, еще раз наткнулся на кого-то, ударился руками в стену и только благодаря этому устоял на ногах. Тут на него навалилась толпа бежавших следом за ним. Общим течением его отнесло куда-то вправо. Его прижали к стене и так сдавили, что чуть не переломали ему ребра. Был момент, когда он думал, что сейчас задохнется. Но толпа,

захватившая его в своем стремительном беге, понесла его дальше. Его жали со всех сторон, минутами ноги его не касались пола. Он тоже толкался, стараясь выбраться из давки, но безуспешно. Он слышал испуганные крики: "Они идут! Они идут!" Где-то совсем близко раздался подавленный стон, и вслед за тем он почувствовал под ногами что-то мягкое, живое... Кругом раздавался треск выстрелов. Кричали: "Спящий! Где Спящий?" Но он был так ошеломлен всем происходящим, что не мог заставить себя заговорить. Он потерял свою личную волю, превратился на время в слепую бессознательную частицу охваченного паникою целого. Вместе с другими он пробирался вперед, сопротивляясь натиску задних рядов, насколько у него было сил. Споткнувшись о какую-то ступеньку, он чуть не упал и вслед за тем почувствовал, что он подымается вверх по какому-то крутому уклону. Вдруг лица окружавших его людей вынырнули из темноты, испуганные, растерянные, мертвенно-бледные под яркими лучами ослепительно-белого света. Совсем близко от себя, через два-три человека, он увидел молодое лицо — лицо юноши, которое даже не особенно поразило его в тот момент, но потом долго вспоминалось ему. Этот юноша, казалось, шел вместе с другими, но его несло напором толпы: перед тем он получил смертельную рану и теперь был уже мертв.

Очевидно, загорелась четвертая звезда. Ее ослепительный свет широкими потоками вливался через огромные окна и арки какого-то гигантского здания, в котором очутился Грехэм. Теперь он видел, что его окружает плотная масса черных фигур и что он вместе со всеми идет по партеру того самого театра, откуда он так торжественно вышел несколько часов тому назад. Но теперь полосы яркого света снаружи перемежались с резкими тенями, падавшими от простенков, и это придавало всей картине что-то зловещее, призрачное. Неподалеку от Грехэма красная полиция прокладывала себе путь сквозь толпу. Он не знал, заметили ли его красные. Он стал искать глазами Линкольна и скоро увидел его возле сцены, окруженного плотной черной кучкой революционеров. Он тоже озирался во все стороны, как будто отыскивая его, Грехэма. Их разделяла вся масса толпы.

Позади Грехэма, за низким барьером, подымались места амфитеатра в ту минуту пустые. У него вдруг блеснула новая мысль. Он стал протискиваться к барьеру. В тот момент, когда он, наконец, добрался до него, свет погас. Пользуясь этим, он сбросил с себя черный плащ, который не только стеснял его движения, но и делал его слишком заметным, потом перелез через барьер и пустился наугад в темноту, пробираясь между креслами амфитеатра. С наступлением темноты выстрелы прекратились и крики затихли. Вдруг он споткнулся о ступеньку, которой не ожидал, и упал. В эту минуту все снова осветилось ярким светом. Лучи пятой звезды лились в широкие окна театра. Снова затрещали выстрелы, снова поднялась буря криков.

Грехэм хотел встать, но его опять сшибли с ног. Он увидел возле себя небольшую кучку черных: прячась за креслами, они стреляли в красную полицию, расположившуюся внизу. Шальные пули попадали в стены, в мягкую обивку кресел, оставляя блестящие выемки на их металлических ручках. Грехэм инстинктивно присел за спинку кресла. Так же инстинктивно запомнил он расположение выходов и наметил ближайший из них, с тем, чтобы пробраться в него, как только наступит темнота.

Перепрыгивая через ряды кресел, в его сторону бежал с зеленым жезлом в руке молодой человек в светло-голубом.

— Эй, посторонись! — закричал он, чуть не задев его ногой по голове и соскакивая на пол возле него. Потом посмотрел на него во все глаза, очевидно не узнавая, повернулся назад, выстрелил и, крикнув "к черту Совет!", приготовился снова стрелять. В этот момент Грехэму показалось, что у молодого человека вдруг исчезла половина шеи, и на своей щеке он почувствовал теплую струю. Зеленый жезл остановился на полдороге, не успев выпустить заряда. Человек в голубом на секунду застыл в той позе, как стоял, потом начал тихо склоняться вперед. Лицо его потеряло выражение, ноги подвернулись, и он упал. И в тот же миг погасла пятая звезда, и все погрузилось во мрак. В смертельном ужасе Грехэм вскочил, бросился к проходу, споткнулся обо что-то в темноте,

упал, снова вскочил на ноги и побежал дальше. Когда загорелась шестая звезда, он был уже под сводами коридора. Теперь он мог еще прибавить ходу. Он пробежал весь коридор, и в ту минуту, когда он поворачивал за угол, свет снова погас. Кто-то налетел на него. Его сшибли с ног, чуть не раздавили. Не без усилий ему удалось подняться, и он очутился в невидимой толпе таких же беглецов, как и он, мчавшихся в одном направлении. Их всех поглощала одна и та же мысль — бежать подальше от этого страшного места, где лилась кровь. Его толкали, толкал и он; несколько раз он терял почву из-под ног, сжатый со всех сторон как тисками; но, как только путь становился свободен, снова пускался бежать.

Несколько минут он бежал в темноте извилистым коридором, который вывел его на открытое место. Тут он увидел широкую лестницу и вместе с другими спустился по ней на большую площадь. Здесь тоже толпился народ. Кричали: "Они идут! Идут красные! Стреляют! Бегите! Скорее на Седьмую улицу! Там безопаснее!" В толпе были и женщины и дети. Все протискивались к узким сводчатым воротам, смутно видневшимся в конце площади. Грехэм в числе прочих прошел в эти ворота и очутился на другой площади, еще больших размеров. Откуда-то сверху сюда проникал тусклый свет. Окружавшие его черные фигуры рассыпались вправо и влево и, насколько можно было рассмотреть при этом тусклом свете, побежали вверх по низким широким ступеням. Он наудачу последовал за теми, которые повернули направо. Поднявшись на верхнюю ступеньку и почувствовав себя на просторе, он остановился. Перед ним тянулись ряды скамеек и возвышался небольшой киоск. Он спрятался в тени его широкой крыши и стал осматриваться, тяжело переводя дух. Теперь только он догадался, где он: широкие ступени, по которым он только что поднялся, были платформы движущихся улиц, стоявшие на месте. Они подымались террасами в обе стороны. За ними огромными призраками вставали гигантские здания с чуть заметными надписями покрывавших их реклам, а над ними, сквозь переплеты висячих мостов и сети кабелей, тянулась полоса бледного неба. Мимо него пробежало несколько

человек. Судя по их воинственным возгласам, они спешили присоединиться к сражающимся.

С дальнего конца улицы доносился треск выстрелов. Там, очевидно, сражались. Но это была не та улица, на которую выходил театр и где он сам чуть не был убит в общей свалке. Оттуда уже не могло быть слышно выстрелов: это было слишком далеко.

Дрались из-за него — смешно подумать! Эта мысль поразила его: он был как человек, который с увлечением читал интересную книгу и вдруг начал анализировать то, что раньше воспринимал непосредственным чувством. До сих пор он почти не замечал деталей: слишком уж сильно было общее впечатление. Странно: перед ним ярко вставали побег из тюрьмы, огромная толпа в театре, нападение красной полиции на народ; но ему стоило больших усилий восстановить в памяти момент своего пробуждения, однообразные часы, проведенные им в заточении, и то, о чем он думал тогда. Мысли его как-то сами собой перескакивали через этот промежуток времени и переносили его в далекое прошлое, к мрачным красотам корнуэлского берега и к той скале у Пентарджена, под которой он сидел два века тому назад. Контраст между прошлым и настоящим был так резок, что не верилось в реальность всего окружающего. Только теперь эта пропасть понемногу заполнялась, и он начинал уяснять себе свое положение.

Теперь оно больше не было для него загадкой, как в дни его одиночного заключения. Разгадка уже намечалась в общих чертах. Каким-то непонятным образом он оказался владетелем половины мира, и крупные политические партии боролись из-за него. На одной стороне был Белый Совет с его красной полицией, твердо решившийся присвоить его права, а может быть, и лишить его жизни; на другой — освободивший его революционный народ со своим невидимым вождем Острогом. Весь гигантский город содрогается от агонии этой междоусобной борьбы. Так вот к чему пришел мир, его мир!

— Не понимаю, ничего не понимаю! — вырвалось у него.

Ему посчастливилось ускользнуть от обеих враждующих партий. Здесь, под прикрытием темноты, он свободен пока. Ну, а дальше что? Что будет с ним дальше и что происходит теперь там? Он живо представил себе, как рыщут красные, разыскивая его и обращая в бегство революционеров в черном.

Так или иначе благодаря счастливой случайности у него есть время передохнуть. В этом укромном уголке его никто не заметит, и он может без помехи наблюдать. Его взгляд машинально скользил по смутным очертаниям гигантских зданий, и он с невольным изумлением спрашивал себя: неужели и над этой громадой хитроумных сооружений восходит солнце и сияет природа все тем же знакомым милым светом дня?

Мало-помалу он отдохнул и пришел в себя. Его платье высохло. Он решился выйти из своей засады и отправился бродить. Много миль прошел он по полутемным улицам, ни с кем не заговаривая и не привлекая ничьего внимания на себя, — такая же незаметная темная фигура, как и все другие, попадавшиеся ему на пути. Никому и в голову не приходило, что это тот самый человек из далекого прошлого, который стал предметом всех вожделений, нечаянно оказавшись собственником половины мира. Всякий раз, как он попадал на освещенное место или слышал впереди оживленные голоса собравшейся толпы, он поскорее сворачивал в сторону, в какой-нибудь глухой переулок, боясь, чтобы его не узнали. И хоть он ни разу больше не натолкнулся на сражающихся, в воздухе тем не менее чувствовалась война. Один раз ему пришлось спрятаться, чтобы не попасться на глаза быстро проходившему по улице отряду, который по пути все увеличивался новыми добровольцами. Тут были не только мужчины, но и женщины, и все были вооружены. Борьба сосредоточивалась, по-видимому, в той части города, которую он оставил за собой. Минутами до него долетал издали треск выстрелов и крики, показывавшие, что там еще дерутся. В нем боролись любопытство и страх. Страх одержал верх, и, насколько он мог ориентироваться, он продолжал удаляться от места сражения. Ни в ком не возбуждая подозрений, он спокойно шел в

полутьме и вскоре перестал слышать даже отголоски битвы. Навстречу ему попадалось все меньше и меньше народу. Чем дальше он шел, тем проще становилась архитектура зданий, наконец потянулись постройки, не похожие на жилые дома: очевидно, он попал на окраину, где были товарные склады. Теперь на улице, кроме него, не было ни души. Он замедлил шаги.

Усталость давала себя чувствовать. Иногда он сворачивал в сторону и присаживался на какую-нибудь из многочисленных скамеек верхних платформ, но от сознания своей причастности к происходящей борьбе на него всякий раз нападало такое лихорадочное беспокойство, что он не мог долго усидеть на месте.

Вдруг его отбросило в сторону. Раздался оглушительный грохот; по улице пронесся порыв холодного ветра. Кругом зазвенели стекла. Посыпались кирпичи, как от землетрясения. Не дальше как в ста ярдах от него обрушился железный переплет стеклянной крыши. Где-то вдали слышались крики и топот бегущих ног. Он заметался в паническом ужасе, бросаясь вперед, назад, сам не зная зачем.

Навстречу ему бежал человек.

— Ведь это взрыв! Что они взорвали? — спросил он на бегу, поравнявшись с Грэхемом, и, прежде чем тот успел заговорить, пробежал дальше.

Кругом поднимались огромные здания, окутанные таинственным полумраком, хотя светлая полоса неба над ними показывала, что наступал уже рассвет. Не странно ли, что все или почти все эти дома-великаны принадлежат ему? Ему снова живо представилась необычайность всего случившегося с ним. Он сделал такой невероятный скачок во времени, какой позволяют себе только романисты. Он помнил, как трудно было ему поверить в реальность этой сказки, но, наконец, факт был признан, и он решился примениться к действительности и

стать в положение постороннего зрителя, ожидающего увидеть интересное представление. И вдруг вместо этого ему грозит опасность — неопределенная, но тем более пугающая. Со всех сторон его обступают враждебные тени. Где-то в темном лабиринте этого города его подстерегает смерть. Неужели же его убьют, прежде чем он успеет увидеть новый мир? Как знать, быть может, его ждет гибель за ближайшим углом? В нем заговорило страстное желание жить, жить, чтобы увидеть, узнать.

Он начал бояться углов. Ходить опасно: лучше уж спрятаться куда-нибудь. Но куда? Как сделать, чтобы его не заметили, когда улицу опять осветят? Он сел на скамейку в тени киоска на одной из верхних платформ и в полной уверенности, что здесь он один, закрыл свои усталые глаза.

А что, если когда он их снова откроет, он увидит, что все исчезло, что нет больше ни этого чернеющего внизу русла параллельных платформ, ни этого нестерпимого ряда гигантских зданий напротив? Что, если все события этих последних дней — его пробуждение, эта кричащая толпа, эта битва впотьмах — не что иное, как фантасмагория, сон, но только необыкновенно живой. Да, это, наверное, сон, слишком уж все непоследовательно, бессмысленно, — так не бывает наяву. Ведь если он действительно проспал двести лет, то человечество должно было поумнеть за это время. Каким же образом оно может смотреть на него, Грехэма, как на своего властелина?

Все это он передумывал, сидя с закрытыми глазами. Почти надеясь, вопреки всему, увидеть какую-нибудь знакомую картину из жизни девятнадцатого столетия — деревушку Боскаль, быть может, утесы Пентарджена или спальню своего дома, — он открыл глаза. Но факты не считаются с нашими надеждами. Мимо него вдоль улицы шел, маршируя в ногу, отряд вооруженных людей с черным знаменем, а перед ним тянулась все та же бесконечная высокая стена зданий с чуть светящимися на них в полумраке непонятными надписями.

— Нет, это не сон… не сон! — прошептал он и безнадежно уронил голову на руки.

Глава XI

СТАРИК, КОТОРЫЙ ВСЕ ЗНАЕТ

Он вздрогнул, неожиданно услышав чей-то кашель, и, быстро обернувшись, увидел в двух шагах от себя тщедушную фигурку, сидевшую скорчившись за спинкой одной из скамеек.

— Какие новости? — послышался дребезжащий старческий голос.

— Никаких, — не сразу ответил Грехэм.

— Вот сижу здесь, дожидаюсь, пока зажгут свет, — сказал старик. — Куда ни сунься, везде наткнешься на этих головорезов голубых.

Грехэм ответил неопределенным мычанием. В темноте он не мог разглядеть лица своего собеседника. Ему очень хотелось поговорить, но он не знал, как начать.

— Чертовски темно, — снова заговорил старик. — Пришлось выйти на улицу, а тут что ни шаг, то опасность.

— Да, скверное положение, — пробормотал Грехэм.

— Главное, проклятая темнота. Плохо в темноте старым людям. Все точно взбесились. Стреляют, дерутся. Полицию расколотили, повсюду хозяйничают разбойники. Не понимаю, отчего не вытребуют негров, они бы защитили нас… Не хочу я больше бродить один в темноте. Сейчас я наткнулся на труп и упал…. В компании все-таки веселее… конечно, в хорошей компании. — Он поднялся на ноги, подошел к Грехэму и стал

всматриваться в его лицо. Осмотр, очевидно, удовлетворил его. Он опустился на скамейку с заметным облегчением и продолжал: — Да, времена, нечего сказать! Резня; везде валяются трупы; здоровые, сильные люди пропадают ни за грош. У меня три сына. Где-то они в эту минуту? Бог знает!

Старик замолчал, потом повторил дрожащим голосом:

— Где-то они?

Грехэм молчал, придумывая, в какой бы форме предложить вопрос, чтобы не выдать своего незнания современной жизни. Старик снова прервал паузу.

— Острог победит. Победит! — сказал он. — А какой толк из этого выйдет, это уж трудно сказать. Мои сыновья служат при ветряных двигателях, все трое. Моя невестка была его любовницей — самого Острога! Мы не какие-нибудь! А вот мне, старику, все-таки пришлось скитаться ночью без приюта…. Я знал, что к этому придет. Давно знал, раньше многих. Не думал я, что доживу до таких ужасных времен.

Было слышно, как у него хрипело в груди.

— Вы говорите, Острог… — начал было Грехэм.

— О! Это голова!

— У Совета, кажется, мало друзей среди народа, — заметил Грехэм, не зная, что сказать…

— Очень мало, да и те ненадежные. Белый Совет отжил свое время. Его два раза выбирали. А Острога…. Ну, а теперь прорвалось, и уж ничто не поможет. Два раза Острог провалился на выборах. Надо было видеть, как он бесновался! Он был страшен. Теперь разве только бог

поможет белым, а то их дело пропало. Острог поднял на них рабочие союзы. Никто другой не посмел бы. Вся эта голубая сволочь вооружена и идет напролом. А тот не остановится: он уж доведет до конца!

Старик помолчал.

— А Спящий… — заговорил он опять и остановился.

— Ну? — сказал Грехэм.

Дребезжащий голос понизился до конфиденциального шепота. Чуть белевшее в темноте старческое лицо придвинулось к лицу Грехэма.

— Настоящий Спящий давным-давно умер!

— Что?!

— Да, умер дюжины лет тому назад.

— Ну что вы! Быть не может!

— Верно говорю: умер. А тот Спящий, который проснулся теперь — подставной, какой-то жалкий нищий, полуидиот, которого они опоили… Мало ли что я знаю, только лучше помолчу.

Старик стал бормотать что-то бессвязное. Он знал, очевидно, так много, что не мог удержать всего при себе.

— Я не знаю, кто подсунул ему сонного зелья, — меня в то время еще на свете не было, — но зато я знаю, кто ему впрыскивал возбуждающее, чтобы разбудить его. Разбудить или убить — середины быть не могло. Решительная мера, совершенно в духе Острога.

Грехэм был так поражен, что несколько раз прерывал и переспрашивал старика, пока, наконец, вполне уяснил себе весь дикий смысл его слов. Так, стало быть, его пробуждение не было естественным! Или, может быть, все это просто стариковские бредни? Неужели же в них есть хоть доля правды? Он напряженно рылся в тайниках своей памяти и припомнил кое-что из тогдашних своих впечатлений, что можно было объяснить именно таким образом. "Хорошо, что я встретил этого старика; может быть, от него я узнаю что-нибудь о новых людях", — подумалось ему.

Старик закашлялся, сплюнул, и опять задребезжал его слабый старческий голос:

— В первый раз его провалили. Я хорошо это помню.

— Провалили? Кого? Спящего?

— Да нет, нет, Острога. Как он тогда обозлился! Он рвал и метал! Его тогда умаслили кое-как, пообещали, что в следующий раз он будет выбран наверное, — и успокоились, перестали бояться его. Вот дураки-то! А теперь весь город в его руках; он измелет всех нас в порошок. И раньше, конечно, не все было тихо у голубых; случалось, что рабочий зарежет какого-нибудь китайца или надсмотрщика, но хоть нас-то, по крайней мере, не трогали. Ну, а как принялся работать Острог, пошла сплошная резня! На улицах — трупы, в домах — грабеж, везде — темнота! Никто не запомнит таких дел за целый гросс лет. Да, по пословице: от распри великих страдают малые.

— Как вы сказали: никто не запомнит… чего?

— А? — переспросил старик и, проворчав что-то такое насчет того, как скучно, когда глотают слова, заставил Грехэма повторить вопрос.

— Никто не запомнит такой смуты, вот что хотел я сказать. Слыханное ли дело: ходят с ножами, с ружьями, убивают друг друга, орут "свобода! свобода!" и тому подобную чепуху… Ничего похожего я не видал за всю свою жизнь. Совсем как в старые времена — три гросса лет тому назад, — когда взбунтовалась парижская чернь. Ну, да это должно было повториться: так все идет на свете. Кому и знать, как не мне. Вот уже пять лет, как Острог делает свое дело, и все эти пять лет мы не выходим из смуты: голод, мятежные речи, угрозы, резня. Голубые бунтуют. Никто не спокоен за свою жизнь. Все разваливается. Совету приходит конец, — вот до чего дожили!

— Вы, я вижу, действительно, много знаете, — сказал Грехэм.

— Люди говорят, а я слушаю. Я не зря болтаю.

— Так вы наверное знаете, что это Острог поднял восстание и подстроил так, что Спящий проснулся? И сделал это, чтобы захватить власть и отомстить за то, что его не выбрали в Совет?

— Ну, разумеется, всякий дурак это знает, — ответил старик. — Он решил так или иначе стать первым лицом. В Совете или не в Совете — все равно. Кто ж этого не знает! И вот теперь можем радоваться! Междоусобица, убийства, трупы! Да, господи, уж не с луны ли вы свалились? Неужели вы ничего не слыхали о ссоре Острога с Вернеями? А как вы думаете, из-за чего все эти волнения? Из-за Спящего? А? Неужто вы верите, что этот Спящий — настоящий Спящий и проснулся сам, без чужой помощи?

— Я, видите ли, человек нелюдимый, притом я старше, чем кажется, и память у меня плохая, — сказал Грехэм. — Многое из того, что случилось за последние годы, как-то ускользнуло от меня. Будь я сам Спящий, я и тогда, сказать вам по правде, знал бы не меньше.

— Ну, будто вы так уж стары? Вы совсем не выглядите стариком. Правда, впрочем, не у всякого сохраняется память до глубокой старости, как у меня. Но такие вещи, какие творятся теперь, трудно забыть. А все-таки который вам год? Ведь вы, наверное, много моложе меня? Впрочем, нельзя судить по себе. Я молод для такого старика, как я, а вы, может быть, стары для своих лет.

— Вот именно, — сказал Грехэм. — Моя жизнь, надо заметить, сложилась не совсем обыкновенно. Я очень мало знаю. А истории и вовсе не знаю, можно сказать. Ваш Спящий или Юлий Цезарь — для меня все одно: их имена одинаково мало мне говорят. Может быть, вы еще что-нибудь расскажете, мне интересно послушать.

— Да, я-таки знаю кое-что, — прошамкал старик. — Но что это? Слышите?..

Оба притихли. Что-то загрохотало. Платформа под ними затряслась. Они увидели, что все прохожие останавливаются и что-то кричат друг другу. Старик заволновался и стал, в свою очередь, окликать проходивших мимо, засыпая их вопросами. Ободренный его примером, Грехэм встал и подошел к столпившимся на улице людям. Никто не знал, что случилось.

Он вернулся назад. Старик сидел на прежнем месте, бормоча себе под нос.

У Грехэма пропала охота разговаривать. Его угнетал загадочный смысл гигантской борьбы, так близко его касавшейся и столь чуждой ему. Кто прав, этот старик или революционеры? И правду ли он говорит, что победа будет за ними? Каждую минуту пожар мятежа мог охватить и эту глухую часть города; тогда его непременно узнают, и ему придется действовать так или иначе. Необходимо выведать все, что можно, от этого старика, пока есть еще время.

Он сделал было движение, собираясь заговорить, но старик предупредил его.

— Да, дела! — забормотал он. — Вот хоть бы взять этого Спящего, в которого так верят наши дураки. Я хорошо знаю эту историю. Да мало ли я их знаю! Ведь когда я был мальчишкой, я еще печатные книги читал — вот, сколько я живу на свете! Трудно поверить, не правда ли? Вы, я думаю, никогда не видели печатной книги? Но все-таки они имели и свои преимущества. По ним можно было многому научиться. А эта новая выдумка, — говорильные машины, — бог с ней совсем. Слушать-то ее — никакого труда: но что легко дается, легко и забывается…. Ну, а историю Спящего я знаю, как свои пять пальцев, с начала до конца.

— Вы не поверите, — заговорил Грехэм нерешительно, — я такой невежда во всем… я всегда был так поглощен моими личными делами, и жизнь моя сложилась так странно, что я ровно ничего не знаю о Спящем. Кто он был такой?

— Кто он был? Я-то знаю! — сказал старик. — Он был неважная птица, так себе человек, как и все. И влюбился он, бедняга, в ветреную женщину, которая обманула его. От горя с ним сделался столбняк, а потом спячка. Постойте, как это называлось в те времена? Фотография? Такая машина, которая снимала людей? Так вот, сохранились бумажки, на которых он изображен спящим еще полтора гросса лет тому назад. Полтора гросса.

— Влюбился в дурную женщину, которая обманула его, — прошептал задумчиво Грехэм. — Ну, что же дальше? Продолжайте.

— Ну-с, был у него двоюродный брат по фамилии Уорминг, человек одинокий, бездетный. Он составил огромное состояние, спекулируя на акциях только что изобретенных в то время идамитных дорог. Вы, верно, слышали об этом. Нет? Неужели! Он скупил все акции и стал хозяином предприятия. В те времена были еще мелкие частные

предприятия — тысячи всевозможных акционерных обществ. Не прошло и двух дюжин лет, как его дороги убили старые железные дороги. Он не хотел ни принимать пайщиков в свое дело, ни дробить свое состояние и придумал целиком завещать его Спящему. Он сам назначил Совет опекунов, сам написал устав для него. Он знал ведь, что Спящий никогда не проснется, а будет спать, пока не умрет. Он отлично знал. И вдруг — представьте такой случай — умирает в Америке один богач. У него, надо вам сказать, были два сына, и оба утонули, — и тоже завещает Спящему весь свой капитал. Таким образом, в руках Совета опекунов с самого начала оказалось около дюжины мириад львов.

— А как его звали?

— Грехэм.

— Нет, я спрашиваю, как звали того американца.

— Избистер.

— Избистер? Никогда не слыхал этого имени!

— Конечно, не слыхали, — сказал старик. — Не многому научишься в нынешних школах. Наша молодежь ничего не знает. Ну, а я знаю. Этот американец был выходец из Англии. Он оставил Спящему еще больше, чем Уорминг. Как он разбогател, я не знаю. Он изобрел какой-то особый машинный способ писания картин или что-то в этом роде. Но суть в том, что и его огромное состояние попало в Совет опекунов Спящего. Отсюда-то и произошел теперешний Белый Совет.

— Как же он достиг такой власти?

— Э, да вы совсем невинный младенец! Ведь деньги к деньгам льнут, разве вы не знаете? Это одно. А другое: ум — хорошо, а два — лучше. И они ловко сыграли игру, можно сказать. Они вершили

политические дела своими деньгами, а так как биржевые курсы и тарифы зависели от них, то капитал продолжал все расти. Долгие годы двенадцать опекунов скрывали его рост от народа. Совет подчинял себе вся и всех, то ссужая деньгами под проценты, то входя крупным пайщиком во всевозможные предприятия. Он подкупал политические партии, закупил все газеты. Если бы вы знали историю последнего гросса лет, вы бы не спрашивали, как и почему росла власть Совета. А теперь имущество Спящего исчисляется биллионами биллионов львов. И смешно сказать, все это произошло, из-за каприза, какого-то Уорминга, которому пришла фантазия оставить такое странное завещание, и из-за несчастного случая с сыновьями другого чудака Избистера… Да, странные бывают люди, — сказал старик, помолчав. — Но для меня всего страннее то, как могли члены Совета действовать так дружно столько лет! Целых двенадцать человек! А все-таки проиграли игру! Я помню, в дни моей молодости о Совете говорили как о божественной власти. Никто и подумать не смел, что Совет может грешить. Никто и не подозревал, что эти боги развратничают не хуже обыкновенных смертных. И я их почитал за богов. Ну, а теперь стал умнее. Да, поумнел на старости лет. Ведь мне восьмая дюжина пошла. А я вот учу уму-разуму вас, молодого. Восьмая дюжина, а я еще вижу и слышу. Слышу, положим, лучше, чем вижу. И голова еще свежа. За всем слежу, все понимаю…. Да, немало я перевидал в своей жизни. Мне было лет тридцать, когда Острог появился на свете. Я помню его молодым человеком задолго до того, как он стал во главе Управления ветряных двигателей. Много перемен случилось на моих глазах. Я и голубую блузу носил, и кем только я ни был! И вот под старость дожил до этого разгрома. Проклятая темнота! На улицах кучами валяются трупы. Война между своими. И все это дело его рук!

Речь старика перешла в бессвязное бормотание. Грехэм молчал, обдумывая все то, что узнал от него.

— Позвольте, верно ли я вас понял, — сказал он, наконец, и стал считать по пальцам. — Спящий спал — это первое.

— Его подменили, — вставил старик.

— Допустим. А тем временем имущество Спящего все росло да росло в руках двенадцати членов Совета, пока не поглотило почти всю частную собственность на земле. Таким образом, Совет фактически завладел миром. И понятно: ведь он платящая сила, вроде той, какою был английский парламент прежних времен.

— Вот-вот, это вы верно сравнили, — подхватил старик, — Вы, я вижу, не так непонятливы…

— Теперь второе. Острог революционизировал весь мир тем, что разбудил Спящего, того самого Спящего, в пробуждение которого верили только самые невежественные люди. Разбудил его затем, чтобы он потребовал у Совета отчета в своих деньгах за все двести лет.

Старик многозначительно крякнул и сказал:

— Как странно видеть человека, который только сегодня в первый раз узнает обо всех этих вещах.

— Да, пожалуй, что и странно, — согласился Грехэм.

— Бывали вы когда-нибудь в "Веселых Городах"? — спросил старик. — Всю жизнь я мечтал, — он засмеялся. — Я и теперь бы еще мог позабавиться. Хоть поглядеть на других.

Он пробормотал что-то такое, чего уже совсем нельзя было разобрать.

— Скажите, когда проснулся Спящий? — спросил вдруг Грехэм.

— Три дня тому назад.

— Где же он теперь?

— У Острога. Совет посадил его под замок, но он убежал. Не больше четырех часов тому назад. Да где вы были все это время, что ничего не знаете? Он был в театре на Рыночной площади, где потом сражались. Да, он бежал. Весь город об этом кричал. Все говорильные машины. Даже дуракам, которые стоят за Совет, пришлось в это поверить. Все бежали смотреть на него, всякий запасался оружием. Что вы, пьяны были или спали? Да нет, вы просто шутите, прикидываетесь дурачком. Ведь затем они и электричество потушили, чтобы остановить говорильные машины и помешать народу собираться. Оттого-то мы и очутились в этой проклятой темноте. Неужели вы хотите сказать…

— Да, я знаю, что Спящего освободили, я слышал об этом, — сказал Грехэм. — Но позвольте: вы наверное знаете, что он у Острога?

— Наверное. И уж Острог его не выпустит, будьте покойны.

— А вы уверены, что этот Спящий — подставной?

— Дураки-то считают его настоящим. Мало ли во что верит народ. Ну, а Острогу не все ли равно, настоящий он или подставной. Ему лишь бы провести свою линию. Я хорошо его знаю. Я ведь, кажется, говорил вам, что он мне в некотором роде родня. Через мою невестку.

— Едва ли этому Спящему удастся вырваться из-под опеки, как вы думаете? Должно быть, он сделается простой марионеткой в руках Острога или Совета.

— Ну уж, конечно, в руках Острога. Да и чего ему надо? Какого еще положения? Все к его услугам, требуй, чего хочешь, развлекайся, как хочешь. Чем ему мешает эта опека?

— А что это за "Веселые Города", о которых вы говорили? — спросил вдруг Грехэм.

Ему пришлось повторить свой вопрос. Когда, наконец, старик убедился, что он не ослышался, он захихикал и, лукаво подтолкнув Грехэма локтем в бок, сказал:

— Нет, это уж чересчур. Вы смеетесь надо мной, стариком. Я давно уже начинаю догадываться, что вы только прикидываетесь простачком, а знаете побольше моего.

— Может быть, кое-что я и знаю, — сказал Грехэм, — но я не знаю, что такое "Веселые Города", уверяю вас.

Старик конфиденциально подмигнул, продолжая хихикать.

— Мало того, я даже не умею ни читать, ни считать по-вашему, не знаю ваших монет, не знаю, кают теперь на свете народы и страны, не знаю, где я. У меня нет приюта, и я не знаю, где добыть себе еду и питье.

— Ну, рассказывайте, — перебил старик. — А дать вам стаканчик вина, так небось не выльете его себе в ухо, а отправите прямо в рот.

— Даю вам слово, что я не шучу. Ничего этого я не знаю и буду очень благодарен, если вы меня просветите.

— Хе-хе! Известное дело, кто ходит в шелку, тот любит позабавиться, — и он провел сморщенной рукой по рукаву Грехэма. — Да, шелк. Ну все равно, не в этом дело…. А хотел бы я, признаться, очутиться на месте Спящего. Недурная жизнь его ждет. И удовольствие, и почет. Я ведь видел его. Когда к нему пускали всех без разбора, я, помню, тоже добыл себе билет и ходил посмотреть. Странное у него было лицо, желтое, как лимон. Как две капли воды

похож на настоящего, каким тот изображен на прежних фотографиях. Совершенный мертвец. Ну, ничего, откормится. Бывает же такая удача. Его, верно, на Капри пошлют поправляться.

Тут на него опять напал кашель, и несколько секунд он не мог говорить.

— Везет людям, везет… — завистливо забормотал он потом. — Всю жизнь просидел я в Лондоне на одном месте. Все ждал, все надеялся, не посчастливится ли и мне…

— А почему вы знаете, что настоящий Спящий умер? — прервал его Грехэм.

Старик заставил его повторить вопрос, прежде чем ответил.

— Люди не живут дольше десяти дюжин лет. Это против законов природы. Дураки могут верить сказке про Спящего, а я не верю. Я не дурак.

Грехэма, наконец, рассердила эта самоуверенность старика.

— Дурак вы или нет, — сказал он, — а только насчет Спящего вы ошиблись.

— Что?

— Вы ошиблись насчет Спящего, я говорю.

— Да вы-то как можете это знать? Вы только что сказали, что вы ровно ничего не знаете. Не знаете даже, что такое "Веселые Города".

Грехэм помолчал.

— Так знайте же: я — Спящий, — сказал он наконец.

Старик смотрел на него во все глаза не понимая. Грехэм должен был повторить свое заявление.

— Извините меня, сэр, это глупая шутка с вашей стороны, — сказал старик. — Такие слова могут дорого вам обойтись в это смутное время.

Грехэм немного смутился, но повторил свое заявление.

— Я вам сказал, что я — Спящий. Много-много лет тому назад я заснул в одной деревушке. Случилось это в те дни, когда еще были деревни с живыми изгородями, с постоялыми дворами, с мелкими участками пахотной земли. Разве вы никогда не слыхали о тех временах? И это я, я, который говорю с вами, проснулся четыре дня тому назад.

— Четыре дня тому назад! Спящий? Но Спящий у них. Они добрались до него и уж не выпустят теперь. Вздор. До сих пор вы говорили, как человек разумный, и вдруг… Линкольн его хорошо сторожит; я это наверное знаю. Можете быть уверены, что его не пустят разгуливать по улицам одного. Чудак вы, право; любите шутить. Теперь я понимаю, отчего вы так смешно коверкали слова! Так я и поверю, что Острог выпустил бы Спящего из своих рук! Конечно, не поверю, не на такого напали. Не понимаю, к чему вы ведете всю эту игру.

Грехэм встал.

— Я вам серьезно говорю: я — Спящий, — сказал он.

— Странный вы человек, — проговорил с негодованием старик. — Сидит один в темноте, ломает английский язык и сочиняет небылицы!

Грехэм, который уже готов был выйти из себя, после этих слов старика взглянул на свое положение глазами постороннего зрителя и разразился смехом.

— Фу, какая бессмыслица! Когда же кончится этот сон? Он становится все более диким. Чего я сижу тут, в этой проклятой темноте, каким-то живым анахронизмом и стараюсь убедить старого дурака в том, что я — я! Нет, довольно!

Он круто повернулся и зашагал прочь. Старик бросился за ним.

— Не уходите, — кричал он, — не уходите! Я старый дурак, ваша правда. Не уходите, не оставляйте меня одного в темноте!

Грехэм приостановился, не зная, что делать, но вдруг он сообразил, как неблагоразумно было с его стороны выдавать свою тайну.

— Я не хотел вас обидеть, — забормотал старик подходя. — Называйте себя Спящим, если вам так нравится, или кем хотите, — какая в этом беда?..

С минуту Грехэм колебался, потом, не говоря ни слова, повернулся и пошел своей дорогой.

Несколько времени он еще слышал за собой ковыляющие шаги старика и его постепенно удаляющиеся крики. Но, наконец, все затихло, и темнота поглотила его.

Глава XII

ОСТРОГ

Теперь Грехэм мог лучше разобраться в своем положении. После разговора со стариком ему стало ясно, что необходимо прежде всего разыскать Острога. На этом решении он и остановился. Во всяком случае, несомненно было одно: главари восстания очень ловко сумели скрыть исчезновение Спящего. Но каждую минуту он ожидал услышать известие о своей смерти или о том, что он, Спящий, снова попал в руки Совета.

Он еще долго бродил по полутемным улицам. На одном перекрестке он столкнулся с каким-то человеком.

— Слышали новость? — спросил тот останавливаясь.

— Нет. А что такое? — спросил, в свою очередь, встревоженный Грехэм.

— Около дозанды! Целая дозанда людей! — И человек побежал дальше.

Потом мимо него прошла кучка мужчин и между ними одна женщина. Все оживленно жестикулировали и громко разговаривали между собой.

— Сдались! Целая дозанда погибших!

— Не одна дозанда, а две!

— Ура Острогу!

Не успели затихнуть вдали эти возгласы, как появилась новая толпа прохожих, тоже что-то кричавших. Некоторое время все внимание Грехэма было поглощено доносившимися до него обрывками фраз. Он начинал сомневаться, по-английски ли говорили все эти люди, до такой степени они коверкали слова. Сам он не решался заговорить. Но

настроение всех попадавшихся ему навстречу людей вполне согласовалось с его собственным представлением о вероятном исходе борьбы и со слепой верой старика в великого Острога. Ему трудно было освоиться с мыслью, что эти люди празднуют победу над Советом — тем самым всемогущим Советом, который всего несколько часов тому назад так неотступно преследовал его, а теперь оказался слабейшей стороной в борьбе. И если это так, если власть белых чиновников действительно пала, то интересно знать, как это отразится на нем.

Он все присматривался к прохожим, выбирая, к кому бы обратиться с вопросом, и все не решался. Он долго шел следом за одним толстяком, наружность которого показалась ему более располагающей, но так и не мог собраться с духом и заговорить.

Наконец ему пришло в голову, что самое простое — обратиться в Управление ветряных двигателей, которым заведовал Острог. Оставалось только спросить первого встречного прохожего, где оно помещается. На первый вопрос он получил короткий ответ: "Возле Вестминстера". На второй ему ответили указанием кратчайшего пути, на котором он тотчас же заблудился. Потом ему посоветовали с большой широкой улицы, по которой он шел, свернуть куда-то в темный переулок, где он чуть не свалился с лестницы, спускавшейся вниз. Тут начались приключения другого характера, но тоже не из приятных. Он столкнулся в темноте с каким-то невидимым существом, которое принялось осипшим голосом изливать на него потоки брани на неизвестном языке; только по некоторым отдельным словам можно было догадаться, что все это говорилось по-английски. Затем из темноты донесся женский голос, напевавший веселенький мотив. Голос быстро приближался. Женщина наткнулась на Грехэма — не совсем неумышленно, как ему показалось. Она обняла его, должно быть, в виде извинения, засмеялась и принялась было болтать что-то такое о своей сестре, которую она ищет, но, получив довольно резкий отпор, оставила его в покое и снова скрылась в темноте.

Кругом становилось люднее. Пешеходы спотыкались впотьмах, натыкались друг на друга. Слышались восклицания, возбужденные голоса. Кричали: "Сдались! Совет сдался!", "Не может быть!", "Нет, правда, все говорят". Переулок сделался шире. Еще поворот, и Грехэм очутился на широкой площади, в глубине которой толпился народ. Он обратился к проходившей мимо него темной фигуре, спрашивая дорогу к Вестминстеру. "Все прямо через площадь", — ответил женский голос. Он двинулся по указанному направлению, но сейчас же наткнулся на какой-то столик, уставленный посудой. Глаза его теперь привыкли к темноте, и, хорошенько всмотревшись, он различил целых два ряда таких столиков, тянувшихся через всю площадь, оставляя посредине узкий проход. Он пошел вдоль этого прохода. Со стороны некоторых столиков доносился звон стаканов и стук ножей и вилок. Нашлись, стало быть, храбрые люди, которые могли спокойно есть, несмотря на грозные события дня и удручающую темноту.

Далеко впереди, откуда-то сверху падало полукруглое пятно света. Когда он подошел ближе, пятно исчезло, точно наверху задернули темную занавеску. Он опять чуть не скатился со ступенек, спускавшихся вниз, и очутился в узкой галерее с железными перилами по бокам. Вдруг в нескольких шагах впереди он услышал рыдания и, всмотревшись, увидел двух маленьких девочек. Они сидели на полу, скорчившись, крепко прижавшись к перилам, и плакали навзрыд. Но как только он подошел, они затихли, точно испуганные зверьки. Он пробовал спрашивать, уговаривать, но они упорно молчали. Пришлось оставить их в покое. Не успел он отойти, как снова услышал за собою плач.

Вскоре он очутился у подножия большой лестницы, на которую падал сверху слабый свет. Он поднялся наверх и оказался на площади движущихся улиц. Тут шумно сновала взад и вперед беспорядочная толпа. Кричали, пели революционные песни, и пели прескверно — кто в лес, кто по дрова. Кое-где горели факелы, отбрасывая фантастические дрожащие тени. Он стал было опять спрашивать дорогу к Вестминстеру, но два раза был поставлен в тупик ответами на том же

диком жаргоне. Наконец в третий раз ему посчастливилось получить удобопонятный ответ: оказалось, что до Вестминстера остается еще две мили и надо идти прямой дорогой.

Чем ближе подходил он к Вестминстеру, тем чаще попадались толпы поющих и кричащих людей, и, судя по всеобщему оживлению, по этим ликующим крикам, а главное, по тому, что город был теперь опять освещен, падение Совета можно было считать совершившимся фактом. Но странно: никто из встречных ни словом не обмолвился об исчезновении Спящего.

Освещение города восстановилось внезапно. В один миг по улицам разлился яркий свет, так что все идущие, и Грехэм в том числе, остановились, ослепленные. Свет застал его почти уже у цели пути: среди возбужденной толпы, которая запрудила всю улицу, ведущую к Управлению ветряных двигателей. И вместе с появлением света в нем поднялось беспокойное чувство от сознания, что теперь его могут узнать, и его смутное намерение разыскать Острога превратилось в определенное желание, нетерпеливое и тревожное.

Немного не доходя здания Управления он попал в такую давку, что уж и не чаял выбраться из нее: его совсем затолкали. Кругом в толпе раздавалось его имя. Осипшие от крика голоса орали: "Спящий! Спящий!" Многие были в повязках. Все эти люди проливали кровь за него, за его дело… Передний фасад огромного здания ярко светился: на нем медленно двигалась картина, освещенная изнутри. Но с того места, где стоял Грехэм, ничего нельзя было рассмотреть, а протискаться ближе ему, несмотря на все усилия, никак не удавалось. Из долетавших до него отрывочных фраз он понял, что картина воспроизводит последние моменты борьбы вокруг зала Атласа. Глядя перед собой на высокий фасад, в котором не было ни одного подъезда, и недоумевая, как он проберется внутрь здания, Грехэм медленно продирался вперед, пока по особенно густой толпе, теснившейся посреди улицы у люка подземной лестницы, не догадался, что это-то и есть вход в Управление. Но добраться до люка было не так-то легко. А когда,

наконец, это ему удалось, то оказалось, что вход охраняется стражей. Ему пришлось долго пререкаться, пока его пропустили. Когда, в виде последнего аргумента, он объявил было, что он Спящий, над ним принялись хохотать, как над сумасшедшим, и препроводили его во вторую караулку для опроса. На этот раз он был умнее и, умолчав о Спящем, сказал просто, что принес очень важное известие, которое может передать только самому Острогу с глазу на глаз. Один из солдат неохотно отправился с докладом. Грехам долго ждал в прихожей возле лифта. Но вот, наконец, отворилась дверь, и появился Линкольн, взволнованный, удивленный. Он приостановился на пороге, всмотрелся в таинственного посетителя и вдруг бросился к нему с радостным возгласом:

— Как! Это вы?! Вы живы!

Грехэм рассказал свои похождения в кратких словах.

— Брат здесь, в Управлении. Он вас ждет, — сказал Линкольн. — Мы боялись, что вас убили в театре. Мы до поры до времени решили скрывать ваше исчезновение. Положение наших дел далеко не завидное, надо вам сказать, хоть мы и трубим о победе для ушей непосвященных. Поэтому мы пока не решались разыскивать вас.

Они сели в лифт, поднялись в один из верхних этажей, прошли по узкому коридору, миновали большой зал (совершенно пустой, если не считать попавшихся им навстречу двух человек, бежавших со всех ног по каким-то поручениям) и вошли в сравнительно небольшую комнату. Всю обстановку этой комнаты составляли длинная оттоманка и подвешенный на кабелях у стены большой овальный диск, по поверхности которого медленно ползли какие-то мутно-серые тени. Линкольн попросил Грехэма обождать и ушел, предоставив ему разгадывать, как умеет, назначение странного диска.

Но вскоре его внимание было привлечено другим. До него вдруг донесся рев толпы, очень далекий, но, несомненно, ликующий рев. Он раздался внезапно и так же внезапно затих, словно прорвавшись сквозь щелку на минуту приотворившейся двери. Затем в соседней комнате послышались торопливые шаги, мелодический звон металла о металл, шелест платья, и женский голос произнес: "А вот и Острог". Вслед за тем порывисто зазвенел тоненький колокольчик, и все опять стихло.

Но вот за дверью снова началось движение: доносились шаги, голоса. Вскоре среди этих смешанных звуков выделились твердые, размеренные шаги одного человека и стали быстро приближаться. Дверь отворилась, портьера тихо приподнялась, и на пороге показался высокий седой человек в шелковом плаще молочно-белого цвета. Он остановился и, придерживая одною рукой портьеру, смотрел на Грехэма. Потом рука его опустилась, и он ступил шаг вперед. Первым впечатлением Грехэма были: большой, широкий лоб, глубоко сидящие светло-голубые глаза под густыми седыми бровями, орлиный нос и резко очерченные, крепко сжатые губы. Только тяжелые складки над глазами да опущенные углы энергичного рта выдавали возраст этого человека, совершенно не гармонируя с его прямой, стройной фигурой и бодрой осанкой. Грехэм инстинктивно поднялся ему навстречу. С минуту оба они стояли и молча смотрели друг на друга.

— Вы Острог? — спросил, наконец, Грехэм.

— Да, я Острог.

— Вождь восстания?

— Да, так говорят.

Опять наступила неловкая пауза.

— Это вам, кажется, я обязан своим спасением? — нерешительно проговорил Грехэм.

— А мы уже боялись, что вас убили, — сказал Острог, не отвечая на вопрос. — Убили, или, вежливо выражаясь, усыпили навсегда. Нам стоило большого труда сохранить нашу тайну — скрыть ваше исчезновение, хочу я сказать…. Где вы пропадали? И как попали сюда?

Грехэм повторил свой рассказ. Острог внимательно слушал.

— А знаете, чем я занимался, когда пришли мне доложить о вашем приходе? — сказал он, чуть-чуть улыбнувшись, когда Грехэм замолчал.

— Понятия не имею.

— Готовил вашего двойника.

— Моего двойника?

— Ну да. Мы разыскали человека, похожего на вас. Чтобы облегчить ему его роль, мы решили загипнотизировать его. Нам невозможно обойтись без Спящего. Все восстание держится на этой идее: народ уверен, что Спящий проснулся, что он жив и с нами. Да вот и сейчас в театре собралась огромная толпа народа: хотят вас видеть, требуют, чтобы им показали вас. Они даже нам не вполне доверяют… Вам ведь, конечно, известно, какое вы занимаете положение?

— Очень смутное, — отвечал Грехэм.

— Так слушайте, — Острог прошелся по комнате, потом повернулся к Грехэму и продолжал: — Вы — собственник половины земного шара. Значит, фактически вы все равно, что король. Ваша власть, правда, ограничена разными сложными законами, но тем не менее вы —

центральная фигура: в глазах народа вы — символ правительственной власти. Этот Белый Совет, или "Совет опекунов", как его называют…

— Да, я кое-что уже слышал обо всем этом.

— Вот как! От кого же?

— Я столкнулся сегодня с одним болтливым старикашкой, и он…

— А, понимаю…. Итак, народные массы — это словечко перешло к нам еще от ваших времен: у нас ведь тоже есть народные массы, как вам известно; народные массы смотрят на вас как на своего законного господина, правителя — совершенно так, как в ваши дни смотрели на королей. И вот народ всего земного шара недоволен правлением ваших опекунов. Вообще говоря, это все та же старая история — старое недовольство: протест бедняка против бедности, против рабства труда, против дисциплины и собственной неприспособленности. Но нельзя не признать, что ваши опекуны правили дурно. Во многом — в своем отношении к рабочим союзам, например, — они вели себя крайне неразумно и дали много поводов к недовольству. Мы, партия народа, подняли агитацию в пользу реформ задолго до того, как вы проснулись. А тут нежданно-негаданно произошло ваше пробуждение…. Да, будь оно даже нарочно подстроено нами, оно не могло бы прийтись более кстати для успеха нашего дела. — Он улыбнулся. — В уме народа давно уже мелькала фантастическая мысль разбудить вас и обратиться к вам с жалобой, как к верховному судье. Ничего не значит, что вы десятки лет провели в состоянии небытия: народ ведь не принимает в расчет таких мелочей…. И вдруг вы проснулись…

Он жестом показал, какой эффект произвело это событие. Грехэм молча кивнул головой.

— Совет был совершенно ошеломлен. Все они там перессорились. Впрочем, они и раньше вечно грызлись между собой. В первый момент

они не могли решить, что им с вами делать. Чтобы выиграть время, они, как вам известно, посадили вас под замок.

— Да, да, я знаю. Ну, а теперь мы побеждаем?

— Мы побеждаем, это несомненно. С сегодняшнего дня за пять коротких часов победа перешла на нашу сторону. Мы разбили их на всех пунктах. К нам примкнули все служащие в Управлении ветряных двигателей, весь Рабочий союз со своими миллионами членов. Мы завладели аэропланами.

— Да? — сказал Грехэм.

— Это было очень важно. Иначе они могли бы бежать…. Весь город восстал. Треть населения оказалась в рядах борцов за свободу. На нашей стороне все голубые, все общественные учреждения — словом, почти все за исключением нескольких человек аэронавтов да половины состава красной полиции. А та половина, которая осталась им верна, разбита: частью обезоружена, частью перебита, кроме нескольких десятков солдат, которые заперлись в ратуше. Теперь, если не считать ратуши, весь Лондон в наших руках. Вас освободили. Половина их красной полиции погибла в безумной попытке снова захватить вас. Потеряв вас, они потеряли головы. Все свои силы они направили на театр, а мы, пользуясь этим, отрезали их от ратуши. Нынешняя ночь была поистине ночью победы. Мы победили вашим именем. Еще вчера Белый Совет был верховным правителем, каким он был целый гросс лет — полтора века, по-вашему, — и вдруг… Довольно было шепнуть, что Спящий проснулся, и нет больше Совета.

— Простите, все это для меня китайская грамота, — перебил Грехэм, — Мне не совсем ясны условия этой борьбы. Если бы вы объяснили…. Где теперь Белый Совет? Кончена борьба или все еще продолжается?

Острог, не отвечая, перешел комнату. Послышался короткий металлический звон, и вслед за тем они очутились в полной темноте. Только овальный диск выделялся на стене светлым пятном.

Очнувшись от первого изумления, Грехэм заметил, что мутносерая поверхность диска начала углубляться и приняла вид большого овального окна, за которым происходила странная сцена.

Он смотрел не отрываясь, но сначала ничего не понимал. Он видел только, что действие происходит при дневном свете — при свете серого, зимнего дня. На втором плане картины сверху донизу тянулся толстый кабель из белой скрученной проволоки. Затем шли ряды огромных ветряных колес с широкими промежутками темноты между ними. Все это было очень похоже на то, что он видел во время своего бегства из ратуши. Он заметил еще, что по всему свободному пространству в этой полутьме шагали по два в ряд люди в красных мундирах между двумя плотными рядами черных фигур, и понял еще прежде, чем Острог заговорил, что перед ним верхний этаж современного Лондона — лондонские крыши. Но теперь на них не было снега, как накануне. "Должно быть, это новейшее усовершенствование камеры-обскуры, — подумал он про овальный экран, — Однако что за странность: ведь эти красные фигуры двигаются слева направо, а между тем исчезают в левом углу". Но он скоро сообразил, что вся картина, как панорама, медленно передвигалась справа налево.

— Сейчас вы увидите сражение, — сказал Острог. — Заметили вы людей в красном? Это наши пленные. Место действия — площадь лондонских крыш. Теперь ведь наши крыши представляют одну сплошную площадь. У нас и улицы под крышами и общественные скверы; у нас нет промежутков между отдельными домами, как было в ваше время.

В эту минуту половина картины закрылась какою-то движущейся тенью, — судя по очертаниям, тенью человека. Сверкнула искра, отбросив металлический отблеск на противоположную стену. По

поверхности диска проползла мутная пленка, и картина опять осветилась. Теперь на экране между колесами ветряных двигателей бегали люди, целясь друг на друга из каких-то особенных ружей, выбрасывавших маленькие дымящиеся искорки. Направо толпа становилась все гуще и гуще. Люди отчаянно жестикулировали и, должно быть, кричали, но о последнем можно было только догадываться. И все вместе — и люди и колеса — ровно и медленно передвигались по экрану в одну сторону, постепенно скрываясь из глаз.

— Сейчас покажется ратуша, — сказал Острог.

С правого края экрана стало медленно выдвигаться что-то черное, оказавшееся огромным черным провалом пожарища между уцелевшими зданиями, провалом, от которого к бледному зимнему небу тянулись тоненькие струйки дыма. Кое-где среди этого разрушения уныло торчали обгорелые остовы массивных колонн — остатки прежнего великолепия, — а между ними бегали, лазили, копошились миниатюрные фигурки людей.

— Вот она, ратуша, — сказал опять Острог, — Это их последний оплот. Чтобы предупредить нашу атаку, они взорвали соседние здания, пожертвовав огромным запасом пороха, с которым можно было продержаться еще, по крайней мере, месяц. Безумцы! Вы слышали взрыв? Им выбиты все оконные стекла в ближайшей половине города.

Пока он говорил, на экране показалось высоко вздымавшееся над дымящимися развалинами массивное белое здание, оторванное разрушением от окружающих домов. Часть его передней стены обвалилась, оставив раскрытыми огромные великолепные залы. Что-то зловещее было в их роскошном убранстве при тусклом свете этого серого зимнего дня. Местами зияли черные впадины коридоров с висящими по стенам оборванными концами кабелей и металлических проводов. И среди этого разрушения повсюду двигались красные крапинки — красные мундиры защитников Совета. Время от времени вспыхивали бледные искры, освещая на миг эту картину смерти. В

первый момент Грехэму показалось, что защитники белого здания отражают атаку, но потом он рассмотрел, что революционеры не переходят в нападение, а только поддерживают перестрелку с гарнизоном крепости, пользуясь, как прикрытием, колоссальными развалинами ближайших домов.

Как странно подумать, что каких-нибудь десять часов тому назад он стоял под вентилятором в маленькой комнатке этого белого здания, теряясь в догадках по поводу того, что происходит за его стенами!

Острог между тем продолжал в коротких и точных словах описывать события дня. Бесстрастным тоном говорил он об огромной потере людей, о чудовищном опустошении, которое произвел этот взрыв. Он указал Грехэму на груды развалин, похоронивших под собою сотни человеческих трупов, на двигавшиеся между ними лазаретные фуры и на крошечные фигурки санитаров, подбиравших раненых среди хаоса, бывшего еще вчера площадью движущихся улиц. Гораздо больше интереса проявил он, когда заговорил о тактических приемах противника, о расположении отдельных частей гарнизона и о том, как долго может он еще продержаться. Вскоре междоусобная борьба, разыгравшаяся в новом Лондоне, не представляла больше тайны для Грехэма. Это не была война равных противников: это был великолепно организованный переворот. Острог поражал своим знанием всех мельчайших подробностей этой борьбы: ему, казалось, было известно, чем занята и чего добивается каждая маленькая кучка красных и черных фигурок, ползающих по экрану.

Вот его рука протянулась к ярко освещенной картине, отбросив на нее огромную черную тень. Он показал Грехэму комнаты, где его держали в заточении, и, водя пальцем по экрану от одного полуразрушенного дома к другому, наметил весь путь его бегства.

Грехэм узнал тот черный провал между домами, через который был перекинут желоб, узнал колеса ветряного двигателя, под которым он прятался от летательной машины. Остальной части его пути нельзя

было проследить, так как дома, по крышам которых он шел, были разрушены взрывом. Он снова взглянул на картину: половина ратуши уже продвинулась за экран, а справа, как в тумане, выдвигался какой-то холм с разбросанными по нему домами и башенками.

— Итак, Совет низвержен, говорите вы? — спросил Грехэм.

— Окончательно! — ответил Острог.

— А я?.. Неужели правда, что я…

— Вы собственник половины мира.

— Но почему же это белое знамя…

— Это знамя Совета, знамя владычества над миром. Оно падет. Борьба кончена. Их нападение на театр было последней отчаянной попыткой. У них осталось не больше тысячи человек, да и те ненадежны. Запасы пороха у них почти вышли. А мы решили тряхнуть стариной: льем пушки.

— Но позвольте: ведь к ним может подоспеть подкрепление. Не кончается же мир этим городом, я полагаю?

— Для них, пожалуй, да. Все остальные города и страны или восстали вместе с нами, или сохраняют нейтралитет в ожидании исхода борьбы. Ваше пробуждение ошеломило весь мир: все колеблется, никто не может решить, что ему делать.

— Ну, а летательные машины? Разве в распоряжении защитников Совета нет летательных машин? Отчего они не пускают их в ход?

— Они пробовали. Но большинство аэронавтов оказалось на нашей стороне. Правда, аэронавты не посмели открыто выступить на защиту восставших, но они отказались действовать против нас… Нам, впрочем, пришлось-таки повозиться с этими господами. Половина сочувствовала нам, а другая половина знала это. Ну вот, как только им стало известно, что вы бежали, все летательные машины, бывшие в действии, спустились — все, кроме одной. Час тому назад мы убили человека, стрелявшего в вас…. Да, надо заметить, что с первой же минуты мы позаботились занять по возможности все станции летательных аппаратов во всех городах. Таким образом, в наших руках оказались почти все аэропланы. Ну, а легких летчиков мы не боимся: по тем из них, которым удалось подняться, мы все время поддерживали ружейный огонь и не допускали их к ратуше. А если бы какой-нибудь и спустился поблизости, ему все равно не пришлось бы больше подняться, так как там нет ни одной площадки, достаточно широкой для взлета. Некоторые из аппаратов были подбиты нашими выстрелами, многие спустились добровольно и сдались, остальные улетели на континент искать союзников, которые поддержали бы их дело. Большинство аэронавтов, надо сказать, сами добивались, чтобы их взяли в плен и лишили возможности действовать. Да и в самом деле, упасть с высоты — перспектива не из приятных…. Итак, вы видите теперь, что Совету не на что надеяться и с этой стороны. Совет погиб, дни его сочтены.

Он засмеялся и снова повернулся к экрану, чтобы показать на нем Грехэму станции летательных аппаратов. Но даже четыре ближайшие станции были далеко, и трудно было что-нибудь рассмотреть за густою пеленой утреннего тумана. Грехэм заметил только, что это сооружения колоссальных размеров даже по сравнению с огромными зданиями, окружавшими их.

Картина между тем все передвигалась влево. Исчезла ратуша, скрылись из виду холмы, и справа опять показалась та самая площадь крыш, на которой Грехэм перед тем видел красные мундиры пленных, шагавших под конвоем. А там опять потянулись черные развалины зданий, снова выдвинулась одиноко торчащая среди них белая

твердыня ратуши. Но теперь она уже не имела того зловеще-призрачного вида, как при первом своем появлении: утренние тучи рассеялись, и все белое здание было залито солнцем. Возня пигмеев вокруг этого великана все еще продолжалась, но вяло: его красные защитники уже почти не стреляли.

Таким-то образом человек девятнадцатого столетия, не выходя из полутемной запертой комнаты, увидел на освещенном экране заключительную сцену великой борьбы двадцать второго века. Не сходя с места, он проследил все последние перипетии восстания, поднятого его именем в целях укрепления его владычества над миром. И, как откровение, блеснула у него новая мысль, что этот мир, теперешний мир, близок ему, а не тот, который он оставил так далеко за собой, и что видел он сейчас на экране не театральное представление, которое посмотришь и забудешь, а реальную жизнь; что ему самому предстоит участвовать в этой жизни и принять на себя свою долю ее опасностей, обязанностей и ответственности. Он повернулся к Острогу с готовыми вопросами на губах. Острог начал было отвечать, но перебил себя на полуслове.

— Нет, лучше я вам все это потом объясню. Сначала нужно исполнить все дела и обязанности. Народ из всех частей города стекается толпами к этому дому. Все рынки, все театры переполнены. Вы подоспели как раз вовремя. Вас хотят видеть. И не только Лондон хочет вас видеть, а все города: Париж, Нью-Йорк, Чикаго, Денвер, Капри…. Тысячи городов поднялись и требуют, чтобы вы им показались. Народ всего мира давно уже, многие годы, требовал, чтобы вас разбудили, а теперь, когда ваше пробуждение стало совершившимся фактом, они не верят…

— Послушайте, не могу же я объехать весь мир.

Но Острог был уже на другом конце комнаты. Он нажал там какую-то кнопку: комната разом осветилась, а картина на экране побледнела и расплылась. И только тогда он ответил:

— В этом нет никакой надобности. На то существует кинетотелефотография. Если вы здесь, в Лондоне, ответите поклоном на приветствия толпы, его увидят мириады людей, разбросанных по всему миру. Им нужно будет для этого только собраться в темных помещениях, снабженных надлежащими приборами. Эти приборы передают только черный и белый цвета так, что они увидят ваше неокрашенное отражение, но увидят вполне отчетливо. А вы здесь услышите их приветственные клики…. Есть у нас, кроме того, еще один оптический прибор, которым пользуются иногда танцовщицы и акробаты. Вам он, верно, не знаком. Мы и его пустим в дело. Действует он так: ставят человека в фокусе ярких лучей света, причем отбрасывается на экране его отражение в настолько увеличенном виде, что публика, даже сидящие в задних рядах самой дальней галереи, могут сосчитать все волоски на его ресницах.

Чувствуя, что ему все равно не осилить всего, что он слышит, Грехэм в отчаянии ухватился за один из множества вопросов, вертевшихся у него в голове.

— Как велико население теперешнего Лондона? — спросил он.

— Двадцать восемь мириад жителей.

— Я не понимаю…

— Свыше тридцати трех миллионов.

Воображение Грехэма решительно отказывалось охватить эту цифру.

— Итак, решено: вы покажетесь народу, — продолжал Острог. — Само собой разумеется, что вам придется что-нибудь им сказать. Не спич, конечно, как это называлось в ваше время, а, как говорят по-нашему, слово, то есть одну небольшую фразу из пяти-шести слов. Ну,

например, в таком роде: "Я проснулся, и сердце мое с вами". Этого вполне достаточно.

— Как вы сказали? — переспросил Грехэм.

— "Я проснулся, и сердце мое с вами". При этом вы поклонитесь по-царски.... Но прежде вас надо переодеть. Ваш цвет черный. Вы явитесь им в черном. Согласны?.. Ну, а когда они вас увидят, они успокоятся и мирно разойдутся по домам.

Грехэм немного замялся.

— Ну что ж, делайте, что хотите; я ведь в вашей власти, — сказал он наконец.

Острог был, видимо, того же мнения. После минутного раздумья он подошел к портьере и отдал несколько коротких приказаний кому-то невидимому. Через секунду явился слуга с черным плащом в руке. "Точь-в-точь такой, какой они накинули на меня в театре", — подумал Грехэм. Слуга набросил ему на плечи этот плащ, и в ту же минуту в соседней комнате зазвенел пронзительный звонок. Острог повернулся было к слуге с готовым вопросом, но вдруг передумал, раздвинул портьеру и скрылся.

С минуту Грехэм в недоумении смотрел на стоявшего перед ним навытяжку лакея, прислушиваясь к удалявшимся шагам Острога. Из-за двери доносился шум торопливых шагов, слышались возбужденные голоса, шел быстрый обмен вопросами и ответами. Но вот портьера снова раздвинулась, и снова показался Острог. Его крупное выразительное лицо горело от волнения. Большими быстрыми шагами он перешел комнату, одним поворотом руки погасил освещение, потом схватил Грехэма за руку, указывая ему на осветившийся экран.

— Смотрите: не успели мы отвернуться, как они… События не ждут.

Огромная черная тень его указательного пальца упиралась в здание ратуши, резко выступавшее на ярко освещенном экране. Грехэм ничего не понимал. Но, всмотревшись внимательнее, он заметил, что высокий шест на крыше ратуши, на котором раньше развевалось белое знамя, теперь опустел.

— Неужели?.. — начал было он.

— Совет сдался. Владычество его пало, пало навсегда… Взгляните.

По шесту теперь медленно поднималось свернутое черное знамя, развертываясь на ходу.

Картина вдруг побледнела: в комнату вошло новое лицо, впустив за собой в открытую дверь полосу света. Это был Линкольн с докладом.

— Они там беснуются, — сказал он.

Острог крепче сжал руку Грехэма.

— Мы подняли народ. Мы раздали ему оружие, и он отстоял наше дело. Так хоть сегодня мы — его слуги. Надо исполнить его желание. Сегодня для вас его воля — закон.

Линкольн молча откинул портьеру и посторонился, пропуская вперед Грехэма и Острога…

Из всего, что видел Грехэм по дороге к Рыночной площади, у него осталась в памяти только длинная узкая комната с выбеленными стенами и с правильными рядами коек по бокам. Оттуда еще издали доносились стоны и вопли. Люди в неизменных голубых холщовых балахонах беспрерывно выносили оттуда тяжелые носилки, покрытые белыми простынями, а вокруг коек суетились другие люди в красных хламидах (очевидно, форменный цвет медицинского персонала

больниц). Грехэму смутно припоминалась потом пустая койка с окровавленным постельным бельем, бледные, измученные люди с перепачканными кровью повязками, лежавшие на других койках…. Но все это он видел лишь мельком, с высоты тянувшихся под потолком этой комнаты висячих мостков, по которым они проходили, а потом массивная колонна скрыла от них тяжелую картину, и они продолжали путь.

Рев толпы, долетавший с Рыночной площади, все приближался. Еще один поворот, и звуки хлынули бурной волной, прокатились, как гром. Впереди, в глубине длинного перехода, Грехэм увидел развевающиеся черные знамена, волнующееся море голубых и коричневых одежд: перед ним открылось широкое пространство зала, того самого колоссального театра, куда он спустился по кабелю, где был свидетели кровавой борьбы и откуда потом бежал, спасаясь от красной полиции. В этот раз он вошел сюда по верхней галерее, приходившейся значительно выше сцены. Театр был теперь ярко освещен. Грехэм машинально искал глазами тот проход между креслами амфитеатра, по которому он пробирался ползком, прячась от выстрелов, но не мог отличить его среди множества других таких же проходов. За густою толпой не видно было никаких следов недавней борьбы. Толпы заполняла весь партер, все ложи, все места, кроме сцены.

Как только Грехэм с Острогом показались на галерее, крики замолкли, пение прекратилось, и все лица обратились кверху. Все это разнокалиберное, беспорядочно оравшее скопище людей притихло, как один человек, сливаясь в одном всепоглощающем чувстве. И каждый с жадным любопытством, не отрываясь, смотрел на того, кто спал, и проснулся, и теперь вступил в свои права.

Глава XIII

КОНЕЦ СТАРОГО СТРОЯ

По соображениям Грехэма было около полудня, когда опустилось белое знамя Совета. Но нужно было еще несколько часов на выполнение всех формальностей сдачи, и потому, сказав свое "слово", он вернулся назад, в Управление ветряных двигателей, и удалился в отведенное ему там помещение. Он был так утомлен волнениями последнего дня, что даже любопытство его притупилось. Он долго сидел не шевелясь, глядя перед собой широко раскрытыми глазами и не думая ни о чем. Потом лег и заснул. Проснувшись, он увидел возле себя двух врачей, явившихся с каким-то подкрепляющим средством, которое должно было придать ему сил для участия в дальнейших церемониях этого дня. Он выпил лекарство, принял холодную ванну, и бодрость вернулась к нему. Охотно, с большим интересом отправился он после этого в сопровождении Острога на заключительную сцену сдачи Белого Совета.

Ему казалось, что они прошли несколько миль, спускаясь и поднимаясь на лифтах, кружа по извилистым переходам бесконечного лабиринта зданий. Наконец на повороте одного коридора перед ними открылся широкий вид на окруженное развалинами белое здание ратуши и на нависшие над ним облака, позолоченные отблеском заходящего солнца. Вместе с этим их обдало волною оглушительных звуков. В следующий момент они уже стояли на выступе крыши одного из полуразрушенных домов. Несмотря на то, что это место смерти было уже знакомо Грехэму по отражению на экране, оно поразило его своим зловеще-безотрадным видом. Оно представляло собой неправильный амфитеатр разрушенных зданий, тянувшихся почти на милю кругом. Развалины, сверкающие золотом заката с левой стороны, направо и внизу, казались мертвыми и холодными, исчезая в тени. Над мрачной крепостью Белого Совета, занимавшей центр, по-прежнему висело черное знамя победителей, ниспадая тяжелыми неправильными складками в безветренном воздухе. Развороченные взрывом огромные залы и коридоры зияли темными впадинами, как разверстые пасти чудовищ. Отовсюду свешивались, точно морская трава, оборванные сети металлических проводов и концы переплетающихся кабелей, а снизу из этого хаоса неслись звуки труб и неистовый рев бесчисленных

голосов. Белая громада последнего оплота Совета стояла словно посреди кладбища: ее кольцом окружали почерневшие остовы каменных зданий, обломки балок, груды массивного камня от обвалившихся гигантских стен. Внизу, между развалинами, бежала, сверкая, вода, а вдали виднелся торчавший футов на двести кверху конец обломанной водопроводной трубы, из которого вода била широким фонтаном. Повсюду, куда ни взгляни, тысячные толпы народа.

Люди лепились на каждом выступе, на каждой площадке — везде, где только можно было стать ногой. На таком расстоянии они казались крошечными фигурками, отчетливо видными в каждом уголке, кроме тех мест, которые были залиты сплошным золотом прощальных солнечных лучей. Люди карабкались по полуразвалившимся стенам, взбирались целыми группами на высокие колонны, кишели, как муравьи, по всему амфитеатру развалин, проталкиваясь, продираясь к центру. Воздух звенел от их крика.

Верхние этажи ратуши казались совершенно пустыми: там не показывалось ни одной живой души. Только над крышей слабо шевелилось тяжелое черное знамя, выделяясь черным призраком против света. Мертвые лежали внутри здания, или их уже успели убрать, или, может быть, их не было видно за толпой. Только пять-шесть забытых трупов валялись среди обломков в самом низу, где бежала вода.

— Благоволите показаться народу, государь, — сказал Острог Грехэму. — Все жаждут видеть вас.

После минутного колебания Грехэм шагнул вперед и остановился на краю выступа.

Довольно долго простоял он, никем не замечаемый снизу, резко выделяясь своею высокой черной фигурой на светлом фоне неба. Но, наконец, его заметили. Внизу произошло движение, пронесся рокот

восторга. Все лица обратились кверху. Он видел, что его узнали. "Надо чем-нибудь выразить им мои чувства", — подумалось ему. Он молча указал на белую твердыню ратуши и выразительно махнул рукой в знак того, что владычество Совета пало. Крики внизу слились в единодушный рев и понеслись к нему ликующей, бурной волной.

В это время вдали показался небольшой отряд солдат в черных мундирах, медленно приближавшийся к ратуше, с трудом проталкиваясь сквозь толпу.

Полоса неба на западе из багровой превратилась в бледно-зеленую, и звезды заблестели на небесном своде, а церемония капитуляции все еще была впереди. Вверху шла своим чередом обычная неспешная смена бесстрастных светил: тихо подходила ночь, ясная и прекрасная. А внизу были суматоха, волнение.... Выкрикивались противоречивые приказания, гул голосов то разрастался в рев, то падал, сменяясь тишиной. Видно было, как люди в черных мундирах, подгоняемые окриками своего начальства и криками толпы, вытаскивали из ратуши трупы ее защитников, погибших в рукопашных схватках среди лабиринта ее коридоров и залов.

Теперь уже недолго оставалось ждать. С минуты на минуту должны были показаться побежденные — члены Белого Совета. Черный отряд выстроился в две шеренги по всему пути, которым ему было назначено проходить. Толпа замерла в ожидании. Повсюду, куда мог проникнуть глаз сквозь голубую мглу надвигавшейся ночи, на всех карнизах отбитого у врагов белого здания, на каждом выступе ближайших полуразрушенных домов стояли и сидели люди, и даже теперь, когда никто не кричал, человеческий говор шумел, поднимаясь и падая, как море, набегающее на прибрежные камни.

По приказанию Острога на одной высокой груде развалин построили на крепких металлических подпорках деревянный помост с возвышением посредине. Сюда-то и перешли теперь Грехэм, Острог и Линкольн со свитой подчиненных Острога. Весь помост вокруг

возвышения заняли черные солдаты революционных войск со своими зелеными "ружьями" как называл это странное оружие Грехэм про себя. Стоявшие возле него заметили, как взгляд его беспрестанно переходил от копошившейся внизу толпы народа к хмурому зданию ратуши, откуда должны были появиться члены Совета, а потом поднимался к призрачным остовам окружающих зданий и снова опускался вниз.

Но вот раздался угрожающий рев. Вдали, в черной пасти наружных сводчатых ворот ратуши, показались члены Совета — маленькая, жалкая кучка белых фигур. Они приостановились в воротах, жмурясь от света: там, у себя, в своей крепости, они сидели впотьмах: Грехэм видел, как они медленно приближались, минуя одну за другой яркие звезды электрического света, зажженные по всему их пути. Грозный ропот народа преследовал их по пятам. По мере их приближения все яснее выступали их бледные, измученные, перепуганные лица. Поравнявшись с помостом, все они подняли головы и бросили тревожный взгляд на своих победителей. Грехэму припомнилось, как холодно-враждебно смотрели на него эти самые люди три дня тому назад, когда он стоял перед ними в зале Атласа... Он узнал в лицо некоторых из них — того, который гневно ударил рукой по столу в ответ на что-то, сказанное Говардом; узнал и другого — человека с грубым лицом и рыжей бородой, и еще одного — невысокого роста брюнета с вытянутым черепом и тонкими чертами лица. Он заметил, что двое из них все время шептались и все оглядывались на Острога. Последним шел высокий, черноволосый, очень красивый человек. Он шел, потупившись, низко опустив голову. Только подходя к помосту, он вдруг поднял глаза, на минуту встретился взглядом с Грехэмом, потом взглянул на Острога и снова потупился. Дорога для шествия побежденных была проложена таким образом, что они должны были пройти мимо помоста победителей, потом повернуть и по дощатым мосткам подняться на эстраду, где должна была совершиться официальная церемония сдачи.

"Наш господин! Государь! Бог и государь! К черту Совет!" — кричал народ.

Грехэм окинул взглядом эти несчетные массы людей, заполнявшие все видимое пространство внизу и тонувшие во мгле дали, потом взглянул на Острога, стоявшего подле него с бледным застывшим лицом… на маленькую кучку белых фигурок, медленно двигавшихся по мосткам с поникшими головами…. Все это было так чуждо, так непривычно! Он поднял голову, увидел над собой знакомые тихие звезды, и в душе его с особенной силой заговорило сознание того чудесного, необычайного, что он пережил за последние дни. Неужели та скромная жизнь, что так странно оборвалась два века тому назад и так живо сохранилась в его памяти, была его жизнь? И неужели это он же, тот самый человек, живет теперь?

Глава XIV

"ВОРОНЬЕ ГНЕЗДО"

Итак, после жестокой борьбы, сломившей все преграды к его воцарению, человек девятнадцатого столетия прочно занял свое положение главы нового сложного мира.

Когда после своего освобождения и после сдачи Совета он очнулся от долгого глубокого сна, он в первый момент не мог отдать себе отчета, где он и что с ним было. Усилием воли Грехэм, однако, поймал оборвавшуюся нить воспоминаний, и все случившееся за последние дни мало-помалу воскресло перед ним: сначала как что-то далекое, чужое, как сказка, которую он слышал или читал. Но даже прежде, чем память его окончательно прояснилась, в душе его проснулись радость возвращения к жизни, сознание своего нового положения и изумление перед необычайностью судьбы, вознесшей его на такую высоту. Он — собственник половины земного шара, властелин земли! Новый мир нового века принадлежит ему в полном значении этого слова. Теперь ему уже не хотелось проснуться и убедиться, что все им пережитое было лишь сном; теперь он страстно желал, чтобы этот сон оказался действительностью.

При утреннем его туалете присутствовал величавый гофмейстер — маленький человечек, несомненно японского типа, хотя по-английски он говорил, как англичанин, — отдававший краткие приказания услужливому до раболепства камердинеру, который помогал ему одеваться. От этого человека он узнал кое-что новое о положении дел в стране. Государственный переворот был теперь общепризнанным фактом. В городе уже возобновилась правильная повседневная жизнь. За границей почти повсеместно падение Белого Совета было принято с восторгом. Совет никогда и нигде не пользовался большой популярностью, и сотни городов Западной Америки, которые и теперь, как двести лет тому назад, старались ни в чем не отставать от Лондона, Нью-Йорка и вообще Востока, единодушно восстали при первом же известии о заточении Спящего. В Париже шла междоусобная война. Все остальные города земного шара придерживались выжидательной политики, и ни один не перешел на сторону Совета.

Когда Грехэм сидел за завтраком, в углу вдруг зазвонил телефон, и гофмейстер доложил ему, что это Острог справляется, хорошо ли он провел ночь. Грехэм встал из-за стола и ответил. Вскоре после этого явился Линкольн. Грехэм поспешил заявить о своем непременном желании видеть людей и как можно скорее ознакомиться с новой жизнью, куда его бросила судьба. Линкольн сказал ему на это, что через три часа назначено собрание главных сановников города, на которое приглашены и их жены. Собрание это состоится в парадных апартаментах директора Управления. Что же касается желания Грехэма осмотреть город, то с этим придется обождать, так как народ еще слишком возбужден. Но если он хочет, то может хоть сейчас увидеть город с высоты птичьего полета, со сторожевого поста надзирателя ветряных двигателей, — с так называемого "вороньего гнезда".

Грехэм охотно согласился. Тогда Линкольн, сославшись на неотложные дела, извинился, что не может иметь удовольствия сопутствовать ему, и сдал его на попечение гофмейстера, с которым Грехэм и отправился к "вороньему гнезду".

Высоко, над самыми высокими ветряными двигателями, на добрых тысячу футов выше крыш, висело это "воронье гнездо", казавшееся снизу крошечным кружочком, насаженным на тонкий металлический шпиль. Грехэма подняли туда по проволочному кабелю в корзинке. На половине высоты шпиля была прикреплена легкая, как кружево, круглая галерейка, вокруг которой спускался ряд каких-то труб, вращавшихся на общем кольце. Все эти трубы были соединены с зеркалами, помещенными в "вороньем гнезде", и составляли новейшее оптическое приспособление, при помощи которого из Управления ветряных двигателей можно было в каждый данный момент увидеть, что происходит в любой части города. Этим-то приспособлением и воспользовался Острог, чтобы показать Грехэму на экране ход междоусобной борьбы, закончившейся восстановлением прав народа и Спящего.

Японец-гофмейстер, по фамилии Асано, первым поднялся на верхушку. Они пробыли там целый час. Грехэм расспрашивал, а спутник его добросовестно отвечал.

День выдался чудный — ясный, совершенно весенний. Дыхание легкого ветерка обдавало теплом. На ярко-голубом небе ни облачка. Вся необъятная ширь раскинувшегося во все стороны города сверкала серебром в лучах восходящего солнца. Прозрачный воздух, не застилаемый ни дымом, ни туманом, был чист, как воздух горных вершин.

Если бы не развалины, тянувшиеся вокруг ратуши неправильным кругом, да не черное знамя над ее крышей, напоминавшее о недавней борьбе, на всем протяжении огромного города нельзя было с этой высоты подметить никаких признаков внезапного переворота, в какие-нибудь сутки изменившего судьбы всего мира. В развалинах все еще копошились люди-муравьи, и видневшиеся вдали гигантские открытые станции воздухоплавательных аппаратов, с которых в мирное время отбывали аэропланы во все большие города Европы и Америки, сплошь чернели черными плащами революционеров. На узких временных

мостках, перекинутых через площадь развалин, суетились рабочие над починкой оборванных кабелей и проводов: надо было восстановить сообщение между городом и ратушей, куда Острог был намерен перенести свою главную квартиру. Остальная панорама дышала такою невозмутимой тишиной, что когда взгляд Грехэма, оторвавшись от беспокойного муравейника, наполнявшего развалины, останавливался на этой залитой солнцем картине жизни мирного города, он почти забывал о тех тысячах людей, что лежали скрытые от посторонних глаз где-то там, в закоулках этого полуподземного лабиринта, уже умершие или умирающие от ран, забывал о десятках сиделок и хирургов, хлопотавших вокруг них, и о сотнях носильщиков, не успевавших вытаскивать мертвецов, — забывал, одним словом, обо всех ужасах и обо всех чудесах этого нового мира с его неугасимым электрическим светом. Там, внизу, в крытых галереях человеческого муравейника, торжествовала революция — он хорошо это знал. На улицах там царил революционный черный цвет: черные значки, черные знамена, черная драпировка на домах. А здесь, вверху, под ярким утренним солнцем, вне кратера недавно кипевшей борьбы, тянулся выросший за полтора столетия лес ветряных двигателей, мирно гудевших за своей неустанной работой, как будто никакого переворота не совершилось на земле.

Вдали, тоже усеянные ветряными двигателями, туманной голубовато-сизой линией вставали гребни Серрейских холмов. Поближе, с северной стороны, выступили резкими очертаниями холмы Хайгетский и Масвеллский с таким же лесом торчащих на них колес и лопастей. И так везде, везде — он это знал. На каждой вершине каждого холмика, где некогда переплетались живые цветущие изгороди, где под тенистыми деревьями ютились коттеджи, фермы, церкви, деревенские гостиницы, теперь отбрасывали свои колеблющиеся тени вертящиеся колеса таких же бездушных гигантов, каких он видел кругом, — все тех же неумолимых порождений нового века, безустанно накоплявших электрическую энергию и рассылавших ее по жизненным артериям городов. А у подножия холмов паслись неисчислимые стада

Британского пищевого треста, его собственности, охраняемые одинокими пастухами.

Это полчище зловещих призраков-машин, с их машущими крыльями-лопастями, совершенно изменило общий вид местности. Нигде ни одного знакомого очертания. Собор Святого Павла и некоторые из старинных зданий Вестминстера, как он слыхал, уцелели, но они были скрыты от глаз, погребены под сводами гигантских надстроек нового великого века. Ни одна струйка бегущей воды не оживляла этой каменной громады. Не серебрилась больше на солнце веселая Темза: жадные трубы водопроводов еще далеко от города выпивали каждую каплю ее воды. Ее прежнее русло, углубленное и расширенное, наполнилось морской водой, и по этому каналу тащились теперь целые караваны грязных барж и барок, подвозя, так сказать, прямо к ногам рабочего весь нужный строительный материал. Вдали, на востоке, над линией горизонта, тянулся, словно повисший в воздухе, частый лес высоких мачт парусного океанского флота, ибо весь тяжелый груз доставлялся с разных концов света на больших парусных судах и только такие товары, в которых была неотложная надобность, подвозились на быстроходных пароходах.

К югу по гребню холмов тянулись колоссальные ходы водопроводов, доставлявших морскую воду на фабрики, и, расходясь радиусами по трем направлениям, белели ленты идамитных дорог, усеянных какими-то движущимися серыми крапинками. Грехэм решил при первой же возможности осмотреть эти дороги. Насколько можно было понять из описания гофмейстера, каждая такая дорога состояла из двух отдельных полос, слегка покатых к бокам. По каждой полосе можно было ездить только в одну сторону. Идамит был искусственный состав, напоминающий стекло. По идамитным дорогам ездили в особых, очень узких одноколесных, двух и четырехколесных повозках на резиновых шинах. Эти повозки неслись со скоростью от одной до шести миль в минуту. Железные дороги канули в вечность; лишь кое-где уцелели железнодорожные насыпи: остатки седой старины. Некоторые из них послужили фундаментом для идамитных дорог.

В числе других диковинок нового века бросался в глаза огромный флот воздушных шаров, развозивших рекламы. Непрерывными вереницами летели они к северу и к югу по линиям пути аэропланов. Но аэропланы не показывались: их рейсы пока прекратились, и только где-то высоко-высоко над Серрейскими холмами, в голубой дали неба, чуть виднелось крошечное пятнышко — парящий небольшой моноплан.

Грехэм уже знал, хотя никак не мог себе этого представить, что в Англии исчезли почти все провинциальные города и все деревни. Только местами, в поле у дороги, на больших расстояниях одно от другого, стояли колоссальные здания гостиниц, сохранявших названия трех городков, которые они собой заменили. Так, например, были гостиницы Борнемаут, Уэрхем, Свэнедж. Такое исчезновение маленьких городков было неизбежным следствием роста культуры, как объяснил Грехэму его спутник. При старом строе по всей стране были рассыпаны фермы; через каждые две-три мили попадался помещичий дом или деревенька с ее непременными атрибутами: церковью, мелочной лавочкой и сапожной мастерской. На каждые восемь-десять миль приходился рыночный городок, где имели свою постоянную резиденцию местный адвокат, местный лабазник, шорник, торговец шерстью, врач, ветеринар, портной и так далее. Окрестным фермерам надо было ездить на рынок, и десять миль в два конца было как раз такое расстояние; какое они могли проехать, не слишком утруждая лошадь и себя. Но с постепенным введением более быстрых способов сообщения — сначала железных дорог, потом автомобилей и, наконец, идамитных дорог, вытеснивших все остальные, — исчезла надобность в маленьких рыночных городках. Все они умерли своею смертью, но зато большие города разрослись. Приманкой неисчерпаемых (или казавшихся неисчерпаемыми) источников заработка они стянули к себе всю рабочую силу, а нанимателей привлекли приманкой неистощимого запаса рабочих рук.

По мере того, как возрастали требования комфорта и усложнялась жизнь, бедным людям становилось почти невозможно жить не в городе или приходилось отказаться от всяких удобств. С упразднением

сельских церквей и мелких поместий, с перекочевкой ремесленников в города деревня утратила последние следы культуры. А когда телефон, кинематограф и фонограф окончательно вытеснили газету, книгу и школьного учителя, то жить вне поля действия электрических проводов было бы все равно, что жить дикарем, отрезанным от цивилизованного мира. В деревне нельзя было ни одеваться, ни питаться так, как того требовал изощрившийся вкус нового века. В деревне не было ни порядочных врачей, ни общества, ни поприща для деятельности.

Постоянное усовершенствование земледельческих машин все более и более сокращало надобность в рабочих руках: один инженер мог заменить тридцать рабочих. Таким образом, для сельскохозяйственных рабочих создалось положение, обратное положению лондонских писцов и конторщиков в старые времена: теперь рабочие с раннего утра покидали город, неслись на автомобилях и летели по воздуху к месту своей работы, а к вечеру тем же путем мчались обратно в город отдыхать и наслаждаться благами культуры. Город поглотил человечество.

Человек вступил в новую стадию своего развития. Он был кочевником, охотником, потом земледельцем в стране, где города и торговые гавани служили лишь рынками, передаточными пунктами для деревни. Наконец он перекочевал в города. И это скопление людей в городах было лишь логическим завершением эпохи изобретений.

Это положительно не укладывалось в голове Грехэма, как ни просто должно оно было казаться людям двадцать второго столетия. А когда он попробовал представить себе континент в виде огромного пустыря с десятком разбросанных по нему городов, фантазия окончательно изменила ему… Ничего, кроме городов! Один огромный город на сотни миль равнины… Города у больших рек, города вдоль морских берегов, города среди снежных вершин…. На земле почти повсеместно господствует английский язык. Соисвоими разветвлениями — наречиями испано-американским, англо-индийским, англо-негритянским и англо-китайским — он стал родным языком двух третей

населения земного шара. На континенте, как любопытные пережитки далекой старины, удержались еще только три языка: немецкий, господствующий к востоку до Антиохии и к западу до Генуи и сталкивающийся в Кадиксе с испано-американским; галлицизированный русский, сталкивающийся с англо-индийским в Персии и в Курдистане, и с англо-китайским в Пекине, и французский, сохранившийся во всей своей чистоте и блеске, поделивший Средиземное море с немецким и англо-индусским и достигающий пределов Конго в виде франко-негритянского наречия.

На протяжении всего земного шара, кроме "черного пояса" тропиков, находящегося под протекторатом цивилизованных городов, утвердился единый общественный строй. Весь мир цивилизован; весь мир состоит из городов, и весь или почти весь этот мир от полюсов до экватора — его, Спящего, собственность!..

На юго-западе в туманной дали поднимались роскошные "Веселые Города" — страшные города, о которых говорил кинемофонограф и о которых он слышал на улице от болтливого старика. Какое странное явление эти "Веселые Города"! При взгляде на них невольно вспоминался легендарный Сибарис. Там жили красота и искусство — продажное искусство и продажная красота. Печальное, безотрадное место, где вечно веселились, где не умолкала музыка, куда прибегали за отдыхом и развлечением все те, кто выходил победителем в жестокой, бесславной экономической борьбе, которая никогда не затихала в сверкающем лабиринте огромного города, раскинувшегося внизу…

Борьба была, несомненно, жестокая. Об этом можно было судить уже по тому, что об экономических взаимоотношениях труда и капитала в Англии девятнадцатого века теперешние люди говорили как о какой-то идиллии. Взгляд Грехэма блуждал по необъятному пространству современного Лондона, отыскивая трубы фабрик и заводов в этой громаде зданий!

Глава XV

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ

Если б Грехэм из той привычной обстановки, которая окружала его в девятнадцатом столетии, попал прямо в парадные приемные Управления ветряных двигателей, они поразили бы его своею грандиозностью и вычурностью своих орнаментов. Но он уже начинал привыкать к широким замашкам нового века, и никакая роскошь, никакие размеры не могли его удивить. Эти чертоги нельзя было даже назвать комнатами или залами. Это была какая-то путаница арок, мостов, коридоров и галерей, соединявших собою все части одного колоссального зала. Бродя по этим переходам, он вышел, наконец, к отлогому гладкому спуску, какие ему уже не раз случалось видеть в последние дни, и спустился на открытую площадку, от которой шли вниз широкие, очень отлогие ступени роскошной мраморной лестницы. Мужчины и женщины в блестящих нарядах спускались и поднимались по ней непрерывною пестрой толпой. Грехэму с его места была видна начинавшаяся у подножия лестницы длинная перспектива необыкновенно сложных архитектурных украшений, в которых преобладали белый, матово-желтый и пурпурный цвета и бесконечная сеть легких мостиков филигранной работы и галереек, точно сделанных из фарфора. Все это заканчивалось таинственной дымкой каких-то полупрозрачных ширм или портьер.

Взглянув вверх, он увидел над собой такую же паутину легких галерей, наполненных такою же нарядной толпой. И все эти люди глядели вниз, на него: все лица были обращены в его сторону. В воздухе стоял сдержанный говор бесчисленных голосов, а откуда-то сверху (откуда именно, он не мог разобрать) неслись веселые, подмывающие звуки музыки.

Центральная часть громадного помещения была полна народу: там собралось по меньшей мере пять тысяч человек. И, несмотря на это, не чувствовалось тесноты. Костюмы поражали великолепием. Попадалось

много фантастических костюмов, не только женских, но и мужских: влияние пуританских понятий на цвет и покрой мужского платья давно уже отошло в вечность. Некоторые из мужчин, правда немногие, щеголяли в женских прическах. У одного, которого Линкольн назвал Грехэму таинственным наименованием "амориста", ровно ничего ему не объяснившим, волосы были заплетены в две косы, как у гетевской Маргариты. Длинные волосы у мужчин встречались, впрочем, редко. Но у всех они были завиты щипцами на самый разнообразный манер. Плешивых совсем не было видно: этот порок, очевидно, исчез с лица земли. Много было китайских косичек. Вообще не было заметно какой-нибудь преобладающей моды. Статные, стройные люди, по-видимому, предпочитали платье в обтяжку, тогда как изъяны фигуры у других прикрывались большей частью буффами и широкими складками. Там и сям мелькали тоги и хитоны. Сильно сказывалось также влияние эстетических понятий Востока. Толстяки, которые во времена Виктории сочли бы верхом неприличия не затянуться в наглухо застегнутый сюртук, теперь преспокойно распускали свое брюшко под длинными ниспадающими складками какой-нибудь хламиды. Грехэму, представителю строгой эпохи, совсем не нравились все эти люди: и внешность их, костюмы и манеры были чересчур изысканны, на его взгляд, и слишком уж экспансивно делились они своими впечатлениями. Желая показать свое удивление или восторг, они не в меру жестикулировали, кричали, хохотали, а главное, с изумительной откровенностью выражали те чувства, которые возбуждали в них присутствующие дамы. Дамы здесь, к слову сказать, были в значительном большинстве: это сразу бросалось в глаза.

Костюмы дам были не менее изящны и отличались еще большей вычурностью, чем у мужчин. Одни щеголяли классической простотой или почти полным отсутствием складок и прямыми линиями мод первой французской империи. На других были платья в обтяжку, перехваченные поясом у талии. У многих были мантии на плечах. Но все они одинаково сверкали белизною обнаженных рук и плеч; очевидно, промежуток двух столетий ничуть не ослабил милой откровенности вечерних туалетов дам.

Грехэм заметил еще, что все эти люди отличались необыкновенной грацией движений. Когда он сказал об этом Линкольну, тот объяснил ему, что пластика движений составляет у них существенную часть воспитания каждого богатого человека.

Появление владыки было встречено сдержанным гулом приветствий, но это общество было слишком хорошо воспитано, чтобы надоедать человеку своим любопытством. Грехэма здесь не обступали толпой, не провожали назойливыми взглядами, когда он спускался с лестницы в центральный зал.

Он узнал от Линкольна, что здесь собрались все крупные представители современного лондонского общества: чуть ли не каждый из присутствующих или занимал какую-нибудь важную государственную должность, или приходился сродни кому-нибудь из власть имущих. Многие явились с континента, из тамошних "Веселых Городов", где они развлекались; они нарочно приехали, чтобы присутствовать на чествовании властелина земли. Ведомство воздухоплавания в лице начальников своих отделений, сыгравшее некоторую, довольно, впрочем, пассивную роль в падении Совета, положительно чувствовало себя именинником и как-то особенно лезло всем в глаза. Не отставало от него и Управление ветряных двигателей. В числе других гостей были и уполномоченные от крупных торговых фирм. Между ними особенно выдавался своею меланхолически интересной наружностью и цинически-наглым обращением главный директор Правления общеевропейских свиных заводов. Мимо Грехэма, чуть не задев его плечом, прошел епископ в полном облачении, поглощенный беседой с господином в тоге и в лавровом венке.

— Кто это? — вырвалось у Грехэма.

— Лондонский епископ, — ответил Линкольн.

— Нет, другой… с которым он говорит.

— Поэт-лауреат.

— Как? Вы до сих пор еще…

— О нет, само собою разумеется, что он не пишет стихов. Но он приходится двоюродным братом Уотсону, одному из членов Совета, и состоит, кроме того, членом клуба роялистов Алой Розы, а они там свято чтут традиции.

— Асано мне говорил, что у вас есть король.

— Да. Но он не принадлежит к этому клубу. Его пришлось исключить. Он ведь Стюарт по крови.

Все это было не совсем вразумительно, но Грехэм не успел попросить объяснения, так как в эту минуту началась церемония представления гостей. Грехэму скоро стало ясно, что и теперь, в двадцать втором столетии, продолжало процветать различие общественных положений, ибо Линкольн счел возможным представить ему только самых высокопоставленных лиц — немногих избранных. В первую очередь попал директор Общества аэронавтов, оказавшийся важной персоной благодаря своей своевременной измене Совету. Мужественное, загорелое лицо этого господина резко выделялось среди других изнеженных лиц. Приятно поразили Грехэма и манеры его своею простотой. В его говоре не слышалось того непривычного для Грехэма акцента новых англичан, который так резал ему ухо. После нескольких банальных, ничего не значащих фраз он осведомился о здоровье владыки и выразил ему, в довольно грубой форме, свою неизменную преданность. Затем, без всякого перехода, отрекомендовал себя "воздушным волком" старого закала, без всяких претензий, человеком, который ничего не боится, ученостью похвастать не может, но знает, что знает, а чего не знает, того не стоит и знать. Выложив все это одним духом, он так же круто оборвал речь, поклонился, весьма независимо и отошел.

— Я рад, что этот тип еще сохранился, — сказал Грехэм Линкольну.

— Самодовольный дурак, — заметил тот презрительно. — Но это он правду сказал: он знает то, что знает.

Грехэм еще раз взглянул вслед удалявшейся неуклюжей фигуре. В ней было для него что-то знакомое, напоминавшее ему его прежнюю жизнь.

— Уж если говорить всю правду, так мы его купили, — продолжал Линкольн. — Частью купили, а частью он перешел на нашу сторону потому, что боялся Острога. А нам было очень важно его заполучить: весь успех нашего дела зависел от него.

С этими словами он повернулся в сторону нового подходящего гостя и представил Грехэму генерального инспектора Общественных школ. Это была довольно деревянная фигура в форменном серо-зеленом мундире. Беседуя с Грехэмом, он озарял его благосклонными взглядами сквозь золотое пенсне и подкреплял свои слова красивыми жестами выхоленных рук.

Грехэму было интересно знать, как поставлено школьное дело в современном мире, и он задал деревянному господину несколько прямых вопросов в этом смысле. Тот был, видимо, удивлен таким горячим проявлением интереса к столь сухому предмету. Он что-то такое промямлил насчет монополии народного образования, принадлежащей их компании, о контрактах между Синдикатом и лондонскими муниципалитетами и с большим увлечением распространился об успехах воспитания, достигнутых со времен королевы Виктории.

— В наших школах совершенно отсутствует зубрежка: экзаменов у нас не бывает, — сказал он. — Разве это не прогресс?

— Как же вы добиваетесь от детей, чтоб они учились? — спросил Грехэм.

— Мы стараемся сделать ученье привлекательным. А когда это не удается, предоставляем детей самим себе. — И он перешел к подробностям, к отдельным примерам.

Разговор затянулся. Грехэм узнал, что народные университеты еще существуют, но в измененном виде. По поводу женского образования инспектор снисходительно заметил:

— Да, между молодыми девушками, несомненно, встречается тип с серьезным складом ума, с горячим стремлением к знанию… если оно не слишком трудно дается. Таких девушек немало: мы их насчитываем тысячами. В настоящий момент у нас около пятисот фонографов в разных частях Лондона читают для женщин лекции о влиянии Платона и Свифта на любовные дела Шелли, Газлита и Бернса. По окончании лекции каждая слушательница напишет реферат на эту тему, и фамилии тех из них, чьи рефераты будут признаны лучшими, будут занесены на золотую доску…. Вы видите теперь, что семена, посеянные в ваше время, не заглохли…. У нас…

— Простите, я хотел еще спросить вас о начальных школах, — перебил Грехэм, — Существует у вас какой-нибудь контроль над ними?

— О да, очень строгий контроль, — был ответ.

Грехэм, очень интересовавшийся начальным образованием в последние годы своей прежней жизни, уцепился за эти слова и приступил к своему собеседнику с новыми вопросами. Но он не услышал ничего нового.

— Зубрежки мы не признаем, — повторил деревянный инспектор, становясь почти сентиментальным.

— Вы, по-видимому, учите очень немногому.

— Школа для ребенка, — продолжал инспектор, — должна быть таким местом, где ему весело и легко. Об этом-то мы и хлопочем. Главные правила поведения — послушание, правдивость, и довольно с него. Успеет еще поработать. Ведь этим бедным детям предстоит жизнь тяжелого труда. Наука приводит народ только к недовольству и смутам. Мы в наших школах забавляем детей. Но даже теперь, при всей нашей предусмотрительности, среди рабочих бывают беспорядки. И откуда только они набираются социалистических идей, не понимаю! Друг от друга, должно быть. Это все еще бродит старая закваска — социалистические бредни. Туда же — социализм, анархизм!.. Ну, и агитаторы, конечно, не зевают: от них не убережешься. Мы же, я лично, по крайней мере, всегда считали и считаем моею первейшей обязанностью бороться с народным недовольством. Зачем делать людей несчастными?

— Ну, это как смотреть... — пробормотал Грехэм нерешительно и, помолчав, добавил: — Я, собственно, желал бы знать...

Но тут Линкольн, все время зорко следивший за выражением его лица, прервал их беседу.

— Простите, государь: другие ждут, — сказал он вполголоса.

Инспектор школ почтительно откланялся и отошел.

— Вы, может быть, желали бы познакомиться с кем-нибудь из дам? — сказал Линкольн Грехэму, перехватив случайно брошенный им взгляд, и через минуту представил ему дочь главного директора Правления общеевропейских свиных заводов. Это была молодая особа с ярко-рыжими волосами и живыми голубыми глазами. Грехэм не мог не признать, что она очень хороша собой. Линкольн скромно удалился, чтобы не мешать их беседе, и молодая девица сейчас же пустилась

болтать о "добром старом времени", которое должен был так хорошо знать ее собеседник. Болтая, она улыбалась, а глазки ее смеялись так задорно, что нельзя было не улыбаться в ответ.

— Сколько раз я старалась вообразить это милое романическое время, — говорила она. — Какой вы счастливец! Вы жили в те годы, вы их помните. Каким странным, должно быть, вам кажется теперешний мир! Я видела фотографии из вашей эпохи. Так смешно: маленькие отдельные домики, закопченные дымом из труб… кирпичные домики…. Ведь кирпичи, кажется, делались из обожженной глины? Потом эти мосты над головой с мчащимися по ним поездами. А эта простота реклам! Рекламы в виде надписей — так дико! А эти смешные, торжественные фигуры в черных пуританских костюмах! Черные сюртуки… высокие шляпы, фи! На улицах лошади, чуть ли не коровы. Даже собаки бегают на свободе…. Да, странная жизнь. И после всего этого вдруг проснуться в наш век оторванным от прошлого, от всего, что было так близко и дорого. Ужасно!..

— В моей прежней жизни не много было счастья. Я не жалею о ней, — сказал Грехэм.

Она бросила на него быстрый взгляд, потом сочувственно вздохнула.

— Не жалеете?

— Нет. Ненужная жизнь ненужного человека — о чем тут жалеть? Но теперь… Мы в наше время считали мир в достаточной мере цивилизованным, и жизнь казалась нам слишком сложной. А теперь, — хоть не прошло еще и четырех суток, как я вновь народился на свет, — теперь, оглядываясь на свое прошлое, я вижу, какие это были варварские, дикие времена. Это была только заря цивилизации. Да, ранняя заря. Вы и представить не можете, каким я себя чувствую дикарем, как мало я знаю.

— Спрашивайте, если хотите: я буду отвечать, — проговорила она улыбаясь.

— Хорошо. Прежде всего скажите, что это за общество здесь собралось? Я никого не знаю. Мне говорили, что здесь будут все важные особы, генералы.

— Военные? Таких у нас нет.

— Нет, не военные. Я разумел — начальники управлений, государственные деятели, вообще люди с положением…Вон тот, например, седой человек с такой внушительной наружностью… Кто он такой?

— Ах, этот… Он действительно важная особа — главный директор Компании производства противожелчных пилюль. Фамилия его Морден. Рабочими этой компании, говорят, изготовляется до мириады мириад пилюль в двадцать четыре часа. Вы только представьте себе: мириада мириад!..

— Да-а. Неудивительно после этого, что у него такой высокомерный вид, — сказал Грехэм. — Фабрикант пилюль! Особа!.. Да, странные времена!.. Ну, а этот в красном?

— Этот, строго говоря, не принадлежит к "сливкам" общества, но мы любим его. Он очень умен, с ним интересно, знаете. Это один из главных пайщиков компании медицинского факультета при Лондонском университете. Теперь ведь все факультеты принадлежат компаниям на паях, и все наши врачи — пайщики этих компаний. Красный цвет — их форменный цвет. У нас, конечно, уважают медицину, но люди, которым платят за труд, это все-таки, понимаете…

Она презрительно улыбнулась, как будто говоря: "На какое же положение в обществе могут они претендовать?"

— А нет ли здесь кого-нибудь из великих художников или писателей? — спросил Грехэм.

— Писателей? О нет! Это такой невозможный народ… так много о себе воображают. Они вечно друг с другом ссорятся. Есть даже такие, что готовы подраться из-за того, кому первому войти в дверь. Ужасные люди!.. А из художников здесь, кажется, только Рэйсбери, модный капиллотомист из Капри.

— Капиллотомист? Ах, припоминаю. Художник! Почему нет?

— Нам, видите ли, приходится его ублажать, — сказала молодая девица, как будто оправдываясь. — Ведь наши головы в его руках. — И она кокетливо улыбнулась.

Но Грехэм ответил на ее вызов только новым вопросом:

— Ну, а искусства у вас процветают? Я думаю, живопись сделала большие успехи за эти двести лет?

Она взглянула на него с недоумением и вдруг засмеялась.

— Я в первую минуту было подумала, что вы говорите… — Она опять засмеялась. — Теперь понимаю. Вы спрашиваете о тех чудаках, которых так ценили в ваше время за то, что они расписывали масляными красками огромные четырехугольные куски холста. Их вставляли потом в золоченые рамы и развешивали по вашим четырехугольным стенам…. Нет, у нас это давно вывелось. Людям надоела эта мазня.

— А что же вы подумали в первую минуту, когда я спросил?

Она многозначительно указала пальчиком на свою щеку, горевшую, несомненно, неподдельным румянцем, потом провела по своим ресницам и бровям.

— Я думала, вы вот про что, — сказала она и улыбнулась вызывающе-лукавой улыбкой, отчего сделалась обворожительно мила.

Грехэму стало неприятно. Он вспомнил дам, своих современниц, так часто прибегавших к "живописи", на которую намекала эта рыжеволосая девица, и устыдился нравов своего века. Он как-то разом осознал, что на него обращены тысячи глаз, и почувствовал, что краснеет.

— О да, понимаю, — смущенно пробормотал он в ответ на объяснение своей дамы и неловко отвернулся, чтобы не видеть игривого выражения ее лица. Он оглянулся кругом и встретил целый ряд любопытных глаз, в упор смотревших на него. Но это продолжалось лишь миг: все поспешили скромно потупиться и сделать вид, что они заняты разговором со своими соседями.

— Кто этот мужчина, что разговаривает с дамой в желтом? — спросил он свою собеседницу, избегая смотреть на нее.

Человек этот оказался одним из самых крупных антрепренеров американских театров, только что поставивший в Мексике грандиозную драму, прогремевшую на весь свет. Его лицо напоминало Грехэму Калигулу. Следующая знаменитость оказалась главным организатором "Черного труда". В ту минуту Грехэм как-то пропустил мимо ушей это определение, но впоследствии ему пришлось вспомнить о нем. Между тем рыжеволосая девица продолжала с прежней развязностью давать ему характеристики разных лиц. В числе других она указала ему на прехорошенькую дамочку, отрекомендовав ее одною из "субсидиарных" жен лондонского епископа англиканской церкви. Она при этом рассыпалась в похвалах гражданскому мужеству его преосвященства, решившегося пойти против допотопного закона, по которому для духовенства была обязательна моногамия и который создавал "в высшей степени противоестественное и неудобное положение вещей".

— С какой стати человек должен подавлять свои естественные влечения и калечить себя только потому, что он духовное лицо? — прибавила просвещенная барышня.

Грехэм собрался пуститься в расспросы по поводу "субсидиарных жен", но появление Линкольна прервало на самом интересном месте этот интересный разговор. Линкольн повел его в другой конец зала, где почтительно ожидали своей очереди представиться государю какой-то высокий человек, весь в пунцовом, и две очаровательные дамочки в бухарских халатах — так, по крайней мере, показалось Грехэму. Обменявшись со всеми троими несколькими банальными любезностями, он, по указанию Линкольна, направился к другой группе.

Мало-помалу новые пестрые впечатления начали укладываться в его голове в нечто цельное, принимать определенный характер. Сначала эта блестящая толпа пробудила в нем враждебные чувства, насмешливый протест демократа. Но трудно устоять против всеобщего поклонения, против лести: это не в человеческой натуре. Вскоре эта мелодичная музыка, яркий свет, игра живых красок, ослепительная белизна оголенных женских плеч, мягкие пожатия рук, мелькающие мимо оживленные лица, журчащий ропот сдержанных голосов, сознание интереса и благоговения, которое он возбуждал в этой толпе, — все это соткало вокруг него нежную, ласкающую атмосферу, в которой он чувствовал себя как рыба в воде. Он забыл свои широкие замыслы, свои великодушные решения. Невольно, незаметно поддался он опьянению власти. Поступь его стала увереннее, обращение свободнее, голос окреп. Черный плащ ниспадал с его плеч смелыми, гордыми складками. Во всей его фигуре было теперь что-то царственное. Да, что ни говори, а этот новый мир был интересный, блестящий, заманчивый!..

Случайно подняв голову, он увидел видение. Наверху по перекинутому через зал воздушному мостику проходила молодая девушка, которую он встретил в ложе театра в день своего бегства из ратуши. Она смотрела вниз, на него. Ее лицо только промелькнуло

перед ним и сейчас же скрылось, но он успел уловить на этом лице выражение жадного и нетерпеливого ожидания, относившееся к нему.

Сначала он не мог даже припомнить, где он видел ее, но вместе с воскресшим воспоминанием об их первой встрече в душе его пробудились и те волнующие чувства, которые она вызывала в нем. Он вдруг почувствовал, что его раздражает назойливо-веселая музыка, мешающая ему припомнить торжественный напев революционной песни, под которую маршировала толпа.

Новая его собеседница, которую ему только что представил Линкольн, принуждена была повторить свое замечание, не получая ответа. Грехэм очнулся и, сделав над собой усилие, вернулся к действительности.

Но с этой минуты он не мог отделаться от смутного беспокойства. Он был недоволен собой: он забыл свои обязанности, не исполнял своего долга. Ослепленный роскошью и блеском, он упустил из виду самое важное, и это мучило его. Чары окружавших его блестящих красавиц, околдовавшие его, начинали терять свою силу. Их кокетливые заигрывания, в истинном смысле которых он больше не мог сомневаться, не вызывали теперь с его стороны тех уклончивых, смущенных ответов, под которыми таилось удовлетворенное самолюбие. Глаза его невольно искали в толпе эту девушку, олицетворяющую восстание.

"Где же он ее видел?"

Уже в самом конце раута он стоял на одной из верхних галерей, поджидая Линкольна, который обещал устроить ему в этот день полет, если позволит погода, и теперь пошел отдать необходимые распоряжения, оставив его в обществе новой элегантной дамочки с веселыми глазками и сказав, что он скоро вернется. Грехэм и его

собеседница говорили об идамите (тема, надо сказать, была выбрана им, а не ею).

И вдруг, прорываясь сквозь журчащие переливы легкой музыки, все приближаясь и разрастаясь, грубо и властно зазвучала Песня Восстания — могучая песня, которую он слышал в театре. А! Теперь он вспомнил! Он поднял голову, пораженный. Над ним в стене было круглое окно, открытое настежь; через него-то и врывались эти звуки. За окном, на фоне голубоватой дымки наступившего вечера, виднелась сеть переплетающихся кабелей и тянулись ряды висячих осветительных шаров. Подхваченная тысячью голосов, песня разлилась широкой волной и вдруг оборвалась и смолкла. Теперь до Грехэма явственно доносились гуденье бегущих платформ и рокот многотысячной толпы. Он понял — не сознанием, а чутьем, — что вся эта огромная толпа там, снаружи, пришла сюда ради него.

Могучая песня восстания оборвалась; в ушах его опять раздавалась игривая музыка вальса; но торжественный, благородный напев, раз прозвучав, остался жить в его душе.

Дама с веселыми глазками все еще болтала об идамите, когда он вдруг опять увидел девушку, которую встретил в театре. Теперь она шла по галерее, быстро приближаясь к нему. Она не видела его; он заметил ее первый. На ней было все то же блестящее светло-серое платье. Пышные волосы темной короной возвышались над ее белым лбом. На ее опущенную голову из круглого окна падала полоса холодного, бледного света.

Собеседница Грехэма поймала его взгляд и обрадовалась удобному предлогу избавиться от него.

— Вы желали бы познакомиться с этой девушкой, государь? — храбро спросила она, — Это Элен Уоттон, племянница Острога. Она

очень образованна, много знает. Нет, кажется, женщины серьезнее ее. Вам она, наверное, понравится.

Минуту спустя Грехэм уже разговаривал с девушкой в сером, а быстроглазая дамочка упорхнула.

— Я хорошо вас помню, — говорил Грехэм. — Вы были в театре в тот день, когда народ перед своим выступлением пел революционную песню. Помните? Все пели хором и отбивали такт. Вы стояли в ложе недалеко от меня. А потом я вышел в зал.

Ее минутное смущение уже прошло. Она взглянула на него спокойно и твердо.

— Да, это была чудная минута, — сказала она и замолчала. Ей, видимо, хотелось что-то прибавить, но она не решилась. Наконец, сделав усилие над собой, она продолжала: — Все эти люди готовы были умереть за вас, государь. Многие и умерли в ту ночь.

Лицо ее горело. Она быстро оглянулась, как будто испугавшись, не подслушивает ли их кто-нибудь. В другом конце галереи показался Линкольн. Он пробирался в толпе, направляясь к ним. Она увидела его и, быстро повернувшись к Грехэму и, видимо, спеша высказаться, заговорила совсем новым, дружески конфиденциальным тоном:

— Государь! Сейчас я не могу… здесь неудобно. Но знайте, что народ очень несчастлив. Его угнетают, обманывают. Не забудьте же о народе, который шел умирать, чтобы сохранить вам жизнь.

— Я ничего не знаю… — начал было Грехэм.

— Теперь я не могу вам объяснить,

Перед ними выросла как из-под земли физиономия Линкольна. Он поклонился девушке и извинился, что прерывает их разговор.

— Надеюсь, государь, вам понравился новый мир? — обратился он затем к Грехэму, почтительно улыбаясь и обводя широким жестом огромное пространство освещенного зала и наполнившую его нарядную толпу. — Во всяком случае, вы, наверно, нашли, что мир изменился.

— Да, изменился, пожалуй… но, в сущности, не так радикально, как можно было ожидать.

— Посмотрим, государь, что-то вы скажете, когда мы подымемся на воздух… Ветер утих. Аэроплан вас ждет. Итак, если угодно…

Девушка стояла молча в выжидательной позе. Грехэм взглянул на нее, хотел было задать ей вопрос, но по выражению ее лица увидел, что лучше не говорить. Он низко поклонился ей и пошел за Линкольном.

Глава XVI

МОНОПЛАН

Лондонские станции летающих машин были сосредоточены на южной стороне реки. Они опоясали город неправильной дугой, образуя три группы, по две станции в каждой. За ними сохранились названия шести старинных городских предместий: Рогемптона, Уимбльдон-Парка, Стритхема, Норвуда, Блэкхита и Шутерс-Хилла. Все шесть станций были построены по одному образцу и представляли собою гигантские помосты, подымавшиеся высоко над крышами домов. Каждый помост имел до четырех тысяч ярдов в длину и около тысячи в ширину и держался на толстых подпорках, отлитых из какого-то нового сплава алюминия с железом, заменившего в архитектуре чистое железо. Под помостами, между переплетами стропил и скреплений, тянулись длинные ряды лестниц и подъемных машин. Самые же помосты

представляли совершенно ровную площадь, где всегда стояли наготове подъемные подвижные платформы и куда спускались прибывающие аэропланы.

Грехэм отправился на станцию по движущимся улицам в сопровождении Асано: Линкольн не мог ему сопутствовать, так как его вызвал Острог по каким-то неотложным делам. Сильный полицейский отряд ожидал государя у подъезда Управления ветряных двигателей и поспешил очистить ему место на одной из верхних движущихся платформ. Никто не знал об его предполагавшемся путешествии, тем не менее вокруг него тотчас же собралась довольно большая толпа, последовавшая за ним до места его назначения. Он слышал, подъезжая, как со всех сторон выкрикивалось его имя, и видел, как тысячи мужчин, детей и женщин в голубых балахонах стремглав вбегали по лестницам на среднюю полосу улицы, жестикулируя и что-то крича ему вслед, но что именно — он не мог разобрать. Как только он сошел, наконец, с движущейся платформы, значительно выросшая возбужденная толпа окружила его плотным кольцом, так что сопровождавшему его караулу пришлось расчищать ему путь. Потом он узнал, что многие явились, чтобы подать прошения государю, но так и не могли пробиться к нему.

На западной станции его ожидал моноплан с опытным пилотом у руля. До сих пор он видел монопланы только издали, на большой высоте, откуда они казались маленькими птичками. Но теперь раскинувшийся на подъемной платформе летательной станции алюминиевый кузов этой машины казался очень внушительным. Он был не меньше кузова двадцатитонной яхты. Его боковые крылья-паруса из какого-то искусственного стекловидного состава в раме из тонких металлических прутьев и с такими же металлическими прожилками по поверхности, отчего они напоминали крылья пчелы, отбрасывали тень на несколько сот ярдов кругом. Между ребрами кузова в задней его части были подвешены каким-то очень хитрым способом два кресла: одно — для пилота, другое — для пассажира. Кресло пассажира было снабжено пневматическими подушками, навесом и подвижной рамой, которую можно было по желанию раздвинуть или сдвинуть для защиты

от непогоды. Когда рама была сдвинута, пассажир сидел, как в карете. Но Грехам, жаждавший новых впечатлений, пожелал оставить ее открытой. Перед креслом пилота было стекло, защищавшее его лицо от встречного ветра. Пассажир мог привязать себя к креслу ремнями, что было даже необходимо, особенно при спуске. Он мог также, держась за поручень, передвинуться по рельсикам вместе с креслом в носовую часть кузова, где помещался небольшой ящик с его теплыми вещами и походной аптечкой. Этот ящик служил в то же время противовесом тем частям машины, которые выступали в корму.

На станции не было никого, кроме Асано и свиты. По знаку пилота Грехэм вошел на моноплан и уселся в висячее кресло. Асано спустился с подъемной платформы на помост станции и в знак прощального приветствия махнул рукой. И в тот же миг и Асано, и свита, и станция покатились вправо и скрылись из глаз.

Мерно стучала машина, винт быстро вертелся. Скользящие мимо здания с секунду неслись в горизонтальном направлении, потом все вдруг опрокинулось набок. Грехэм инстинктивно ухватился за поручни кресла. Он чувствовал, что мчится вверх; слышал, как свистела вдоль навеса встречная струя воздуха; слышал сильные ритмические удары винта: раз-два-три — пауза, раз-два-три — пауза…. В кузове машины ощущалось колебательное движение, уже не прекращавшееся во все время полета. Площади крыш, мимо которых они теперь проносились, летели вправо и вниз, быстро уменьшаясь. Грехэм вопросительно взглянул на пилота: тот был спокоен. Он с усилием отвел глаза от его лица и заглянул через борт машины. Он не увидел ничего особенно поразительного: такое же приблизительно впечатление могло бы получиться в вагоне фуникулерной железной дороги при очень быстром ходе. Он узнал здание ратуши, узнал Хайгетский мост. Тогда он, наконец, решился заглянуть вниз, в дыру между двумя перекладинами дна кузова, в которые упирались его ноги.

Его обуял животный ужас, вытеснив из его души все, кроме ощущения непрочности его положения и неминуемой гибели, которая

его ждет. Пальцы его крепко вцепились в железные поручни кресла. Он не мог оторвать глаз от бездны, зиявшей у него под ногами. Футов на сто под ним вертелось колесо одного из ветряных двигателей юго-западной части Лондона. Дальше виднелась южная летательная станция, усеянная черными точками — людьми. Все это падало, падало, проваливалось в пропасть с ужасающей быстротой, уносясь от него. На миг у него появилось непреодолимое побуждение самому броситься вниз, догнать уходящую землю. Он стиснул зубы и, сделав над собой усилие, поднял глаза. Минута паники миновала.

Довольно долго просидел он так, со стиснутыми зубами, держась за поручни и тупо глядя в небо. "Тук-тук-тук… тук-тук-тук", — назойливо стучала машина. Крепче сжав поручни, он перевел глаза на пилота и увидел улыбку на его загорелом лице. Он попробовал улыбнуться в ответ, вышло немножко натянуто.

— Престранное ощущение с непривычки, — заорал он, стараясь перекричать свист ветра и совершенно забывая о своем монаршем достоинстве.

Он все еще не решался заглянуть вниз и долго смотрел через голову пилота на бледно-голубую полосу неба, тянувшуюся впереди. Он все никак не мог отвязаться от мысли о возможных случайностях, грозивших моноплану. Что, если в машине испортится какой-нибудь винт? Что тогда?.. Нет, лучше не думать…. А моноплан между тем все выше и выше улетал в прозрачное, ясное небо.

Мало-помалу Грехэму удалось взять себя в руки, и удручающая мысль об опасности отошла на второй план. И как только прошло это потрясающее сознание движения в воздушном пространстве, без всякой опоры, прошли и все неприятные ощущения. Грехэм почувствовал себя очень хорошо. Его предупреждали о морской болезни, которой аэронавты подвергаются не менее моряков. Но он находил, что колебательное, пульсирующее движение летящего моноплана, по крайней мере, при слабом ветре, какой был теперь, ничем не хуже

ныряньа лодки по волнам в свежую погоду; а на лодке его не укачивало. Острота же разреженного воздуха, по мере того как они подымались, вызывала в нем ощущение какой-то особенной легкости, как от действия веселящего газа. Голубая полоса неба впереди затянулась перистыми облачками. Взгляд его осторожно скользнул ниже. Сквозь ребра кузова мелькнула сверкающая стая белых птиц, паривших в воздухе с ним наравне. Он долго любовался ими. Потом, набравшись храбрости, заглянул опять себе под ноги — прямо вниз: тонкий шпиль "вороньего гнезда" с торчащей на нем вышкой, уменьшавшейся с каждой минутой, отливал золотом в ярких лучах заходящего солнца. Теперь он не боялся смотреть. Вот показалась синяя гряда холмов…. А вот, уже с подветренной стороны, и запутанный лабиринт крыш удаляющегося Лондона. Резко выделялась ближайшая окраина города. Она так поразила Грехэма своим видом, что последние остатки его страха высоты мигом улетучились. Новый Лондон кончался обрывом — отвесной стеной футов в триста-четыреста вышиною. Стена эта местами прерывалась террасами и в общем представляла собою очень сложный и красивый фасад.

От широкой сети предместий, составлявшей в девятнадцатом веке, так сказать, переходную ступень от города к деревне, не оставалось и следа. Теперь вокруг Лондона тянулся пустырь с разбросанными по нему развалинами домов и остатками разнообразных растений, украшавших когда-то сады бывших пригородных вилл. Местами среди этой одичавшей растительности бурели полосы земли, вспаханной под огороды, зеленели поля, засеянные зимними травами, и под ними торчали одинокими островками голые стены обвалившихся домов, десятки лет тому назад покинутых своими обитателями, но почему-то пощаженных новой культурой. Кое-где среди этого хаоса жалких остатков старины, еще пытавшихся бороться с завоеваниями нового века, гордо возвышались дворцы современных увеселительных заведений, соединенные с городом целой сетью металлических проводов. В этот зимний день они казались покинутыми.

Да, Лондон неузнаваем. Границы города очерчены так резко, как это было, пожалуй, только в средние века, когда городские ворота запирались с наступлением ночи и шайки грабителей рыскали вокруг стен.

Там, где некогда тянулась улица Бэт, теперь из широкой полукруглой пасти главных ворот выливался на идамитную дорогу поток вывозимых товаров и вливался обратный поток. Лондон кончался, начиналась деревня. Грехэм увидел под собой возделанные поля долины Темзы — бесчисленные крошечные буроватые полоски земли, перерезанные сверкающими ниточками оросительных каналов.

Его возбуждение быстро росло. Он был точно пьяный. Он втягивал в себя воздух большими глотками и не мог надышаться. Он громко смеялся: ему хотелось петь, кричать. И, не в силах бороться дольше с этим желанием, он запел.

Постепенно они начали заворачивать к югу. В общем они не поднимались и не опускались; но двигались не по горизонтальной линии, а по волнистой: короткие крутые подъемы чередовались с отлогими длинными спусками, во время которых кормовой винт совершенно бездействовал. С каждым подъемом Грехэм испытывал какую-то странную гордость от сознания усилия, увенчавшегося успехом, а на спусках у него захватывало дух и замирало в груди — ощущение жуткое, но необыкновенно приятное, вроде того, как когда катишься в санках с ледяной горы. Так бы, кажется, и летел всю жизнь в этом разреженном живительном воздухе, никогда бы не спустился на землю.

Но вскоре он опять увлекся созерцанием расстилавшегося внизу, быстро уносившегося к северу ландшафта и залюбовался подробностями. Удивительно живописными казались с высоты развалины домов; но ему было больно смотреть на эти развалины, больно сознавать, что это было все, что осталось от ферм и деревень, которыми была когда-то усеяна эта безлесная, безлюдная равнина. Он

знал и раньше об исчезновении в Англии деревень, но большая разница — знать от других или видеть своими глазами. Он пробовал, не распознает ли он знакомые места в этой пустой котловине, зиявшей под ним, но с той минуты, как долина Темзы скрылась из виду, не попадалось больше никаких примет, по которым можно было бы ориентироваться. Но вот вдали показались острые вершины меловой гряды холмов, и по знакомым очертаниям ее восточного ущелья да еще по развалинам города, тянувшегося вдоль его боков, он узнал Гилдфорд Хогс-Бэк. Теперь уже легко было распознать и другие места: Лейс-Хилл, песчаные пустыри Ольдершота и так далее. В Даунсе весь гребень холма был усеян гигантскими ветряными двигателями. Колеса их медленно, словно нехотя, вертелись, чуть-чуть подталкиваемые слабым юго-западным ветром. Лондонские ветряные двигатели были ничто в сравнении с ними. Самый большой из тех, какие до сих пор видел Грехэм, мог бы сойти разве за младшего брата этих великанов. Долина Уэя вся заросла кустами и деревьями, кроме одной широкой полосы, где на месте прежней железной дороги пролегла широкая идамитная дорога в Портсмут, в эту минуту густо усеянная движущимися черными точками. Там и сям мелькали зеленые пятна лугов, покрытых стадами овец Британского треста пищевых продуктов. Затем под кузовом моноплана пронеслись высоты Уилдена, гряда Хиндхедских холмов, Питч-Хилл и Лейс-Хилл со вторым внушительным рядом ветряных двигателей, которые, казалось, отбивали у конкурентов и ту слабую струю ветра, какая долетала до них. Подальше краснело поле вереска, окропленное желтыми пятнами дрока, и по нему бегало стадо черных быков, подгоняемое двумя пастухами верхом на лошадях. Все это пронеслось мимо и расплылось в туманной дали.

Грехэм устал смотреть и задумался. Писк какой-то маленькой птички, раздавшийся над самым его ухом, вывел его из забытья. Они пролетали теперь над Южным Даунсом. Он оглянулся через плечо и увидел холмы Портсдауна и выступавшие над ними зубчатые стены Портсмута. Вслед за тем показались ярко освещенные солнцем, уменьшенные расстоянием, но отчетливо видимые белые утесы Ниддлс. Еще минута, и перед ними выросли мачты кораблей — густой лес мачт,

целый плавучий город, — и впереди сверкнула стальным блеском узкая полоска воды. Вот внизу промелькнул остров Уайт, а за ним раскинулась широкая гладь открытого моря, то отливающая пурпуром в лучах солнца, то мутно-серая под набежавшим облачкам, то серебристо-зеркальная с зеленоватым оттенком, как стекло. Позади уже не видно было земли. Прошло еще несколько минут. От серой гряды облаков, застилавших горизонт, отделилась внизу длинная полоса с твердыми, определенными очертаниями и вскоре оказалась линией берега — северного берега Франции. Эта сверкающая на солнце полоска земли быстро вырастала в длину и в вышину и гостеприимно манила к себе все новыми и новыми деталями развертывавшегося веселого ландшафта.

Вскоре из-за горизонта выплыл Париж, дал одну минутку полюбоваться собой и снова погрузился за линию горизонта: моноплан, описав широкий полукруг, стал опять заворачивать к северу. Грехэм успел, однако, заметить Эйфелеву башню (она, стало быть, уцелела) и рядом с ней огромный купол какого-то нового здания, увенчанный высоким шпилем. Заметил он еще (хоть и не понял в то время значения этого явления), что со стороны города тянулся густой столб дыма. Пилот пробормотал что-то такое о беспорядках на подземных дорогах, но он пропустил это мимо ушей. Бесчисленные минареты и башенки, высоко подымавшие свои головы над лесом ветряных двигателей в своих порывах к небу, поразили его грандиозной легкостью своих очертаний: уже по одному этому он мог убедиться, что по части красоты и изящества Париж стоит, как и двести лет тому назад, впереди своего огромного соперника Лондона.

Грехэм повернул голову, чтобы бросить прощальный взгляд на удалявшуюся чудную панораму, и вдруг увидел, что над городом поднялось что-то голубоватое, легкое, как тень, и полетело по ветру, точно перышко или опавший лист. Потом описало дугу и понеслось прямо на них, быстро увеличиваясь в объеме. Пилот что-то сказал в пояснение.

— Что такое? — переспросил, не дослышав, Грехэм, не отрывавший глаз от голубого облачка, казавшегося живым.

— Лондонский аэроплан, государь! — прокричал пилот ему в ухо, указывая рукой на приближавшуюся тень.

Они взвились кверху, продолжая лететь на север. Аэроплан быстро нагонял. Вот он все ближе и ближе, все больше и больше…. Какими слабыми казались удары их маленького кормового винта, какою ничтожною — работа их машины в сравнении со стремительным полетом этого чудовища. Широко раскинув свои перепончатые прозрачные крылья, оно пронеслось под ними, точно живое существо. Перед Грехэмом мелькнули на миг эти могучие распластанные крылья; ряды закутанных пассажиров в свободно подвешенных креслах за стеклянными рамами, наглухо закрытыми от ветра; скорчившаяся за стеклянным щитом фигура пилота, вся в белом…. В ушах его пронесся грохот машины, мерный стук работающего винта…

Обогнав их, аэроплан стал подниматься. Крылья их маленького моноплана затрепетали от струи ветра, которую оставлял за собой великан в своем стремительном полете. Жадными глазами смотрел Грехэм ему вслед. Дикий восторг наполнял его грудь…. Но не успел он опомниться, как аэроплан был уже далеко впереди. Он снова начал опускаться, становясь все меньше и меньше. И не успели они, кажется, сдвинуться с места, как он опять превратился в голубое пятнышко, чуть видное в прозрачном воздухе.

Это был аэроплан, совершавший постоянные рейсы между Лондоном и Парижем. В мирное время и в безветренные дни он делал по четыре перелета в день, считая в оба конца.

Спустя несколько минут они снова летели над каналом — летели очень тихо, как казалось Грехэму, только теперь получившему истинное

представление о скорости воздушных полетов. С левой стороны впереди показалась линия берега.

— Земля! — закричал пилот, но голоса его почти не слышно было за свистом встречной струи воздуха, ударявшейся о навес. — Земля!

— Нет еще! — отозвался со смехом Грехэм, тоже крича во все горло. — Нет еще, не земля!.. Прежде я хочу хорошенько ознакомиться с этой машиной.

— Простите, государь, но я… — начал было пилот.

— Я хочу ознакомиться с этой машиной, — упрямо повторил Грехэм. — Я иду к вам.

Он быстро высвободился из своего кресла, поднялся на ноги и шагнул к месту пилота, держась за перила прохода, разделявшего их. На один миг у него закружилась голова; он побледнел и крепче уцепился за перила, но сейчас же овладел собой и в два шага очутился подле пилота. Ему сдавило грудь от напора воздуха. С него сорвало шляпу. Ветер трепал его волосы. Он с трудом удерживался на ногах. Пилот поспешно передвигал в машине какие-то гайки, чтобы восстановить нарушенное равновесие.

— Объясните мне, как вы управляете машиной, — сказал ему Грехэм. — Что нужно сделать, чтобы пустить ее в ход?

Пилот замялся.

— Машина эта очень сложного устройства, государь… — нерешительно пробормотал он.

— Все равно, объясните! — прокричал Грехэм.

Пилот молчал.

— Я, право, не знаю… — начал он наконец. — Воздухоплавание составляет привилегию… секрет…

— Знаю. Но я ваш повелитель и хочу знать этот секрет.

Он захохотал, возбужденный опьяняющим воздухом и непривычным сознанием своей власти.

Моноплан сделал крутой поворот к западу. Холодный ветер резанул Грехэма по лицу и закрутил плащ вокруг его ног. Два человека молча глядели друг другу в глаза.

— Государь! — заговорил пилот. — У нас существуют правила…

— Только не для меня, — перебил Грехэм. — Вы, кажется, забываете…

Пилот внимательно всматривался в его лицо.

— Нет, государь, я помню, — сказал он. — Но до сих пор ни один человек на земле, никто, кроме профессиональных пилотов, связанных обетом молчания, не управлял летательными аппаратами. Пассажиров не посвящают в этот секрет.

— Все это я уже слышал. Я не стану терять времени на пререкания с вами. Хотите знать, для чего я проспал двести лет? Хотите? Так я вам скажу: чтобы проснуться и летать.

— Но, государь если я нарушу наши правила, меня ждет…

Величественным взмахом руки Грехэм снял со своего подданного всю ответственность за нарушение правил.

— В таком случае, я подчиняюсь, — сказал пилот. — Извольте смотреть...

— Нет! — заорал Грехэм, покачнувшись и хватаясь за перила. Моноплан неожиданно повернулся носом кверху: начинался подъем, — Нет, не смотреть! Я хочу сам управлять. Сам, хотя бы мне пришлось сломать себе шею!.. Я сяду рядом с вами. Подвиньтесь, вот так. Я твердо решился научиться летать — пусть даже ценой моей жизни. Не даром же я спал столько лет! Летать было всегда моей заветной мечтой. И теперь.... Ну, пустите руки!

— Государь! За мной следят дюжины шпионов...

Грехэм вышел из себя. Ему доставляло какое-то особенное наслаждение давать волю своему гневу. С проклятием оттолкнул он пилота и нагнулся к рычагам. Машина закачалась.

— Кто господин здесь, на земле, — я или вы с вашим обществом?.. Прочь руки! Я сам возьмусь за руль, а вы держите меня за руки. Так. Теперь говорите: как сделать, чтобы мы опустились.

— Государь!..

— Ну что там еще?

— Вы защитите меня?

— Да, да! Весь Лондон спалю, а не дам вас в обиду.

Этим обещанием Грехэм заплатил за свой первый урок воздухоплавания. Пилот покорился.

— Для вас же лучше, если вы научите меня править. Как вы не понимаете, что это в ваших интересах? — говорил Грехэм с громким смехом, все больше и больше пьянея, — Ну-с, в какую сторону поворачивать руль? Сюда? Ага, понимаю!.. Ах, как хорошо!

— Назад, назад, государь!

— Назад? Ладно! Назад так назад... Раз, два, три! О господи, как хорошо!.. Теперь мы вверх полетели.... Вот это значит жить!

И вот аппарат начал выделывать в воздухе самые невероятные пируэты. Он то принимался кружиться спиралью, то стрелой взвивался вверх, то кидался вниз, как коршун на добычу, и, как ястреб, взмахом крыльев снова поднимался вверх. Во время одного из своих бешеных спусков он чуть не налетел на караван аэростатов, тянувшийся на юг, и только неожиданно ловким поворотом руля кое-как избежал столкновения в последний момент. Возбуждающее действие разреженного воздуха, необыкновенная быстрота и плавность движения и то ни с чем несравнимое ощущение легкости во всем теле, которое они вызывали, окончательно опьяняли Грехэма: он совсем обезумел.

Его отрезвило одно маленькое происшествие, заставив вернуться к грубой действительности, к той чуждой жизни с ее неразрешимыми загадками, которая ожидала его на земле. Ныряя в воздухе, моноплан столкнулся с чем-то живым, и Грехэм почувствовал, что на щеку ему упала теплая капля. Он оглянулся: за кормой кружилось что-то белое, падая вниз.

— Что это? — спросил он растерянно, забывая править рулем.

Моноплан клюнул носом и стал быстро опускаться. Пилот испуганно схватился за руль, и только когда машина приняла опять горизонтальное положение, он глубоко перевел дух и ответил:

— Это был лебедь. Мы убили его.

— Я его не заметил!.. — сказал Грехэм.

Пилот промолчал. Сконфуженный Грехэм предоставил ему править и перебрался на свое пассажирское место.

Некоторое время они летели в горизонтальном направлении, потом начали круто спускаться. Грехэм заглянул вниз: навстречу им, быстро вырастая, поднималась из темноты платформа летательной станции. Они спускались на землю, и вместе с ними опускалось солнце, садясь за тянувшиеся на западе меловые холмы и заливая небо золотым заревом своих прощальных лучей.

Вскоре можно уже было различить людей, толпившихся на платформе. Снизу доносился глухой шум, напоминавший гул морского прибоя. Грехэм оглянулся кругом: крыши домов вокруг станции чернели народом, собравшимся встречать своего властелина и ликовавшим по случаю его благополучного возвращения. Под арками помоста станции тоже стояла густая толпа: в темноте чуть белели бесчисленные ряды человеческих лиц, и в воздухе радостно мелькали белые носовые платки.

Глава XVII

ТРИ ДНЯ

Линкольн дожидался Грехэма в помещении под арками летательной станции. Он горел нетерпением узнать, как ему понравилось воздушное

путешествие, и вышел ему навстречу. Грехэм был в неописуемом восторге.

— Я должен научиться управлять машиной, — говорил он. — И непременно научусь. Это совсем не так трудно, — стоит только захотеть. А я хочу летать. Я жалею несчастных, которые умерли, не изведав этого блаженства. Купаться в чудном, живительном воздухе… нестись навстречу вольному ветру… Ничто не сравнится с этим дивным ощущением!

— Наш новый век, я надеюсь, доставит вам еще много таких ощущений, — заметил Линкольн. — Скажите, чем бы вы желали развлечься теперь? У нас есть, например, новый род музыки, которая, может быть…

— Нет. Пока я поглощен воздушными полетами и не могу думать ни о чем другом. Но ваш пилот мне сказал, что управление летательными аппаратами составляет профессиональную тайну, которую строго воспрещено открывать посторонним…

— Совершенно верно. Но вы — другое дело. Только прикажите, и мы завтра же зачислим вас в профессиональные аэронавты.

Грехэм горячо ухватился за это предложение и принялся опять распространяться о своих ощущениях во время полета.

— Ну, а дела как? — спросил он неожиданно, перебивая себя на полуслове. — Я и забыл про дела,

Линкольн ответил с деланной небрежностью: — Завтра Острог сам вам расскажет подробно…. Говоря вообще, все постепенно входит в норму. Революция восторжествовала во всем мире. Кое-какие трения, разумеется, всегда неизбежны, но ваша власть теперь крепка как

никогда. Пока Острог печется о ваших интересах, вы можете спать спокойно.

— А нельзя ли, — заговорил Грехэм после паузы, — зачислить меня в эти, как вы их называете… присяжные аэронавты… теперь же, сегодня? Тогда я мог бы завтра с утра начать мои уроки воздухоплавания.

— Что ж, это можно, — сказал, подумав, Линкольн. — Я вам это устрою, — Он засмеялся. — Я было шел сюда с блестящими предложениями… думал, предложить вам развлечься. Но вы, я вижу, уже выбрали себе развлечение. Тем лучше. Сейчас я протелефонирую в Департамент воздухоплавания, а потом мы вернемся в Управление, в ваши апартаменты. Вы пообедаете, а тем временем явятся и аэронавты…. Но, может быть, после обеда вы предпочли бы…

Он запнулся.

— Что? — спросил Грехэм.

— Мы, видите ли, думали угостить вас балетом. Нарочно для вас выписали танцовщиц с Капри. Тамошний театр славится своим балетом…

— Я ненавижу балет, — сухо ответил Грехэм. — Всегда ненавидел. И потом это слишком старо. Танцовщицы существовали еще в древнем Египте.

— Это правда. Но наши танцовщицы…

— Я не нуждаюсь в развлечениях. Танцовщицы могут подождать. Теперь я займусь воздухоплаванием. Меня вообще очень интересует устройство новых машин. Я хочу расспросить ваших техников…

— Весь мир к вашим услугам, — сказал Линкольн. — У вас широкий выбор. Вам остается только приказывать: все будет исполнено.

Явился Асано, и, как и прежде, под охраной полиции они вернулись тем же путем в апартаменты Грехэма. Толпа на улицах была теперь еще гуще. Народ провожал своего властелина громкими, радостными криками. Ответы Линкольна на нескончаемые вопросы Грехэма тонули в этом гаме. Сначала Грехэм отвечал улыбками и поклонами на приветствия, раздававшиеся со всех сторон, но Линкольн сделал ему маленькое внушение, объяснив, что такая простота обращения, по современным понятиям, не подобает его высокому сану и может быть сочтена неуместной, после чего человек девятнадцатого столетия, которому и самому надоело поминутно кивать головой, с большим удовольствием забыл о своих подданных на весь остаток пути.

Как только они вернулись в Управление ветряных двигателей, Линкольн, по требованию Грехэма, разослал гонцов за моделями всевозможных машин, по которым можно было бы наглядно уяснить себе успехи механики за последние два века. Асано, со своей стороны, вызвался продемонстрировать кинематографические снимки машин в действии. Небольшая моделька усовершенствованного телеграфа до такой степени заинтересовала Грехэма, что тонкий гастрономический обед, ожидавший его на столе, сервированном ловкими руками хорошеньких служанок, долго оставался нетронутым. Куренье табака давно уже стало архаической модой, но как только Грехэм выразил желание покурить, во все концы света полетели заказы, и к десерту на столе появился ящик превосходных сигар, доставленных из Флориды пневматической почтой.

Затем явились аэронавты и модели машин в сопровождении опытного инженера. Достижения новейшей техники одно за другим проходили перед изумленным взором Грехэма. Необыкновенная чистота и точность работы некоторых машин поразили его, и можно смело сказать, что все эти арифмометры, автоматические строители, элеваторы, прядильные станки, моторы, косилки и молотилки были для

него в данный момент гораздо привлекательнее самой обворожительной баядерки.

— Мы были дикарями! — твердил он в экстазе. — Как посмотришь на все эти чудеса, так подумаешь, что мы жили в каменном веке.... Ну-с, что же вы мне еще покажете, господа?..

Тут выступили на сцену ученые по другим отраслям знания. Перед Грехэмом были проделаны очень интересные опыты гипнотизма. Его современники, вероятно, удивились бы, если б знали, какой известностью будут пользоваться в XXII веке имена Милна Бромуэлла, Фехнера, Либо, Уильяма Джемса, Майерса и Гарин. Научные изыскания в области психологии получили теперь много практических применений, ставших общим достоянием. Лечение внушением почти окончательно вытеснило порошки и пилюли, антисептические и анестезирующие средства; к нему прибегали и все те, кто занимался умственным трудом. Благодаря гипнозу значительно расширилось поле интеллектуальной работы, доступной человеческим силам. Известные фокусы быстрого "счета в уме", поражавшие умением некоторых людей справляться с невероятно огромными числами, и "чудеса" месмеристов, какими привык Грехэм считать подобные явления, теперь могли быть проделаны каждым, кто мог оплатить услуги опытного гипнотизера. Старая система преподавания в школах была давным-давно упразднена и заменена новыми приемами. Экзаменов больше не существовало. Вместо того чтобы тратить годы на зубрежку, учащиеся прибегали к гипнозу. В течение нескольких недель с перерывами юношу усыпляли гипнозом. Гипнотизер читал ему параграф за параграфом учебную книгу, которую надо было пройти, и затем внушал, чтобы он все это запомнил. Особенно полезен был этот способ запоминания при изучении математических наук. Им пользовались также и многие игроки в шахматы. Короче говоря, все виды умственной работы, где мысль идет строго определенным логическим путем, были совершенно освобождены от бесплодных блужданий фантазии и доведены до идеальной точности мышления. Все дети рабочего класса, как только они достигали такого возраста, что могли выдерживать гипноз,

превращались этим способом в прекрасно обученных мастеров и ремесленников и, таким образом, избавлялись от долгого искуса подготовки. Ученики училищ воздухоплавания, страдавшие головокружением во время полетов, тем же способом вылечивались от своих воображаемых страхов. На каждом перекрестке можно было встретить гипнотизера, готового за самую дешевую плату прийти на помощь вашей слабой памяти и навеки запечатлеть в ней желаемый факт, имя, ряд чисел, мотив песни, ее слова. И обратно: вы могли, если хотели, изгладить из своей памяти любое воспоминание, отделаться от неудобных привычек, искоренить в себе то или другое желание. Такого рода психохирургические операции немало облегчали жизнь: человек забывал все, что было недостойного и унизительного в его прошлом; неутешные вдовы переставали оплакивать своих умерших мужей; ревнивые любовники освобождались от рабства любви. Но исполнение желаний было все еще неразрешенным вопросом, и факты передачи мыслей оставались лишь случайными фактами.

Гипнотизер, демонстрировавший свое искусство перед Грехэмом, закончил представление несколькими поразительными мнемоническими опытами над жалкими бледнолицыми детьми в голубых балахонах.

Грехэм, как и большинство его современников, боялся действия гипноза, иначе он мог бы давно облегчить свою душу от многих тягот. Но он держался того устарелого мнения, что, подвергаясь гипнозу, человек до известной степени теряет индивидуальность, отказывается от своей воли. Поэтому теперь, как ни убеждал его Линкольн, он решительно не пожелал отдать себя в руки гипнотизера. На этом блестящем пиршестве последних приобретений науки он хотел оставаться самим собой.

Так прошел день, еще день и еще. Наглядное ознакомление со всевозможными машинами чередовалось с уроками воздухоплавания, доставлявшими истинное наслаждение ученику. На третий день Грехэм пролетел над всей Францией и видел вдали снежные вершины Альп.

Здоровая усталость после движения на воздухе приносила ему крепкий сон. Он чувствовал себя бодрее и сильнее с каждым днем: от той безвольной анемии, которую он никак не мог стряхнуть с себя в первые дни после своего пробуждения, не оставалось и следов. Те часы, когда он не летал и не спал, заполнялись благодаря усердию Линкольна разнообразными развлечениями. Все, что было нового и любопытного в жизни двадцать второго столетия, проходило перед глазами Грехэма. Можно было бы наполнить целые тома описанием тех диковин, которые ему пришлось теперь увидеть, так что, при всем его интересе к новизне, он в конце концов почувствовал пресыщение.

Часа полтора ежедневно у него уходило на официальный прием. Его общий расплывчатый интерес к новым современникам, которых ему послала судьба, очень скоро стал приобретать личный характер: он начал разбираться в людях, у него явились симпатии и антипатии. Вначале все непривычное, каждая странность, которую он подмечал, поражала его: вычурность костюмов, какая-нибудь особенность в манерах и обращении, расходившаяся с его понятиями о приличиях, неприятно резала ему глаз и поднимала в нем враждебное чувство к этим, как он их называл про себя, "чудакам". Но потом это прошло, прошло так бесследно, что ему самому казалось странным, как он мог так чувствовать когда-нибудь. Он совершенно освоился со своим положением, вошел в новую жизнь, и его прошлое, времена королевы Виктории, отошли бог знает куда, в туманную даль.

В течение этих трех дней он несколько раз встречался с хорошенькой рыжеволосой дочкой директора Общеевропейских свиных заводов и только теперь вполне оценил ее общество. На второй день его водили в балет, где он видел современную знаменитость — танцовщицу новой школы, — и не мог не признать ее необыкновенной артисткой. В конце третьего дня Линкольн деликатно намекнул Грехэму, не угодно ли ему будет теперь посетить "Веселые Города", но тот решительно не пожелал понять намека. Не менее решительно отказался он и от услуг гипнотизеров, которые, как уверял Линкольн,

могли посредством внушения сделать вполне безопасными его эксперименты воздухоплавания.

Он все больше кружился над Лондоном в своих воздушных полетах. К Лондону его привязывала нить старых воспоминаний. Узнавать знакомые места было для него неисчерпаемым источником интереса. "Вот здесь, прямо под нами, был ресторан, где я обыкновенно обедал в мои студенческие годы, — говорил он, — А здесь была станция Ватерлооской железной дороги. Какая там кипела жизнь! Можно было запутаться во всех этих приходящих и отходящих поездах. Сколько раз я, бывало, стоял на платформе в ожидании своего поезда с саквояжем в руке и смотрел вперед вдоль полотна на бесконечные ряды сменявшихся сигналов. Не думал я тогда, что буду через много-много лет пролетать над этим местом на моноплане".

В эти три дня внимание Грехэма было до такой степени поглощено всякими новинками во всех областях знания, что он совсем забыл о важных политических событиях, разыгрывавшихся за стенами его палат. Никто из окружающих не говорил о политических делах. Правда, к нему ежедневно являлся его великий визирь, его майордом Острог, и в туманных выражениях докладывал ему о дальнейшем ходе укрепления его власти, упоминая при этом о "небольших беспорядках" в таком-то городе или о "недовольстве" в другом; но все это говорилось как-то вскользь и всегда заканчивалось успокоительным заверением, что "все будет скоро улажено, и тогда..." Ни разу за все это время не долетал до слуха Грехэма и торжественный напев революционного гимна: он не знал, что пение этого гимна было запрещено в черте города. И мало-помалу в душе его засыпали благородные чувства, так волновавшие его в ту минуту, когда он смотрел на город с вышки "вороньего гнезда".

Но уже к концу второго дня, несмотря на весь его интерес к рыжеволосой красавице, а может быть, даже именно благодаря частым разговорам с нею и той ассоциации мыслей, которую они вызывали, его начало тревожить воспоминание об Элен Уоттон и об ее таинственных

словах во время их последнего свидания. Образ этой девушки глубоко запечатлелся в его душе. Беспрерывная смена впечатлений за последние дни заставила померкнуть этот образ на время, но теперь он снова ожил и манил его к себе. Что значили ее отрывочные странные намеки? Что она хотела сказать?.. По мере того как ему приедались эти "последние слова" техники и всякие новинки, которыми его угощали, ему все чаще вспоминались ее строгие глаза и глубокое волнение, так ясно читавшееся на ее благородном лице.

Глава XVIII

ГРЕХЭМ ВСПОМИНАЕТ

Они встретились в галерее, соединявшей его парадные покои с помещением Управления. Галерея была узкая и длинная, с рядами сводчатых ниш по бокам. В каждой нише было большое окно, выходившее в роскошный сад.

Он наткнулся на нее неожиданно: она сидела в одной из ниш. Она повернула голову на шум шагов и вздрогнула, увидев его. Румянец сбежал с ее лица.

Она быстро встала, шагнула ему навстречу и остановилась в нерешимости. Он подошел и тоже остановился, выжидая, что она скажет. Он понял, что она его ждала, искала встречи с ним, иначе зачем бы она очутилась в этой галерее? Она хотела заговорить и не могла: волнение душило ее.

— Я хотел вас видеть! — сказал он. — Все это время я думал о вас и хотел вас видеть. Несколько дней тому назад вы начали говорить… вы мне хотели что-то сказать… что-то такое о народе… Что вы хотели сказать?

Она взглянула на него: в ее глазах была тревога.

— Вы говорили тогда, что народ очень несчастлив…

С секунду она продолжала молчать, потом сказала резко:

— Я вас, должно быть, удивила тогда.

— Удивили. Но вы…

— Я сказала сущую правду. — Она опять подняла на него глаза, не решаясь продолжать. Наконец глубоко перевела дух и заговорила с усилием: — Вы… забываете народ.

— То есть как?

— Вы забываете народ, — повторила она.

Он смотрел на нее вопросительно, не понимая.

— Я знаю, вы удивлены. И немудрено: вы не понимаете, что вы значите для народа. Вы не знаете, что творится кругом. Вам многое непонятно.

— Вы, пожалуй, правы. Но если так, объясните…

Она повернулась к нему с внезапной решимостью.

— Это очень трудно объяснить. Я думала… я давно хотела с вами поговорить. А теперь не знаю как. Нет слов…. То, что с вами случилось, так необыкновенно… Ваш сон, ваше пробуждение — чудо. Для меня, по крайней мере, и для всего народа. Вы жили, страдали и умерли простым гражданином, а проснулись властелином земли.

— Властелином земли, — повторил он задумчиво. — Да, так мне говорят. Но вы постарайтесь ясно представить себе, как я был далек от этой мысли и как мне теперь трудно понять.... Эта чуждая, новая жизнь... царство городов, крупных предприятий... все эти тресты, рабочие союзы.... Потом эта власть и почет.... Да, власть. Я слышал, как они кричали мне вслед. Я властелин — я знаю. Если хотите — царь с великим визирем Острогом, который...

Он не договорил.

Ее глаза с пристальным вниманием остановились на его лице.

— Что же дальше? — спросила она. Он улыбнулся.

— ...который готов принять на себя всю ответственность.

— Вот именно этого мы и боялись, — сказала она и после минутного молчания продолжала спокойно и твердо: — Нет. За все отвечаете вы, а не он. Вы должны принять на себя всю ответственность. На вас все упования народа. Послушайте, — заговорила она мягче, — в течение, по крайней мере, половины тех лет, которые вы проспали, миллионы народа из поколения в поколение молились о том, чтобы вы проснулись. Молились!

Он сделал движение, хотел что-то сказать и не мог. Она тоже молчала, собираясь с силами, чтобы продолжать. Слабый румянец выступил у нее на щеках.

— Знаете ли вы, что для этих миллионов людей вы были королем Артуром, Барбароссой... Они верили, что этот король пробудится от сна, когда пробьет его час, и восстановит их права.

— Но ведь народная фантазия всегда...

— Слыхали вы нашу поговорку: "Когда проснется Спящий"? Все эти годы, пока вы лежали недвижимым, бесчувственным трупом, на вас приходили смотреть тысячи тысяч. Публика допускалась к вам каждое первое число. Вы лежали, прибранный, в белой одежде, и мимо вашего ложа тянулись вереницы народа в почтительной тишине. Я была еще маленькой девочкой, когда меня привели к вам в первый раз. Помню, с каким благоговейным страхом я смотрела на ваше бледное, спокойное лицо.

Она отвернулась и, не глядя на него, упавшим голосом продолжала:

— Я смотрела тогда на ваше лицо, и мне казалось, что вы только ждете... что вы не просыпаетесь и молчите только потому, что еще не исполнилась мера вашего долготерпения. — Она опять повернулась к нему. — Вот что я... что все мы о вас думали. Вот каким вы нам представлялись. — Глаза ее блестели, голос звенел. — И в этом городе и повсюду по всей земле мириады мириад мужчин и женщин ловят каждое ваше слово, каждое ваше движение. Все ждут от вас чуда, — всего! И если...

— Если?..

— Если ожидания их будут обмануты, ответственность ляжет не на Острога, а на вас.

Он с удивлением глядел на ее сияющее, вдохновенное лицо. Как трудно было ей заговорить, и как свободно лилась, каким горячим чувством звучала теперь ее речь!

— Неужели вы думаете, — говорила она, — что вы, маленький человек, проживший свою маленькую жизнь в далеком прошлом, стоите чего-нибудь сами по себе? Неужели все это чудо — чудо вашего векового сна и вашего пробуждения — совершилось только затем, чтобы вы могли прожить вторую никому не нужную жизнь? На вас

сосредоточилась вся любовь, все благоговение, все надежды половины мира. И неужели после этого вы считаете себя вправе свалить ответственность на другого?

— Я знаю… — начал он запинаясь, — все говорят, что власть моя велика — по крайней мере, в глазах народа. Но насколько она реальна, действительна — вот вопрос. Я не могу в нее поверить. Это какая-то сказка, сон… Может быть, моя власть — просто мыльный пузырь, который лопнет от первого толчка.

— Испытайте!

— Впрочем, в сущности, ведь и всякая власть есть лишь иллюзия в умах людей, которые в нее верят. В этой-то вере вся моя власть. Но крепка ли моя власть?

— Испытайте! — повторила она, — Вы говорите власть — в вере людей. Но ведь этих людей миллионы, и пока они верят, они будут повиноваться.

— Но поймите же: я ничего не знаю. Я как впотьмах…. Совсем другое Острог, члены Совета. Они в курсе дела. Весь ход событий, все условия современной жизни известны им до последних мелочей. Им легко прийти к тому или другому решению. Вот вы сказали, что народ несчастлив. А в чем его несчастье, как мне знать? Научите меня ради бога…

Он растерянно протянул к ней руки.

— Я только слабая женщина, и не мне вас учить, — проговорила она. — Но я скажу вам, что я думаю. О, сколько раз я горячо молилась дожить до этого часа, увидишь вас и все вам рассказать…. Так знайте же, земля залита морем человеческих слез. Мир полон горя. Мир страшно изменился. От тех времен, когда жили вы и ваши

современники, ничего не осталось. Точно какая-то неизлечимая смертельная язва поразила человечество и высосала из него жизнь.

Она подняла на него свои строгие глаза, горевшие мучительным волнением, и заговорила с новой энергией:

— Ваши дни были днями свободы. Да. Я всегда так думала, думала с завистью, потому что не знала счастья в моей жизни…. За эти два столетия люди потеряли свободу и не сделались ни выше, ни лучше, чем были в ваше время. Знайте: этот город — тюрьма. Теперь каждый город — тюрьма, и ключи от всех этих тюрем у Мамоны. Несчетные мириады людей трудятся как каторжные от колыбели до могилы, без всякого просвета впереди. Неужели это справедливо? И неужели так будет всегда? О да, у нас гораздо, несравненно хуже, чем было у вас. Кругом, куда ни взгляни, ничего, кроме нужды и горя. Те блага житейские, те суетные удовольствия, которые вас окружают, лежат на грани такой нищеты, такого страдания, что их не перескажешь словами. Только беднякам известно, как они страдают. И тысячи таких бедняков приняли за вас смерть в последние дни. Да, вы обязаны им жизнью.

— Я обязан им жизнью, я знаю, — печально повторил Грехэм.

— В ваше время тирания городов только еще зарождалась, — продолжала она, — А это самая ужасная тирания. В ваше время господство лордов, феодалов уже отошло в прошлое, а господство новой денежной аристократии еще не утвердилось. Половина человечества жила по деревням, среди природы. Города еще не поглотили людей. Помню, мне в детстве рассказывали повести из книг того времени…. О, тогда была настоящая аристократия, истинное благородство! Да и простые смертные жили полной человеческой жизнью. Они знали, что такое честь, что такое любовь. И вы это знаете: вы пришли из того мира.

— Простите, вы немножко идеализируете.... Но все равно. Допустим, что в мое время человечество знало много хороших вещей. Ну, а теперь?

— Теперь оно знает наживу и "Веселые Города", да еще рабство — вечное, позорное рабство.

— Рабство...

— Да, рабство.

— Неужели вы хотите сказать, что в ваше время люди владеют людьми, как скотом или недвижимой собственностью?

— Хуже. Вы ничего не знаете. От вас скрывают, Вас развлекают, чтобы отвлечь ваше внимание... Скоро вас повезут в "Веселые Города". Но надо, чтобы вы узнали правду. Видели вы на улицах людей в голубом — мужчин, детей и женщин с испитыми, желтыми-желтыми лицами, с потускневшими глазами?

— Еще бы! Их целые тысячи. На них натыкаешься на каждом шагу.

— Все они говорят на отвратительном жаргоне, очень слабо напоминающем английский язык.

— Да, я заметил.

— Это невольники — ваши невольники. Рабы Рабочего Общества, которого вы хозяин.

— Рабочего Общества?.. Позвольте, я, кажется, припоминаю.... Когда я блуждал по городу после своего побега, я видел несколько домов...

Огромные дома казарменной постройки, все на один образец, выкрашены голубою краской. Так это…

— Ну да, это дома Рабочего Общества. Как бы вам объяснить?.. Вас, конечно, поразило это преобладание голубого цвета, это однообразие костюмов… точно казенный мундир…. Так вот почти треть населения нашего города носит этот мундир. А скоро будет носить половина. Рабочее Общество разрослось незаметно.

— Но что же это за общество? Объясните.

— Скажите, как поступали в ваше время с людьми, которым грозила голодная смерть?

— У нас были работные дома, содержавшиеся на счет городских приходов.

— Ах, да, работные дома. Я помню, о них говорится в истории. Так вот Рабочее Общество поглотило, вытеснило работные дома. Оно выросло из этой, как она называлась?.. — вы, наверно, помните — из Армии Спасения. Но с течением времени из религиозной организации она превратилась в коммерческое предприятие. Благотворительность — такова была первоначальная идея этого учреждения. Оно задавалось целью доставлять заработок голодному, бездомному люду, спасало его от работных домов. Но потом Совет ваших опекунов прибрал Рабочее Общество к своим рукам, — к слову сказать, это было одно из первых приобретений Совета… Совет купил вашу Армию Спасения, и с тех пор характер учреждения совершенно изменился. Оно разбогатело и невероятно разрослось. Теперь нет ни работных домов, ни приютов, ни богаделен. Есть только Рабочее Общество. Его отделения разбросаны по всему миру. Повсюду вы увидите проклятый голубой мундир. Всякий рабочий — будь то мужчина, женщина или ребенок, — если он заболел или лишился заработка, в конце концов непременно попадает в лапы Рабочего Общества. Всем бесприютным и голодным только две дороги:

или в голубую казарму или в омут головой. "Веселые Города", где так хорошо и незаметно помогают отправиться на тот свет, этим людям не по карману: легкой смерти не бывает для бедняков. А в казармах Рабочего Общества в любой час дня и ночи они находят кров и пищу, но под непременным условием — облечься в голубой мундир. С каждого приходящего за каждый день приюта берут день работы, а затем возвращают ему его платье и отпускают на все четыре стороны.

— Он, стало быть, свободен?

— Вам кажется, что это совсем не так ужасно? В ваше время люди умирали с голоду на улицах. Казалось, чего уж хуже. Но они умирали людьми. А эти, в голубой холстине... У нас есть пословица: "Голубую блузу только надень, — в ней ляжешь и в могилу". Рабочее общество живет трудом бедняков и уж, конечно, принимает меры, чтобы обеспечить за собой этот труд. Является голодный, беспомощный человек, его кормят, дают ему выспаться, а там — изволь работать. Если он хорошо поработал, ему в поощрение дают два-три пенса на дешевое место в театре в кинематографе, в танцевальном зале, на общественном обеде или на гонках. А на другой день что ему делать? Куда идти? Просить милостыню запрещено: городская полиция строго преследует нищих. Да никто и не подаст милостыни. И возвращается человек день за днем все в ту же голубую казарму. Собственное его платье, наконец, изнашивается, превращается в такие лохмотья, что стыдно показаться на улице. Надо проработать несколько месяцев, чтобы скопить на новое. Да и зачем ему свое платье? Ведь он уже казенный человек. Огромное большинство детей рабочих классов родится в родильных приютах Рабочего Общества.

За каждого такого ребенка мать обязана проработать месяц на Общество. Ребенка кормят, одевают и учат до четырнадцати лет, и за это он расплачивается двухлетней работой. И такой ребенок уж никогда не снимет голубой блузы — будьте уверены.... Вот как Рабочее Общество обделывает свои дела.

— У вас, стало быть, нет ни нищих, ни бродяг?

— Нет. Все кандидаты в бродяги работают на Общество или сидят в тюрьме.

— А если такой кандидат не хочет работать?

— Заставят. От голубой казармы ему не уйти. А у них там умеют справляться с непокорными. У них есть целая градация взысканий за леность: лишение обеда и мало ли что еще.... Нет, у нас не допускаются бродяги. Уехать же из города бедный человек не имеет возможности. Проезд до Парижа стоит два льва. Бедняки должны сидеть на месте, работать и не протестовать. А для непокорных у нас есть тюрьмы — темные, отвратительные. За малейший проступок — тюрьма.

— Вы говорите, почти треть населения ходит в голубой холстине?

— Теперь уже более трети. Страшно подумать: чуть ли не половина народа живет жизнью рабочего скота. Ни радости, ни надежды, никаких человеческих чувств. Единственное развлечение: слушать рассказы про "Веселые Города", существующие, словно в насмешку над позорной жизнью бедняка, его нищетой и страданиями. По всему миру разбросаны эти миллионы искалеченных, безгласных людей, не знающих ничего, кроме вечных лишений и неудовлетворенных желаний. Они родятся, живут, как скот, и умирают. Вот до какого состояния мы дошли!

Грехэм молчал, совершенно подавленный.

— Но ведь теперь все это изменилось, — проговорил он наконец. — Недаром же была революция. Острог…

— Да, на революцию была вся надежда. Весь мир ее ждал. Но только не Острог даст народу то, что ему нужно. Острог — политик. Он

не верит в лучшее будущее, да и не желает его. Страдания народа, по его мнению, неизбежное зло. Впрочем, таково мнение всех сильных мира, всех богатых и счастливых людей. Народ им нужен для достижения их политических целей: ведь унижением народа они только и живут…. Но вы пришли из другой, более светлой эпохи. Все свои упования народ возлагает на вас.

Он, не отрываясь, глядел на нее. В ее глазах блестели слезы. Горячая волна прихлынула ему к сердцу. В этот миг он забыл и народ, за который она так горячо ратовала, и голос совести, заговоривший в нем, — забыл все на свете под непосредственным впечатлением ее одухотворенной красоты.

— Но что же мне делать? Говорите! — вымолвил он, не сводя с нее глаз.

Она наклонилась к нему и ответила почти шепотом:

— Править. Править миром, как никто еще не правил до сих пор, — на благо и счастье людей. Вы это сможете, если захотите. Народ зашевелился везде, во всех концах мира. Даже средние классы недовольны существующим порядком вещей. Довольно одного слова, чтобы все восстали как один человек. Скажите это слово. Вы не знаете, что творится кругом. Вам не говорят. Народ не хочет больше возвращаться к своему рабскому труду. Народ отказывается сложить оружие…. Не думал Острог, что, разбудив в нем надежды, он разбудит спящего льва.

У Грехэма сердце так билось, что он не мог говорить. Он старался справиться со своим волнением и вдуматься в ее слова.

— Народ ждет только вождя, — продолжала она. — Будьте же этим вождем: вы — властелин мира.

Он, наконец, отвел глаза от ее лица и сел. Наступило молчание.

— Старые мечты… старые грезы: свобода, всеобщее счастье! — заговорил он тихо. — Я сам когда-то об этом мечтал. Но может ли один человек… один?

Голос его пресекся, он замолчал.

— Нет, не один, а все, все человечество, все люди! Им нужен только вождь, человек, который смело, высказал бы то, по чему они томятся, чего они хотят.

Он грустно покачал головой. С минуту оба молчали. Вдруг он поднял голову. Глаза их встретились.

— У меня нет вашей веры, нет вашей молодости, — сказал он. — И я далеко не всесилен. Моя власть — только призрак власти…. Постойте, дайте договорить… Я искренно хочу — не скажу: дать человечеству счастье — это не в моих силах, — а облегчить ему жизнь. Не от меня зависит, чтобы на земле наступил золотой век. Но вы правы: я должен действовать. И я буду действовать — это я твердо решил. Вы меня разбудили…. Я сокращу Острога: он узнает свое место. Рабство рабочих прекратится — это я, во всяком случае, вам обещаю.

— Так вы будете править? Да?

— Да, но с условием…

— С каким?

— Вы будете мне помогать.

— Я?! Но что же я могу?

— Неужели вы не понимаете, что и я один не могу? Ведь я совсем, совсем один…

Она подняла на него глаза, и взгляд ее смягчился.

— Нужно ли говорить, что я готова прийти вам на помощь? — сказала она.

— Я так беспомощен…

— Отец и хозяин, — сказала она, — Мир — ваш.

Они молчали. Вдруг ударил колокол, отбивающий часы.

— Хорошо, я буду править, — проговорил он медленно и, помолчав, докончил: — С вами.

Опять наступила длинная пауза. Часы пробили час. Она продолжала молчать. Грехэм встал.

— Острог меня ждет. — Он смотрел на нее, собираясь еще что-то сказать, — Когда я стал было расспрашивать его, он…. Но все равно: я и сам все узнаю. Все то, о чем вы мне говорили, я хочу видеть своими глазами. Я обойду город и посмотрю. А когда я вернусь…

— Я буду знать о вашем возвращении и буду ждать вас здесь.

Он постоял еще немного, ожидая, не прибавит ли она чего-нибудь, но она молчала. Они еще раз посмотрели друг другу в глаза испытующим взглядом; потом он повернулся и пошел в приемные комнаты Управления.

Глава XIX

ТОЧКА ЗРЕНИЯ ОСТРОГА

Острог уже ждал Грехэма, чтобы отдать ему обычный отчет о событиях дня. Насколько прежде Грехэм всегда спешил отбыть эту церемонию, чтобы поскорее отдаться своему любимому занятию — урокам воздухоплавания, настолько же теперь он затягивал ее, поминутно прерывая докладчика короткими, быстрыми вопросами. Ему не терпелось взять бразды правления в свои руки и показать свою власть. Известия Острога о положении дел за границей были самые утешительные. В Париже и в Берлине, правда, произошли небольшие волнения, но то был лишь "слабый, неорганизованный протест", и в обоих городах порядок скоро был восстановлен.

— Дело в том, — прибавил Острог, понукаемый настойчивыми расспросами Грехэма, — что за последние годы Коммуна снова подняла голову. В этом-то, собственно говоря, и коренится главная причина теперешней борьбы.

Тогда Грехэм, становившийся с виду тем спокойнее, чем больше он волновался, спросил, не было ли в городе вооруженных столкновений.

— Было одно небольшое… в одном только квартале. Но, к счастью, на место вовремя подоспели аэропланы с Сенегальской дивизией нашей африканской сельской полиции. Полиция Соединенного Африканского Общества прекрасно обучена… Мы ожидали беспорядков в континентальных городах и в Америке. Но в Америке все спокойно. Все очень довольны низвержением Совета, по крайней мере пока.

— А почему вы ожидали беспорядков? — резко спросил Грехэм.

— В низах идет брожение. Народ недоволен существующим строем.

— Рабочим Обществом, может быть?

— Вы быстро учитесь, я вижу, — вырвалось у Острога. Но он сейчас же спохватился и ответил спокойно: — Да, недовольны они главным образом Рабочим Обществом. Это недовольство и было первой причиной, вызвавшей революцию. А ваше пробуждение послужило для нее ближайшим толчком.

— А затем?

Острог улыбнулся.

— Ну-с, все это было нам как нельзя более на руку. — Он становился совсем откровенным. — Мы постарались расшевелить это недовольство. Мы воскресили старые идеалы всеобщего счастья, покоившиеся мирным сном в течение двух столетий. Старые, отжившие идеи: все равны… все благоденствуют… каждый имеет свою долю на жизненном пиру и так далее, и так далее. Вам это, конечно, знакомо. Несбыточные глупые бредни! Но нам они пригодились: без них мы бы не могли низвергнуть Совет. А теперь…

— Теперь?

— Теперь революция завершилась, Совет пал, но народ продолжает волноваться. Видно, мало усмиряли… Правда, мы сами раззадорили его обещаниями. Удивительно, с какой силой и быстротой оживает и разрастается этот расплывчатый гуманизм вашей допотопной эпохи. Даже мы были поражены успехами революции — мы, сами посеявшие ее семя…Пришлось прибегнуть к силе. В Париже, как я вам уже говорил, мы были вынуждены вызвать подкрепление из-за границы.

— А здесь?

— И здесь не все идет гладко. Десятки тысяч рабочих не хотят возвращаться к работе: объявили всеобщую забастовку. Половина фабрик пустует. Народ толпится на улицах. Толкуют про Коммуну.

Человек в приличном костюме не может показаться на улице, чтобы не подвергнуться оскорблениям. Голубые ждут от вас великих и богатых милостей. Но вам нечего беспокоиться. Мы приняли меры. Говорильные машины расставлены во всех частях города и красноречиво призывают к порядку. Стоит только не выпускать из рук узды, и мы их усмирим. Мы действуем смело.

Грехэм ответил не сразу. Он обдумывал свои возражения, не желая быть слишком резким.

— Я знаю, — проговорил он, наконец, очень сдержанно, — вы даже негров из Африки вызываете для усмирений.

— Негры — полезный народ, — заметил спокойно Острог. — Хорошая рабочая сила. Здоровые, послушные животные, не зараженные вредными идеями, как наша здешняя сволочь. Если б Совет в свое время организовал из негров городскую полицию, дела могли бы принять другой оборот…. Но вам-то, повторяю, нечего бояться, здесь ничего не может произойти, кроме отдельных маленьких вспышек. И, наконец, в крайнем случае, у вас есть собственные крылья, и в случае нужды вы улетите на Капри: вы ведь теперь умеете летать…. Все главные ресурсы современной техники в нашем распоряжении. Наши инженеры ветряных двигателей получают такое огромное жалованье, что уж, конечно, останутся нам верны. То же самое и аэронавты. Все летательные аппараты, таким образом, в наших руках, и мы полные господа воздушной стихии. А в наше время быть господином воздуха — значит быть господином земли. Против нас не может организоваться никакая сколько-нибудь крупная сила. У них нет даже вождей, если не считать вожаков нескольких отделов тайного сообщества, которое мы же и учредили незадолго до вашего пробуждения. Все это мелкие честолюбцы или сентиментальные дураки. Все завидуют друг другу и грызутся между собой. Ни один не может стать центральной фигурой. Стихийное движение, народный мятеж — вот единственное, чего еще мы можем опасаться. Это возможно, не скрою. Но это не помешает

вашим воздушным полетам. Те времена, когда народные массы могли делать перевороты, давно миновали.

— Кажется, что так, — задумчиво проговорил Грехэм. — Вообще ваш век, должен дознаться, поражает меня неожиданностями. Мы в наше время, помню, бредили демократическим строем, мечтали о наступлении блаженной поры, когда все люди будут, как братья, и не будет обездоленных на земле.

Острог бросил на него острый взгляд.

— Дни демократизма прошли, — сказал он. — Прошли и не вернутся. Они кончились с той минуты, когда народные массы перестали одерживать победы, когда на смену лучникам Кресси и марширующей пехоте пришли дорогостоящие пушки, броненосцы и стратегические железные дороги. Мы живем в эпоху торжества капитала. Владычество денег никогда еще не было так велико. Деньги подчинили себе землю, море и небо. И за теми, кто владеет этой новой силой, — вся власть. Таковы факты, а с фактами приходится считаться… Мир для толпы?! Толпа — властелин мира?.. Помилуйте! Да даже в ваше время это положение было отвергнуто, как нелепость. Теперь же оно имеет лишь одного сторонника — бессильного, ничтожного — человека толпы.

Грехэм молчал, подавленный мрачными думами.

— Но царство толпы миновало, — продолжал Острог. — Люди толпы еще могли развернуться в деревне, на просторе полей. Тогда народилась первая аристократия — аристократия захвата власти. То были смельчаки, проявлявшие свое удальство набегами, поединками, грабежами. Но их строго усмирили. Первая долговечная аристократия, закованная в железные доспехи, возникла вместе с укрепленными замками. Но и она не устояла перед пушкой и ружьем. Ныне наступило царство второй аристократии — настоящей. Дни огнестрельного оружия были сравнительно еще днями демократизма. Теперь же человек толпы

— ничтожество, ноль. Наш век — век колоссальных предприятий, гигантских машин, чудовищных городов. Где же рядовому человеку разобраться в этом сложном механизме общественных отношений?

— Однако же вы сами говорите, что у вас не все идет гладко, — заметил Грехэм, — Есть какая-то сила, которую вам приходится сдерживать, подавлять.

— О, на этот счет можете быть покойны, — ответил с принужденной улыбкой Острог, отмахивая в сторону все затруднения величественным жестом руки. — Поверьте, не затем я поднял эту силу, чтобы она обрушилась на меня.

Грехэм вдруг выпрямился и заговорил другим голосом:

— Не в этом вопрос.

Острог насторожился.

— Неужели так будет всегда? — продолжал Грехэм уже с нескрываемым волнением. — Неужели так должно быть? Неужели напрасны были все наши надежды?

— Что вы хотите сказать? Какие надежды? — спросил растерянно Острог.

— Я жил в демократический век. Спустя двести лет я попадаю в другую, новую эпоху, и что же я застаю? Аристократическую тиранию!

— Да. Но вы забываете, что вы сами — главный тиран.

Грехэм сдвинул брови.

— Но хорошо, оставим в стороне личности, — сказал Острог. — В том, что вы видите кругом, нет ничего ненормального. Господство аристократии, то есть избранных, лучших, страдания и вымирание неприспособленных — таков естественный ход прогресса.

— Вы говорите — аристократия. Да неужели же все эти господа, с которыми я теперь встречаюсь...

— О нет, не эти! — перебил Острог, — Это конченые люди. Легкая жизнь и разврат очень скоро сведут их в могилу. Все они умрут, не оставив потомства. Такие типы заранее обречены на вымирание; конечно, если человечество пойдет тем путем, каким оно шло до сих пор, и не свернет на другую дорогу. Широкий простор для всевозможных эксцессов, облегчение перехода к небытию для прожигателей жизни!

— Все это прекрасно, — сказал Грехэм. — Но, кроме прожигателей жизни, есть еще толпа — миллионы трудящегося бедного люда. А этим что же остается? Тоже вымирать?.. Нет, эти не вымрут, они будут жить. Но они страдают, и страдания их — такая сила, которую даже вы...

Острог нетерпеливо дернул плечом, и когда он снова заговорил, голос его звучал уже далеко не так елейно:

— Напрасно вы волнуетесь. Дня через три-четыре все будет улажено. Толпа — большое глупое животное, и не нам бояться ее. Толпа не вымрет, вы правы, но толпу укрощают и ведут за собой. Я ненавижу рабов. Вы, верно, слышали два дня тому назад, как орала и пела на улицах эта сволочь. Это они с чужого голоса пели. Если б вы попросили любого из них объяснить, ради чего он так надсаживается, он не сумел бы ответить. Они воображают, что старались для вас, хотели доказать вам свою верность и преданность. Еще вчера они готовы были своими руками передушить всех членов Совета, а сегодня уже ропщут на нас за то, что мы низвергли Совет.

— Неправда! — перебил Грехэм. — Они ропщут потому, что у них не стало больше терпения, потому что их жизнь — сплошная мука. Они взывают ко мне, потому что верят в меня и надеются…

— На что надеются? И на каком основании? Какие их права? Получать щедрую плату за никуда негодную работу — вот чего они требуют, чего хотят… На что они могут надеяться? На что и вообще-то может надеяться человечество? Что придет день, когда на земле воцарится сверхчеловек, когда все низшее, слабое, скотское будет или вычеркнуто из жизни, или покорено. Убогим, слабоумным выродкам нет места в этом мире. Их прямой долг, святая обязанность — умереть. Смерть неудачникам! Лишь этим путем вымирания слабых могла инфузория дорасти до человека, и этот же путь, надо надеяться, поможет человеку дорасти до существа высшего порядка.

Острог прошелся по комнате, что-то обдумывая, потом снова повернулся к Грехэму.

— Я представляю себе, какою должна казаться наша сложная жизнь англичанину времен Виктории. Вам жаль старых обычаев. Выборное начало…. Даже и нас, людей двадцать второго столетия, еще тревожат призраки этих отживших учреждений…. Вас возмущают наши "Веселые Города". Мне следовало раньше об этом подумать, но я был так занят, что упустил из виду…Но все равно: вы скоро сами поймете и взглянете на дело иначе. Наша чернь готова, пожалуй, сочувствовать вашим теперешним взглядам — из зависти. Ей недоступны дорогие развлечения, и вот она кричит на улицах: "Долой "Веселые Города!" Но "Веселые Города" необходимы. Это наши клоаки, через которые государство извергает свои нечистоты. Из года в год они своими приманками стягивают к себе все слабое, безвольное и порочное, все, что только есть ленивого и непригодного к жизни в стране, и незаметно, шаг за шагом, приводят все эти отбросы человечества к беспечальной смерти. Люди едут туда, живут, веселятся и умирают бездетными, ибо у женщин легкого поведения не бывает детей, а человечество остается только в выигрыше. Если б народ не был так

глуп, он бы не завидовал богачам. Вы говорите, мы поработили народ, вы хотели бы улучшить его положение, облегчить ему жизнь. Но ведь трудящиеся классы — это рабочий скот, и если они опустились так низко, значит на лучшее они неспособны. — Он улыбнулся так цинично, что Грехэму захотелось ударить его. — Вы скоро сами в этом убедитесь, вот увидите. Мне хорошо знакомы все эти высокопарные, великодушные идеи: в ранней юности я читал вашего Шелли и тоже бредил свободой. Теперь-то я знаю, что все это химеры. Только ум, знания и сильная воля делают человека свободным. Свобода внутри нас. Если бы этому стаду безмозглых баранов в синей холстине сегодня удалось освободиться от нашего ига, поверьте, оно завтра же нашло бы новых господ. Пока на свете есть овцы, будут и хищные звери. Пришествие аристократии — фатальная необходимость: весь вопрос лишь во времени. И сколько там ни протестуй глупое человечество, в конце, концов мы придем к сверхчеловеку. Пусть чернь бунтует, пусть даже останется победительницей и перебьет всех нас, своих господ. На наше место явятся другие. Конец будет все тот же.

— Я все-таки не понимаю…

Грехэм не докончил. С минуту он сидел потупившись, не глядя на Острога, потом вдруг поднял голову и заговорил мягко, но решительно:

— Вот что: я сам посмотрю. Я ни на чем не могу остановиться, пока не увижу своими глазами. Я хочу знать, что делается на свете. И я должен предупредить вас, Острог: я не намерен быть веселым царем ваших "Веселых Городов". Это меня совсем не прельщает. Я не желаю больше развлекаться. Итак уже слишком много времени потрачено на аэронавтику и на прочие затеи. Теперь я хочу видеть, как живет мой народ, как сложилась будничная, серая жизнь простолюдина: как он работает, женится, растит детей и умирает.

Острог всполошился.

— Все это вы можете узнать из наших реалистических романов, — заметил он осторожно, стараясь скрыть свое беспокойство.

— Мне нужен не реализм, а действительность, — сказал Грехэм.

— Вот видите ли… — Острог замялся. — Есть некоторые затруднения…. Но, впрочем, если вы непременно хотите…

— Непременно хочу.

— Хорошо. Дайте подумать… Вы желаете, говорите вы, присмотреться к быту простого народа? Для этого вам надо обойти пешком весь город. — Он на секунду задумался и вдруг пришел к решению: — Вам придется переодеться. Народ очень возбужден, и, если ваше появление на улицах будет открыто, может произойти страшнейшая кутерьма. Надо действовать крайне осторожно…. А знаете, чем больше я об этом думаю, тем больше понимаю вас: это ваше желание обойти город и самолично удостовериться… это, пожалуй, недурная идея…. Немножко трудно будет. Но так или иначе я это устрою. Вы повелитель, и раз вы серьезно решили отправиться в эту экскурсию, никто не может вам помешать. Асано позаботится о вашем костюме, он, разумеется, будет вас сопровождать… Что ж, идите, идите, это положительно хорошая мысль.

У Грехэма вдруг мелькнуло одно подозрение.

— А вам не понадобится мое присутствие в эти дни? — неожиданно спросил он.

— О, нет, не думаю. Во всяком случае, на такое короткое время вы можете, мне кажется, доверить мне дела, — проговорил Острог улыбаясь. — Если бы даже мы расходились во мнениях…

Грехэм зорко взглянул на него.

— В ближайшем будущем не ожидается вооруженных столкновений?

— Нет, нет!

— Я хотел только сказать… Я вспомнил о вашей африканской полиции…. Об этих неграх. Не думаю, чтобы народ был враждебно настроен против меня…. Да, наконец, не в этом дело. Я не хочу, чтоб негры вызывались в Лондон для усмирений. Слышите? Не хочу! Я ваш повелитель, и такова моя воля. Может быть, это предрассудок архаического человека, но у меня свои понятия о взаимных отношениях европейцев и подчиненных рас.

Острог из-под насупленных бровей внимательно наблюдал за выражением лица своего собеседника.

— Я не собирался вызывать в Лондон негров, — проговорил он нехотя, — но если…

— Вооруженные негры не явятся в Лондон ни в каком случае, — сказал Грехэм. — Что бы ни произошло. Это я твердо решил.

Острог почтительно поклонился, рассудив за благо не отвечать.

Глава XX

НА УЛИЦАХ

В тот же вечер Грехэм, сохраняя полное инкогнито, в народной форме низшего служащего при Управлении ветряных двигателей, сопутствуемый Асано в рабочей синей блузе, осматривал город, по улицам которого несколько дней тому назад он бродил в темноте. Теперь он видел этот город при полном освещении, бодрствующим и кипящим жизнью. Несмотря на дурную волну революции, только что

пронесшуюся над страной, несмотря на раздававшийся кругом ропот недовольства — предвестник новой великой борьбы, в которой та первая вспышка была лишь прелюдией, — торговая жизнь текла здесь по-прежнему широкой, могучей рекой. Грехэм уже знал кое-что о гигантском размахе нового века, но тем не менее подробности поражали его на каждом шагу, ослепляя бесконечной сменой ярких впечатлений, пестрыми волнами красок.

Впервые за все время своей новой жизни он так близко соприкасался с народом. Он понял теперь, что все, им виденное раньше, если не считать мимолетных впечатлений от рынков и театров, имело исключительный характер, не выходило из относительно узкой области политики и что все его переживания до сих пор вертелись около вопроса об его собственном положении. Теперь же перед ним был город в самые оживленные часы ночи; он видел народ, уже вернувшийся в значительной мере к своим обычным занятиям, видел повседневную будничную жизнь, нравы и обычаи новой эпохи.

Не успели они выйти на первую улицу, как наткнулись на огромную толпу: все подвижные платформы на противоположной стороне были битком набиты рабочими в голубых ливреях. Грехэм сейчас же заметил, что эта толпа составляла часть процессии. Странно было видеть процессию, совершающую свое шествие сидя. Многие держали знамена из толстой красной материи, с грубо наляпанными на них воззваниями в таком духе: "Не складывать оружия!", "Зачем нам разоружаться?", "Будьте на страже!" и так далее. Знамя мелькало за знаменем — целый поток красных знамен, и, наконец, раздалась Песня Восстания под громкий аккомпанемент каких-то неизвестных инструментов.

— Это все забастовщики, которым следовало бы быть на работе, — сказал Асано. — Все они уже два дня не ели, кроме, может быть, немногих, которым посчастливилось что-нибудь украсть.

Мало кто спал в городе в эту ночь: все высыпали на улицу. Кругом слышались возбужденные голоса. Народ со всех сторон теснил Грехэма;

толпа сменяла толпу. У него мутилось в уме от этого неумолчного гама, от криков и загадочных обрывков фраз. Все это были недвусмысленные признаки разгоревшейся великой борьбы. И повсюду его, Грехэма, популярность подчеркивалась черными знаменами и черными драпировками, украшавшими стены домов. Он то и дело ловил, слова на грубом уличном жаргоне, каким говорили необразованные классы, еще не доросшие до науки учителей-фонографов. И всюду в воздухе носился все тот же клич: "Не разоружайтесь!" — тревожный клич, требовавший, очевидно, безотлагательных мер, о чем он не слышал ни намека за все время, что просидел в Управлении ветряных двигателей. И он дал себе слово, как только вернется, переговорить с Острогом в более решительном тоне, чем он говорил до сих пор: и об этом странном призыве не разоружаться, и о том, что выражает этот призыв.

Дух тревоги и возмущенного протеста, царивший в городе в ту ночь, до такой степени поглощал его внимание с самого начала их скитаний, что он просмотрел много странных вещей, которые иначе непременно бросились бы ему в глаза. Его преследовала неотвязная мысль о значении этой тревоги, благодаря чему впечатления его были бессвязны, отрывочны. И все-таки кругом было столько странного, поражающего, что самое сосредоточенное настроение не могло бы сохраниться во всей своей цельности и не уступить иной раз место впечатлению какой-нибудь яркой картины. Бывали моменты, когда революционное движение совершенно вылетало у него из головы перед какой-нибудь поразительной бытовой сценкой нового века. Сама Элен, заставившая заговорить в нем голос совести, поднявшая в его душе мучительный вопрос о долге, минутами отступала куда-то далеко за пределы его сознания.

Один раз, например, он заметил, что они пересекают церковный квартал (подвижные улицы создавали такую легкость сообщений, что не было больше надобности иметь отдельные молельни в каждой части города), и внимание его было привлечено фасадом здания, принадлежавшего одной из христианских сект. Они ехали с большой скоростью, сидя на одной из верхних быстроходных платформ, и этот

фасад вынырнул перед ними на повороте улицы, быстро приближаясь. Весь он сверху донизу был испещрен крупными надписями — белыми буквами по голубому. Но посередине вместо надписей светилась большая кинематографическая картина, изображающая очень реальна сцену из Нового Завета под черной драпировкой в знак того, что господствующая религия идет рука об руку с политикой момента. Грехэм уже настолько освоился с фонетическим написанием, что без труда разбирал надписи. Они поразили его, как невероятное кощунство: "Спасение души в первом этаже направо", "Копите денежки и не забывайте вашего творца", "Самое скорое в Лондоне обращение грешников — опытные мастера: не зевайте!", "Что сказал бы Спящему Христос?", "Идите по стопам святых вашего века", "Будь христианином, но не в ущерб твоим коммерческим делам", "На кафедре сегодня все знаменитые епископы. Цены обыкновенные", "Молитвы на скорую руку для деловых людей".

Таковы были самые безобидные начертания.

— Возмутительно! — вырвалось у Грехэма, когда это оглушительное меркантильное благочестие развернулось перед ними во всей красе.

— Что такое? — спросил его маленький адъютант, пробегая глазами надпись за надписью и, видимо, не понимая, что могло так его поразить.

— Все! Где ж тут вера? Где душа, сущность религии?

Асано удивленно взглянул на него.

— Ах, это! Вас это шокирует? — протянул он тоном человека, сделавшего открытие. — Впрочем, оно и понятно. Я забыл, в наше время конкуренция так обострилась, что ничего не поделаешь без реклам. А с другой стороны, люди так заняты, что не могут уделить времени заботам о душе. Не то, что в старину, — Он улыбнулся. — У вас, в ваши

дни, была идиллия — деревенский простор, тихие субботние вечера, посвящавшиеся молитве. Впрочем, я где-то читал, что начиная с вечера воскресенья, и у вас уже...

— Нет, но это! — повторил Грехэм, оглядываясь назад, на отступающую вдаль голубую с белым пестроту реклам. — И это, наверное, не единственная религиозная община, прибегающая к таким...

— Их у нас сотни, и прибегают они к самым разнообразным приемам для рекламы. Но ведь если секта скромно молчит, она не имеет дохода. Религия, как и все прочее, шагнула вперед вместе с веком. Есть у нас секты для высших классов: те поприличнее. Там вы увидите и дорогие обряды с ладаном, и приличную исповедь, и все такое. Но такие, как эта, гораздо популярнее и богаче. Вот за это самое помещение, что мы сейчас видели, они платят несколько дюжин львов Совету, то есть вам.

Грехэм все еще плохо разбирался в новой монетной системе. Но упоминание о "львах" напомнило ему об этой системе, и в один миг он забыл все эти крикливые новые храмы с их меркантильной паствой, заинтересовавшись новым вопросом. Ответы Асано подтвердили то, о чем он и раньше догадывался: золото и серебро как монетная единицы давно вышли из употребления, и золотая чеканная монета, воцарившаяся в мире с легкой руки финикийских купцов, была развенчана. Перемена эта совершилась постепенно, но быстро благодаря быстрому распространению системы чеков, которая уже и в его времена на практике почти совершенно вытеснила золото во всех крупных торговых сделках. Теперь же вся городская, да и вся мировая торговля производилась при помощи маленьких чеков Совета на предъявителя — коричневых, зеленых и розовых в зависимости от суммы платежа. У Асано было с собой несколько штук таких чеков, которыми он и расплачивался, когда приходилось платить. Напечатаны они были не на бумаге, а на полупрозрачной шелковистой ткани, очень прочной на вид, и на всех стояло факсимиле подписи Грехэма. Таким

образом, в первый раз после двухсот с лишним лет он снова увидел знакомые изгибы и завитушки своего автографа.

Затем начались новые впечатления, но ни одно из них не было особенно ярко, так что мысли его постоянно возвращались к вопросу о разоружении. Больше всего другого поразила его вывеска одного теософского храма, сулившая "Чудеса". "Чудеса" эти были выведены огромными огненными буквами, которые то вспыхивали, то гасли.

На Нортумберлендском проспекте перед ними открылось здание общественной столовой. Это заинтересовало его. Благодаря энергии Асано он скоро получил возможность хорошо осмотреть внутренность этой столовой с крытой галерейкой, предназначавшейся для прислуги. В обширный обеденный зал, над которым тянулась галерейка, доносился какой-то странный заглушённый рев, минутами переходивший в резкий визг. Грехэм не понимал значения этих звуков, но они напоминали ему тот таинственный сдавленный голос говорительной машины, который он услышал в ночь своих одиноких скитаний по городу в тот момент, когда снова зажглись осветительные шары.

Он уже привык к чудовищным размерам зданий и к многолюдству, и тем не менее эта картина огромного зала, наполненного жующими людьми, поразила его. И лишь, после того как он хорошо присмотрелся к сервировке стола и получил ответы на свои бесчисленные вопросы по поводу различных деталей, ему стало ясно значение этой колоссальной общей трапезы нескольких тысяч человек.

Вообще он постоянно замечал с удивлением, что многое такое из жизни новой эпохи, что, казалось бы, должно было сразу броситься ему в глаза, не производило на него впечатления до тех пор, пока его не заинтересовывала своею загадочностью и не наводила на размышления какая-нибудь подробность. Так и теперь: до этой минуты он не догадывался, что все эти обширные залы и коридоры громадного города, слившегося в одно непрерывное целое под общей крышей и не

боящегося таких случайностей, как перемена погоды, означают уничтожение домашнего очага; что типичный "свой дом" времен королевы Виктории — маленький кирпичный особнячок с кухней и кладовой, со спальнями и столовой — стерт с лица земли (если не считать развалин, торчащих кое-где на пустыре, окружавшем город) так же окончательно и бесповоротно, как шалаш дикаря. И теперь только он понял то, что мог бы заметить с самого начала, а именно — что Лондон, рассматриваемый с точки зрения жизни его населения, представляет собою уже не агрегат отдельных домов, а гигантскую гостиницу с бесконечной градацией житейских удобств, с десятком тысяч общих столовых, часовен, театров, рынков и всяких публичных мест — целый синтез предприятий, которых он, Грехэм, был главным хозяином. Жильцы имели свои спальни, быть может, даже уборные, вполне удовлетворяющие санитарным условиям, хоть и разных степеней комфорта, а день проводили приблизительно так же, как проводили, его и при Виктории обитатели новых больших отелей: или занимались спортом, разговаривали, читали, думали — все на людях! — или же отбывали свою работу в промышленных кварталах, или сидели в торговых конторах.

Он видел теперь, что новый город был лишь логическим, неизбежным развитием того типа города, какой существовал и в его время. Экономия труда посредством кооперации — такова была основная причина возникновения новейших городов. Еще при его современниках главной помехой к исчезновению домашнего очага была сравнительная некультурность народа, страсти и предрассудки, сильно укоренившееся варварское чувство личной гордости, зависть, соперничество и грубость низших и средних классов, исключавшие всякую возможность слияния смежных хозяйств. Но народ уже и тогда быстро приручался. Ему самому за короткий тридцатилетний период его прежней жизни приходилось наблюдать, как быстро распространялся обычай обедать вне дома, как маленькие кофейни вытеснялись просторными и людными общественными столовыми, как вырастали один за другим женские клубы, читальни, библиотеки и другие публичные места. То, что тогда было лишь в зачаточном виде,

теперь выросло и расцвело. Замкнутый домашний очаг, защищенный крепкими запорами от посторонних вторжений, отошел в область преданий.

Те люди, что сидели внизу, принадлежали, как оказывалось, к низшим слоям среднего класса, стоявшим лишь ступенью повыше синих рабочих, — к тем самым слоям, для которых во времена Виктории было до такой степени непривычным делом есть не в тесном домашнем кругу, что когда такой человек случайно попадал на обед в публичном месте, он старался скрыть свое смущение под напускным весельем и вызывающей развязностью манер. Эти же люди в ярких, хоть и в дешевых костюмах не отличались большой общительностью, но и не дичились друг друга; они ели быстро, с деловым видом и держались свободно и просто.

Он заметил еще один маленький, но характерный факт. Обеденный стол на всем своем протяжении оставался безукоризненно чистым во время еды; ни тени того хаоса хлебных крошек, пятен соуса и пролитого вина, разбросанных ножей и вилок, каким была бы непременно отмечена шумная трапеза эпохи Виктории. И убранство стола было другое: никаких украшений — ни ваз, ни цветов. Не было даже скатерти, ибо верхняя крышка стола была сделана, как ему сказали, из какого-то прочного состава, похожего видом на камку, и вся она была покрыта рекламами, расположенными изящным узором.

Возле каждого обедающего стоял открытый шкафчик с очень сложным столовым прибором. Тарелки были белого фарфора; ножи, вилки и ложки — тоже белые, из какого-то красивого металла. Но всего этого было только по одной перемене, и после каждого блюда каждый обедающий сам мыл свой прибор, пользуясь двумя кранами с холодной и горячей летучей жидкостью, бывшими у него под рукой.

Суп и вошедшее во всеобщее употребление искусственное вино получались из таких же кранов, а остальные кушанья, разложенные на блюдах с большим вкусом, автоматически двигались по серебряным

рельсам вдоль стола. Каждый останавливал то или другое блюдо по своему выбору и брал сколько хотел, кушанья появлялись из дверцы на одном конце стола и исчезали на другом. То извращенное демократическое чувство, та ложная гордость, которая видит нечто постыдное в оказании друг другу мелких услуг, была, очевидно, очень сильна у этих людей.

Грехэм был так поглощен всеми этими наблюдениями, что, только выходя, заметил огромную диораму реклам, торжественно передвигавшуюся вокруг зала вдоль верхней части стен и предлагавшую публике самые заманчивые вещи по части всяких житейских удобств.

Они перешли в другой зал, тоже битком набитый народом, и здесь-то он открыл источник загадочного рева, долетавшего в первый зал. На одну секунду они остановились у рогатки, заплатили за вход и вошли. Грехэм услышал оглушительный вой, а затем раздался скрипучий механический голос:

— Властелин спокойно почивает! Он в добром здоровье. Остаток жизни хочет посвятить аэронавтике. "Женщины теперь прекраснее прежнего", — говорит он… Га! Га! Наша образцовая цивилизация поражает его превыше всякой меры. Превыше всякой меры… Га! Га! Он вполне полагается на Острога. Безусловно, доверяет ему. Острог — голова, Острог будет его первым министром. Он уполномочен сменять и назначать чиновников. Все казенные места в его руках. Все места в руках Острога. Члены Совета отправлены в свою собственную тюрьму, что над залом Атласа…

Грехэм застыл на месте при первой же фразе. В недоумении озираясь кругом, он поднял голову и увидел глупую рожу автомата с разинутым ртом, из которого вылетал этот рев. Это была говорильная машина для репортерских сообщений. С минуту она как будто набиралась духу: было слышно, как что-то пыхтит внутри ее

цилиндрического тела. Потом опять раздалось оглушительное "га! га!", и опять она заревела:

— Париж усмирен! Сопротивление подавлено! Га! Га! Все важные стратегические пункты заняты черной полицией. Черные храбро дрались, во время боя пели песни, написанные в честь их предков поэтом Киплингом. Случилось, правда, раза два, что они вышли из повиновения. Досталось-таки тогда пленным инсургентам — пленным и раненым. Ни мужчин, ни женщин не щадили. А мораль — не бунтуйте! Га! Га!.. Молодцы ребята эти негры! Ни перед чем не останавливаются. Так и надо! Пусть это будет уроком нашей разнузданной черни. Да, черни, подонкам человечества. Га! Га!..

Голос умолк. В зале пронесся ропот:

— Проклятые негры!

Вдруг возле них какой-то человек заговорил, обращаясь к толпе:

— Так вот как поступает наш повелитель, ребята! Вот как он поступает!

— Черная полиция? — пробормотал Грехэм. — Что это значит? Неужели?..

Асано тронул его за плечо и посмотрел на него предостерегающим взглядом. В это время другая говорильная машина пронзительно взвизгнула и заорала диким голосом:

— Ха-ха-ха! Послушайте живую газету! Живую газету! Ха-ха!.. Возмутительные насилия в Париже! Доведенные до отчаяния черной полицией, парижане избивают ее. Ужасные репрессии! Возвращаются варварские времена. Кровь! Кровь! Ха, ха!..

Тут первая машина гаркнула во все горло: "Га! Га!", заглушив последнюю фразу противника, и посыпала, но уже тоном пониже, новыми комментариями по поводу ужасов происходящей смуты:

— Закон и порядок прежде всего! Прежде всего закон и порядок! — трещала она.

— Но как же... — начал было Грехэм.

— Не возражайте, — шептал ему Асано. — Может выйти спор, и тогда...

— Ну, так уйдем, — сказал Грехэм. — Я хочу видеть все своими глазами.

Только теперь, проталкиваясь со своим спутником к выходу в возбужденной толпе, окружавшей машины, он вполне оценил размеры этого зала. Всех говорильных машин, больших и малых, визжащих и ревущих, лепечущих и скрипящих, в нем было около тысячи, и возле каждой стояла своя толпа взволнованных слушателей, все больше мужчин в синей холстине. Машины были всех размеров, начиная с маленького болтливого аппаратика, пересыпавшего глупым хихиканьем свои сентенции и остроты, и кончая такими пятидесятифутовыми гигантами, как тот ревун, который оглушил Грехэма при входе.

Необычайное стечение публики объяснилось тем, что все с горячим интересом следили за ходом событий в Париже. Борьба была, очевидно, гораздо ожесточеннее, чем говорил Острог. Все машины были заняты обсуждением этой борьбы. Их слова повторялись толпой, и огромный улей гудел отрывистыми фразами: "Народ казнил полицейских", "Женщин жгли живьем" и в таком духе.

— Но как допускает это повелитель? — спросил один из толпы, мимо которого они проходили. — Так-то начинает свое правление наш государь?

"Так-то начинает свое правление государь?" И долго после того, как они вышли из зала, преследовала Грехэма эта фраза и рев и визг машин: "Га! Га!.. Ха-ха-ха! Так-то начинает свое правление государь?"

Как только они вышли на улицу, он приступил к Асано с вопросом о причинах парижских событий.

— Зачем это разоружение? Из-за чего волнуется народ? Что все это значит?

Асано, видимо, старался об одном: уверить его, что "все благополучно".

— Но эти жестокости! Чем вы их объясните?

— Лес рубят — щепки летят, сами знаете, — сказал Асано. — Бунтует только чернь, да и то лишь в одном квартале. Все остальные спокойны. Нет во всем мире более необузданных дикарей, чем парижские рабочие… да еще наши, пожалуй.

— Как! Лондонские?

— Нет, японцы. Им нельзя давать спуску.

— Но жечь женщин живьем!..

— Коммунаров, — поправил Асано, — Разве вы не знаете коммунаров? Ведь это грабители. Вы господин земли; мир — ваша собственность. А им только позволь: они отнимут у вас все и отдадут

землю во власть черни.... Но у нас не будет Коммуны. Нам черная полиция не понадобится... Их долго щадили. Им и теперь оказано снисхождение. Ведь это все их собственные негры — из французских колоний: сенегальские полки, с Нигера, из Тимбукту.

— Полки? — переспросил Грехэм. — Я думал, что только один...

Асано искоса посмотрел на него.

— Ну нет, не один... немного побольше.

Грехэм почувствовал себя совершенно беспомощным.

— Я не думал... — начал было он, но вдруг круто оборвал на полуслове и перешел к расспросам насчет говорильных машин.

Говорильными машинами в публичных местах, как объяснил ему Асано, пользовались только низшие классы (и действительно, толпа которую они видели в зале машин, состояла из очень бедно одетых людей, почти из оборванцев). У людей зажиточных классов были свои машины. В каждой приличной квартире устанавливалась от города говорильная машина, которую квартирохозяин мог соединить проводами с любым из крупных газетных синдикатов по своему выбору.

— Почему же нет говорильной машины в моем помещении? — спросил Грехэм, выслушав это объяснение.

Асано удивился.

— Разве нет? Я и не знал, — сказал он. — Должно быть, Острог приказал убрать.

Грехэма покоробило.

— Мне он ничего не сказал. Почему же я мог знать? — вырвалось у него.

— Может быть, он думал, что так вам будет покойнее, — заметил Асано.

Грехэм немного подумал, потом сказал:

— Сейчас же, как только мы вернемся, я велю снова поставить на место машину.

Не без труда уразумел он тот факт, что этот обеденный и газетный залы были не главными центральными учреждениями такого рода, что такие точно залы были во множестве разбросаны по всему городу. Но потом, во время их ночной экспедиции, в каждом новом квартале, куда они попадали, до ушей его сквозь уличный гам поминутно доносилось или своеобразное "га! га!" гигантской говорильной машины, органа Острога, или пронзительное "ха-ха-ха! Слушайте живую газету" — его главного конкурента.

Не менее распространенным в городе учреждением были детские ясли. Одно из таких заведений они посетили теперь, отправившись туда прямо из общественной столовой. Поднявшись на лифте, они перешли стеклянный мост, перекинутый над обеденным залом и над ближайшей из подвижных улиц, и очутились у входа в первое отделение яслей. Здесь они предъявили особый билет за собственноручной подписью Спящего, без чего посторонних не пропускали. Перед ними немедленно вырос человек в лиловом плаще с золотой пряжкой (атрибут практикующих врачей) и объявил с почтительным поклоном, что он готов их сопровождать. По обращению этого господина Грехэм догадался, что инкогнито его открыто, и, уже не стесняясь, принялся расспрашивать об устройстве заведения и о странных приспособлениях, попадавшихся ему на глаза.

По обе стороны коридора, устланного мягкой дорожкой, заглушавшей шаги, тянулись узенькие дверки, размерами и видом напоминавшие двери тюремных одиночных камер эпохи Виктории. Но верхняя часть каждой дверки были из того самого зеленоватого прозрачного вещества, которое окружало его при его пробуждении, и в каждой камере сквозь эту прозрачную пленку виднелись неясные очертания мягкого гнездышка — колыбели с новорожденным младенцем внутри. При каждой колыбельке был сложный аппарат, контролировавший температуру и влажность и подававший звонок в центральное управление при малейшем уклонении от нормы. Система таких яслей, как узнал Грехэм, почти окончательно вытеснила старомодный способ вскармливанья новорожденных, зависевший от стольких случайностей и сопряженный с риском. Их проводник не замедлил обратить его внимание на кормилиц-автоматов с удивительно реально подделанными под живое тело руками, плечами и грудью, но вместо ног имевших медные подставки, а вместо лица — плоский круг с объявлениями для матерей, которые приходили навещать младенцев.

Из всех странных вещей, на каждом шагу поражавших Грехэма в ту ночь, ничто не шло до такой степени в разрез с его понятиями, с привычками всей его жизни, как эти детские ясли. Маленькое, беспомощное красное существо с крошечными ручками и ножками, слабо шевелящееся в своих первых робких попытках к движению, — и уже покинуто, уже не знает материнской ласки, материнского поцелуя! Его отталкивало, ему претило это зрелище. Но сопровождавший их доктор был другого мнения. Его статистика доказывала с бесспорной очевидностью, что во времена королевы Виктории самым опасным периодом в жизни ребенка был период кормления грудью, и что детская смертность за этот период достигала ужасающей цифры, тогда как Международный Синдикат детских яслей не терял и полупроцента из миллиона младенцев, находившихся на его попечении. Но даже эти убедительные цифры не могли поколебать предубеждения Грехэма.

В одном из коридоров они наткнулись на молодую чету в синей холстине, стоявшую у одной из узеньких дверок. Оба — и муж и жена —

хохотали до слез, заглядывая сквозь прозрачную дверь на лысую голову своего первенца. Должно быть, по лицу Грехэма они прочли, что он думал о них, ибо веселье их мигом прекратилось и уступило место смущению. Этот маленький инцидент только укрепил в нем сознание той пропасти, которая лежала между его взглядами, его симпатиями и нравами нового века. Глубоко взволнованный и возмущенный, прошел он вслед за своим провожатым во второе отделение, предназначенное для детей, уже начинающих ползать, и затем в детский сад. Бесконечная анфилада комнат для игр была совершенно пуста. Слава богу! Современные дети еще спали по ночам. Маленький японец мимоходом обратил его внимание на игрушки нового типа, представлявшие, впрочем, лишь дальнейшее развитие идей вдохновенного сентименталиста Фребеля. В этом отделении были живые няньки, но многое и здесь исполнялось машинами. Машины забавляли детей, пели, плясали, нянчили и укачивали.

Но все-таки Грехэму далеко не все было ясно.

— Как жаль: столько сирот, — проговорил он задумчиво, невольно возвращаясь к своему первому впечатлению, и во второй раз услышал, что между этими детьми почти нет сирот.

Когда они вышли из яслей, он с ужасом заговорил о бедных малютках, которых выращивают искусственным способом, точно растения в парниках.

— Неужто нет более материнства? — говорил он. — Или оно было просто ломаньем?.. Нет, материнство, несомненно, инстинкт… А это… это так неестественно, так ужасно!..

— Отсюда, мы пройдем в танцевальный зал, — сказал Асано вместо ответа. — Там, наверное, полно: политические неурядицы этому не мешают. Наши женщины, за немногим исключением, не слишком-то интересуются политикой. Там вы увидите современных матерей. В

Лондоне большинство молодых женщин имеет детей. В наших средних классах редко бывает больше одного ребенка в семье, но иметь одного считается почти обязательным: это доказывает, так сказать, жизненность организма. Ну, а что касается материнского инстинкта, то он не заглох, могу вас уверить. Матери очень гордятся своими детьми: часто приходят сюда взглянуть на свое потомство.

— Вы вот сказали: не больше одного ребенка в семье. Так, значит, население земного шара…

— Убывает? Да. Но только не в среде голубых. Этот народ так беспечен…

Воздух вдруг зазвенел звуками плясовой музыки. Перед ними открылся широкий проход с рядами великолепных колонн, судя по виду, из чистого аметиста, и вдоль этого прохода мимо них (они подходили сбоку) неслась веселая ватага танцующих с криками и смехом. Мелькали пышные прически, локоны, венки на головах, пестрая смесь ярких красок, шелестящие складки развевающихся одежд. Все это мчалось и кружилось в торжествующем бешеном вихре.

— Да, мир изменился, — проговорил Асано со слабой усмешкой. — Сейчас вы увидите матерей новой эры…. Свернемте сюда. Скоро мы опять увидим эту толпу, только сверху.

Они поднялись сперва на одном лифте, очень быстро, потом на другом — значительно медленнее. По мере того как они подымались, музыка становилась все громче. Но вот задорные, резвые звуки, словно вырвавшись на свободу, разлились бурной волной, и, поднимаясь все выше под переливы этой волны, они стали, наконец, различать топот многих сотен танцующих ног. Заплатив за вход у рогатки, они вошли в широкую галерею, висевшую над танцевальным залом, и перед ними предстала изумительная картина — волшебное сплетение движения и звуков, красок и форм.

— Вот матери и отцы тех детей, которых вы только что видели, — сказал Асано.

Этот зал не отличался такою пышностью убранства, как зал Атласа, но по размерам это было самое грандиозное из всего, что видел до сих пор Грехэм. Прекрасные белоснежные статуи, поддерживавшие на своих плечах своды галерей, еще раз напоминали ему о возрождении скульптуры в новом веке. Как красиво, причудливо изгибались их стройные тела, как заманчиво улыбались их губы. Источник музыки, гремевшей в зале, был невидим, но звуки ее наполняли каждый его уголок, и все пространство блестящего гладкого пола было усеяно танцующими парами.

— Взгляните на них, на этих матерей, — шепнул Грехэму маленький японец. — Как видите, они умеют веселиться.

Галерея, на которой они стояли, тянулась вдоль верхнего края внутренней стены, не доходившей до потолка и отделявшей танцевальный зал от другого, наружного, с широкими открытыми арками, так что с галереи видно было непрерывное движение, и был слышен грохот мчащихся подвижных платформ. В наружном зале была тоже толпа, не менее многолюдная, чем та, что плясала внутри, но далеко не в таких блестящих костюмах; большинство было в неизменной синей форме Рабочего Общества, так хорошо теперь знакомой Грехэму. Эти не могли попасть на бал за неимением денег, но были не в силах уйти от соблазнительных звуков. Многие, недолго думая, тут же расчистили себе место и в своих развевающихся лохмотьях отплясывали с большим увлечением, гикая в такт и выкрикивая какие-то шуточки, которых Грехэм не понимал. Кто-то в темном углу принялся было насвистывать припев революционного гимна, но сейчас же умолк, точно ему заткнули рот. За темнотой Грехэм не мог рассмотреть, что там произошло. Он опять повернулся к танцевальному залу. Над кариатидами выступали бюсты знаменитых людей — всех тех, кого новый век признавал своими эмансипаторами и пионерами в различных областях человеческой мысли. Их имена по

большей части были не знакомы Грехэму, но он узнал между ними Грант Аллена, Ле Галлиенна, Ницше, Шелли, Годвина. Ниспадавшие крупными складками фестоны черной драпировки заставляли еще резче выступать огромную надпись, красовавшуюся под огромным потолком. "Праздник пробуждения", о котором она возвещала, был, видимо, в полном разгаре.

— Мириады людей решили отпраздновать этот день, — сказал Асано. — А рабочие бастуют сами по себе, по другим причинам. Этот народ всегда рад задать себе праздник, лишь бы увильнуть от работы.

Грехэм подошел к парапету и, перегнувшись вниз, стал смотреть на танцующих. Если не считать двух-трех нежных парочек, шептавшихся по углам, на галерее были только он да его провожатый. Снизу поднималось теплое дыхание жизни, бьющей ключом. Воздух был пропитан запахом духов. Все танцующие — как женщины, так и мужчины — были очень легко одеты, с обнаженными руками, с открытой шеей. У многих мужчин были длинные локоны, придававшие им женоподобный вид. Все были бритые, некоторые нарумянены. Между женщинами было много очень красивых, и все они были одеты с утонченным кокетством. Грехэм с любопытством следил за проносившимися парами. Да, положительно, эта толпа наслаждалась до самозабвения. Это видно было по возбужденным пылающим лицам, по томно полуоткрытым глазам.

— К какому классу принадлежат эти люди? — неожиданно спросил он.

— К классу рабочих — привилегированных рабочих. Или, по-вашему, к среднему классу. Мелкие независимые ремесленники давно исчезли с лица земли. А эти все больше служащие в крупных предприятиях, мастера по всем специальностям, техники. Сегодня праздник, и все танцевальные залы переполнены. Все церкви и молельни — тоже.

— А женщины?

— То же самое. У нас существует бесчисленное множество отраслей женского труда. Впрочем, тип женщины-работницы народился еще в ваше время. Теперь же большинство женщин живет независимо, своим трудом. Но почти все они замужем… более или менее, — у нас имеется много видов брака. Это увеличивает их годовой доход и дает им возможность веселиться.

— Вижу, — сказал Грехэм, глядя на раскрасневшиеся лица, кружившиеся в бешеном вихре, и не будучи в силах отделаться от кошмара красненьких детских ножек и ручек, беспомощно взывавших о ласке. — Все это матери, говорите вы?..

— Да, большинство.

— Чем ближе я смотрю, тем сложнее кажется мне ваша жизнь… вообще проблемы жизни. Вот это, например, совершенный сюрприз для меня — такой же, как события в Париже.

Он помолчал и снова заговорил:

— Все это матери. Так. Когда-нибудь, надеюсь, я усвою себе современные взгляды. Я слишком сжился со старыми привычками, порожденными, вероятно, старыми потребностями, которые уже отжили свое время. В мое время считалось, что дело женщины не только рожать детей, но и растить, лелеять, отдавать им всю себя, воспитывать их. В мое время ребенок был обязан матери всем, что было самого существенного в его умственном и нравственном воспитании. Или он совсем не получал воспитания. Правда, тогда было много детей, которые росли без всякого присмотра. Теперь же, очевидно, нет больше надобности в материнском уходе: детей выращивают, как личинки. Все это прекрасно, но зато прежде был идеал — образ серьезной,

терпеливой женщины с ясной душой, кроткой царицы домашнего очага, матери, творящей людей. Любовь к матери была своего рода религией…

Он опять помолчал и повторил задумчиво:

— Да, религией.

— С изменением потребностей меняются идеалы, — заметил маленький японец.

Ему пришлось повторить свои слова, потому что Грехэм их не слышал.

— Вы правы, — сказал он, когда очнулся от своего минутного забытья и вернулся к действительности. — Что существует, то разумно, я и сам понимаю. Воздержание, самоограничение, вдумчивость, самоотвержение были нужны в эпоху варварства, когда жизнь была полна опасностями. Аскетизм — дань человека непобежденной природе. Но ныне человек покорил природу во всех практических веществах. Общественные дела вершатся мастерами вроде Острога с их черной полицией, и люди наслаждаются жизнью…

Он снова посмотрел на танцующих.

— Наслаждаются от души.

— Бывают и у них тяжелые минуты, — проговорил Асано.

— Все они здесь выглядят молодыми. Я был бы самым старым между этими людьми. А в мое время я считался человеком средних лет.

— Да, здесь все молодежь. В наших городах мало стариков среди этого класса.

— Как так?

— Жизнь старика в наше время не слишком приятна, если только он недостаточно богат, чтобы нанимать себе сиделок и любовниц. Поэтому у нас имеется особое учреждение, так называемое Эвфаназия…

— А, знаю, легкий переход к смерти.

— Да. Это последнее удовольствие в жизни, и очень дорогое. Компания Эвфаназии знает свое дело. Вы уплачиваете определенную сумму вперед, затем отправляетесь в "Веселые Города" и возвращаетесь усталым, истощенным, живым мертвецом.

— Не скоро я пойму ваши порядки, — заметил после паузы Грехэм. — Но я вижу, что во всем этом есть логическая связь. Наша броня суровой добродетели, жестоких самоогорчений была необходимым оплотом против опасностей и шаткости жизни. Но уже и в наше время стоики и пуритане были вымирающим типом. В старину человек ограждал себя от страдания, теперь он ищет наслаждений. В этом вся разница. Цивилизация изгнала страдания и опасность для обеспеченных людей. А ведь у вас только обеспеченные идут в счет…. Я проспал двести лет…

С минуту они стояли у парапета, любуясь запутанными фигурами танца. Картина была действительно очень красивая.

— Клянусь богом, — сказал вдруг Грехэм, — я предпочел бы быть солдатом и умирать от ран или замерзать в снегу, стоя на часах, чем быть одним из этих нарумяненных дураков.

— Может быть, замерзая в снегу, вы думали бы иначе, — заметил Асано.

— Я недостаточно цивилизован, и в этом все мое горе, — продолжал Грехэм, не слушая его. — Я первобытный дикарь, человек каменного века. А у этих людей уже заглох источник гнева, страха и негодования. Привычка, жажда жизни берут свое, и они чувствуют себя весело, легко и свободно. А меня это глубоко возмущает. Что делать, вам придется примириться с моими допотопными понятиями. Эти люди — привилегированные рабочие, говорите вы. И вот, пока они здесь пляшут, другие люди сражаются, умирают в Париже за спасение мира, чтобы они могли плясать.

Асано чуть-чуть улыбнулся.

— Ну, уж коли на то пошло, так и в Лондоне люди умирают.

Грехэм ничего не ответил.

— А где спят все эти люди? — спросил он после минутной паузы.

— Выше и ниже этого зала все этажи заняты спальнями, — сказал Асано.

— Значит, тут они и живут? А работают где?

— Сегодня вы едва ли застанете кого-нибудь на работе. Половина рабочих или шатается по улицам, или стоит под ружьем. А остальные празднуют. Но если вы хотите, мы обойдем те места, где происходят работы.

Грехэм постоял еще немного, следя за танцующими, потом вдруг отвернулся.

— Довольно с меня, я хочу видеть рабочих, — сказал он.

Асано повел его вдоль галереи, пересекавшей зал. Вскоре они дошли до поперечного прохода, откуда тянуло свежим воздухом. Асано взглянул в ту сторону, проходя, потом вдруг повернул назад и, улыбаясь, обратился к Грехэму:

— Государь, здесь есть кое-что вам знакомое... и все-таки.... Но нет, я вам не скажу. Идемте!

И он пошел вперед по крытому проходу. Грехэму сразу стало холодно. По изменившемуся звуку шагов он догадался, что они идут по крытому мосту. Спустя минуту они вышли в круглую галерею, забранную стеклами для защиты от наружного воздуха и огибавшую кольцом большую круглую комнату, которая показалась ему знакомой, хоть он и не мог припомнить в точности, бывал ли он тут раньше и когда. В этой комнате стояла приставная лестница — первая, которую он видел после своего пробуждения. Они поднялись по ней и очутились в холодном, темном помещении, где увидели другую такую же лестницу, стоящую почти вертикально. Грехэм все еще не понимал, что это было за место. Но когда они поднялись наверх по второй лестнице, он догадался, где они: он увидел металлическую решетку, за которую держались его пальцы. Он был на куполе собора св. Павла.

Собор лишь немногим возвышался над общею площадью городских крыш, уходя верхушкой в тихий сумрак ночи. Округлые очертания купола, отливавшие жирным блеском под светом далеких огней, покато спускались и исчезали в зияющей внизу темноте.

Он взглянул вверх, на безоблачное небо: звезды сияли по-прежнему. На западе виднелась Капелла, вставала Вега, а прямо над ним, свершая свой путь вокруг полюса, торжественно плыли семь ярких звезд Большой Медведицы.

Все эти созвездия были ясно видны, ибо с этой стороны ничто не застилало неба. Но на востоке и на юге гигантские круглые тени

вертящихся колес ветряных двигателей совершенно закрывали вид: за ними не видно было даже ослепительного света огней вокруг ратуши. На юго-западе, над заревом, отсвечивавшим в небе от осветительных шаров, висел Орион и, как бледный призрак, выглядывал из-за тонкого переплета железных скреплений. Со стороны одной из летательных станций доносился вой сирены, возвещавшей о том, что аэроплан готовится к отлету.

С минуту Грехэм молча смотрел на огни летательной станции, потом взгляд его снова обратился к звездам. Он долго молчал и, наконец, сказал, улыбаясь в темноте:

— Как странно, что я опять стою на куполе святого Павла и опять вижу эти знакомые тихие звезды… Положительно, это самое странное из всего.

Затем Асано повел его дальше. После бесконечных поворотов длинного перехода они пришли в торговые кварталы, где происходила, между прочим, крупная биржевая игра и где в какой-нибудь час наживались и терялись состояния. Перед Грехэмом открылась нескончаемая анфилада высоких залов с нагороженными один над другим рядами галерей, на которые выходили тысячи контор, с запутанной сетью пешеходных мостиков, воздушных рельсовых путей, трапеций и кабелей. Сильнее чем где-либо бился здесь пульс интенсивной жизни, торопливой работы, не поддающейся никакому учету. Повсюду лезли в глаза назойливые рекламы. Мутилось в голове от этой пестроты красок и огней. Бесчисленные говорильные машины наполняли воздух резкими выкриками на идиотском жаргоне: "Разуйте глаза и не зевайте!", "Валите сюда, дурачье, и хватайте!"

Вся анфилада залов и галерей была переполнена народом, и все эти люди были или поглощены темными гешефтами, или охвачены горячкой игры — так, по крайней мере, казалось Грехэму.

С большим удивлением он узнал, что за последние дни в этих кварталах было сравнительно безлюдно, так как недавний политический переворот сократил до небывалого минимума количество коммерческих сделок. Один огромный зал был весь занят столами с рулеткой, и вокруг каждого стола стояла возбужденная, потерявшая человеческий образ толпа игроков. В другом зале был настоящий содом: женщины и мужчины, с перекошенными бледными лицами, с надувшимися от напряжения красными шеями, визжали и ревели во всю глотку, продавая акции какого-то абсолютно фиктивного предприятия, выдававшего каждые пять минут дивидент в десять процентов и погашавшего в то же время некоторую часть своих акций при помощи лотерейного колеса.

Во все эти дела и делишки вкладывалось столько энергии, что, казалось, вот-вот начнется общая свалка. Пройдя несколько шагов, Грехэм увидел густую толпу и посредине ее двух почтенных коммерсантов, которые ругались, как извозчики, и уже готовы были вцепиться друг в друга, поспорив из-за какого-то щекотливого пункта коммерческой этики. Очевидно, в жизни еще оставалось кое-что, из-за чего стоило драться. Подальше он наткнулся на крикливое объявление, горевшее кроваво-красным пламенем огромных букв, в два раза больше человеческого роста: "ГАРАНТИРУЮТ ХОЗЯИНА".

— Какого хозяина? — спросил он.

— Вас.

— В чем же меня гарантируют? Не понимаю.

— Разве в ваше время не было гарантий?

Грехэм подумал.

— Может быть, вы хотите сказать — страхования?

— Ну да, гарантия, страхование… это одно и то же. Так это называлось в старину, теперь припоминаю. Страхуется ваша жизнь. Полисы раскупаются дозандами народа, на вас ставят мириады львов. Это та же игра. Играют и на других — на всех известных людей. Смотрите!

Толпа шарахнулась вперед, заревела, и Грехэм увидел, что большой черный экран загорелся новой кроваво-красной надписью еще больших размеров: "Годовая рента на хозяина — "х 5 пр. Г". Общий рев еще усилился. Несколько человек, запыхавшиеся, с дико выпученными глазами, простирая вперед жадные руки, ловя воздух хищно скрюченными пальцами пробежали мимо. У тесного входа началась неистовая давка.

Асано наскоро сделал подсчет.

— Семнадцать процентов в год с гарантируемой суммы. Не дали бы они так много, государь, если б увидели вас в эту минуту. Но они не знают. Прежде страхование вашей жизни было верным помещением капитала, но теперь, разумеется, это не что иное, как азартная игра. Эта последняя ставка — безнадежное дело. Сомневаюсь, чтобы спекулирующие выручили свои деньги.

Толпа, прибывавшая с каждой минутой, так крепко стиснула их, что они не могли податься ни вперед, ни взад. В числе спекулирующих Грехэм заметил очень много женщин и вспомнил то, что говорил ему Асано об экономической независимости прекрасного пола в двадцать втором столетии. Современные дамы ничуть не терялись в толпе и отлично умели постоять за себя, очень ловко работая локтями, в чем ему пришлось убедиться на собственных боках. Одна интересная особа с кудряшками на лбу, затертая в давке, в двух шагах от него, сперва все поглядывала на него очень внимательно (он даже подумал, уж не узнала ли она его), потом протиснулась ближе, толкнула его плечом — едва ли случайно — и взглядом, древним, как мир, дала ему понять, что он заслужил ее благосклонность. Их скоро разлучил, став между ними

клином, почтенный седобородый старец, очень высокий и худой. В своем благородном стремлении к самопомощи, вспотевший, как мышь, от доблестных усилий, он продирался вперед, слепой ко всему земному, кроме сверкавшей перед ним приманки "х 5 пр. Г".

— Я не хочу больше этого видеть, — сказал Грехэм Асано. — Не затем я вышел на улицы. Покажите мне рабочий народ. Я хочу видеть людей в синей холстине. А эти сумасшедшие паразиты…

Но тут его сдавило напором толпы.

Глава XXI

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА

Из делового квартала они направились в отдаленную часть города, где было сосредоточено производство. Дорогой они дважды пересекли Темзу и прошли через широкий виадук, идущий поперек одной из больших дорог, ведущих в город с севера. Впечатление в обоих случаях получилось беглое, но яркое. Река представляла широкую, блестящую, покрытую рябью полосу черной воды, протекающую под арками зданий и исчезающую в темноте, где мерцали блестки отраженных огней. Ряд темных барок, управляемых людьми в синих блузах, двигался по направлению к морю. Дорога представляла длинный, очень широкий и высокий тоннель, вдоль которого бесшумно и быстро двигались громадные колеса машин. И здесь тоже в изобилии виднелись синие мундиры Рабочего Общества. Грехэма больше всего поразила плавность движения двойных платформ и величина и легкость огромных пневматических колес сравнительно с размерами вагонов, которые они приводили в движение. Его внимание почему-то особенно приковал к себе очень узкий и высокий вагон с продольными металлическими перекладинами, на которых были подвешены сотни свежих бараньих туш. Край арки внезапно заслонил перед его глазами дальнейшую картину.

Однако они скоро покинули движущуюся платформу и спутались на лифте в наклонный проход. Они дошли таким образом до другого лифта, на котором опять спустились, и тут картина изменилась. Даже намек на какие бы то ни было архитектурные орнаменты исчез здесь совершенно; огней стало меньше, и они были тусклее, а здания по мере углубления в фабричные кварталы становились все массивнее по отношению к занимаемому ими пространству. И всюду — в пыльном воздухе гончарных мастерских, среди колес машины, размалывающей полевой шпат, около горнов в металлических мастерских и среди озер пылающего, необработанного идамита — виднелись синие блузы мужчин, женщин и детей.

Многие из этих огромных, пыльных галерей, ведущих в машинные отделения, были пусты и безмолвны. Виднелся бесконечный ряд потухших горнов, указывавший на революционную приостановку работ. Но всюду, где работы еще производились, они исполнялись медленно и вяло рабочими, одетыми в синие холщовые блузы. Единственные люди, не одетые в синий холст, были надсмотрщики и рабочая полиция в оранжевых мундирах.

Под свежим впечатлением раскрасневшихся лиц в танцевальных залах и деятельной энергии делового квартала Грехэм невольно обратил теперь внимание на утомленные глаза, впалые щеки и слабые мускулы большинства рабочих новой эпохи. Те, которых он видел здесь, на работе, были явно ниже в физическом отношении нескольких старших надсмотрщиков и надсмотрщиц, одетых в светлые цвета и руководивших работами. Дюжие работники времен королевы Виктории отошли в прошлое вслед за ломовыми лошадьми и тому подобными производителями силы и совершенно исчезли. Их драгоценные мускулы заменились остроумными машинами. Рабочий позднейших времен, как мужчина, так и женщина, главным образом представлял собою разум машины и был ее кормильцем, слугой и помощником или даже артистом, действующим, впрочем, всегда под чужим руководством.

Женщины в сравнении с теми, которые сохранились в памяти Грехэма, отличались, как на подбор, невзрачностью и плоскогрудостью. Двести лет эмансипации от всех нравственных стеснений, налагаемых пуританской религией, двести лет городской жизни сделали свое дело и уничтожили женскую красоту и силу этой бесчисленной толпы работниц в синих холщовых блузах. Красота и ум, привлекательность и исключительность всегда прокладывали дорогу к освобождению от грязной работы и открывали доступ в "Веселые Города" с их наслаждениями и великолепием и далее — к Эвфаназии и покою. Вряд ли можно было ожидать, чтобы эти люди, получающие такую скудную умственную пищу, могли устоять против подобных искушений. Во время прежней жизни Грехэма новые, накопляющиеся в молодых, развивающихся городах рабочие массы представляли собою разнообразную толпу, подчиняющуюся традициям личной чести и высшей нравственности. Теперь же они дифференцировались в отдельный класс, имевший свои физические и нравственные особенности и даже свой собственный диалект.

Они спускались все ниже по направлению к фабричным кварталам. Скоро они очутились под одной из подвижных улиц и увидели ее платформы, двигавшиеся по рельсам прямо над их головами, и полоски белого света, пробивавшиеся сквозь щели между ее поперечными перекладинами. Те фабрики, где работы не производились, были скудно освещены. Грехэму казалось, что они погружались в темноту вместе со своими гигантскими машинами. Впрочем, и там, где работы не прекращались, освещение все же было довольно скудное по сравнению с городскими улицами.

По ту сторону огненных озер расплавленного идамита находились заповедные мастерские ювелиров. Грехэм лишь с затруднением и только при помощи своей подписи был допущен в эти галереи, высокие, темные и скорее даже прохладные. В первой из них несколько человек были заняты выделкою золотых филигранных украшений. Каждый из этих рабочих сидел отдельно, на маленькой скамейке, возле маленькой лампы под абажуром. Странное впечатление производил длинный ряд

этих светлых пятен вдоль темной галереи. Ярко освещенные, проворные пальцы, быстро перебирающие желтые блестящие полоски металла и напряженные, внимательные лица, склонившиеся над работой, казались призрачными видениями, вынырнувшими из окружающей темноты.

Работа исполнялась превосходно. Однако не было ни малейшего намека на самостоятельность и изобретательность. Большей частью выделывались разные причудливые орнаменты или же исполнялись сложные геометрические фигуры. Рабочие тут носили особую белую форму, без всяких карманов и рукавов. Они надевали ее, когда приходили на работу, а вечером, перед уходом, снимали ее и подвергались осмотру, прежде чем оставляли владения Компании. Однако полисмен рабочей компании сказал вполголоса Грехэму, что, несмотря на все эти предосторожности, Компанию все же нередко обкрадывают.

В следующей галерее женщины гранили и оправляли пластинки искусственного рубина. Рядом с этой галереей мужчины и женщины были заняты выделыванием медной сети, служащей основой для рубиновых пластинок. У многих из этих рабочих губы и ноздри были синевато-белого цвета, что было результатом особой болезни, развившейся под влиянием работы с пурпуровой эмалью, которая была тогда в большой моде.

Асано старался оправдываться перед Грехэмом в том, что повел его такой дорогой, где вид испорченных лиц мог произвести на него неприятное впечатление. Но эта дорога была удобнее.

— Это как раз то, что я хотел видеть, — сказал Грехэм, стараясь не показать своего ужаса при виде особенно обезображенного лица, внезапно очутившегося перед ним.

— Она могла бы быть осторожнее и не так обезобразить себя, — заметил Асано.

Грехэм возмутился.

— Но сэр, — возразил Асано, — без пурпура мы не можем приготовить этих вещей. В ваши дни люди могли выносить грубые изделия, но ведь они были ближе к варварству на целых двести лет!

Они продолжали идти вдоль одной из самых нижних галерей фабрики изделий из рубина и пришли к маленькому мосту, образующему род свода. Взглянув через перила вниз, Грехэм увидел пристань под такими огромными арками, каких еще он никогда не видел. Три баржи, наполовину скрытые в облаках белой мучнистой пыли, выгружали при помощи целой толпы кашляющих людей свой груз размолотого полевого шпата. Каждый рабочий двигал маленькую тележку. Пыль наполняла все пространство, образуя удушливый туман, придававший желтый оттенок электрическому свету. Жестикулирующие тени рабочих то появлялись, то исчезали на длинной белой известковой стене. То и дело какой-нибудь из них останавливался и начинал кашлять.

Туманная масса громадных каменных сооружений, поднимавшихся над чернильными водами реки, напомнила Грехэму о множестве дорог, галерей и лифтов, которые, поднимаясь этажами над его головой, отделяли его от поверхности земли. Люди работали молча, под наблюдением двух полисменов рабочей полиции, и только шаги их производили глухой звук, когда они ступали по плитам.

В то время как Грехэм наблюдал эти сцены, в темноте раздался чей-то голос, начавший петь.

— Молчать! — крикнул полицейский, но его приказание не было исполнено. Сначала один, а потом и все покрытые белой пылью

рабочие, вызывающе подхватили припев Песни Восстания. Шаги рабочих, ступающих по плитам, отбивали такт этой песни: "трамп! трамп! трамп!" Полицейский, отдавший приказание, взглянул на своего товарища, и Грехэм увидел, что тот пожал плечами. Он больше не делал попыток прекратить пение.

Так ходили они по фабрикам и местам, где трудился народ, и видели много тяжелых и прискорбных вещей.

Эта прогулка оставила в уме Грехэма вереницу смутных и постоянно меняющихся картин. Он видел громадные залы, битком набитые целыми толпами людей, гигантские своды, исчезающие в облаках пыли, сложные машины, длинные ряды ткацких станков с бегущими нитями, слышал тяжелые удары дробильных машин, грохот и скрип ремней и машинных приборов, видел плохо освещенные подземные боковые отделения для спальных мест и бесконечный ряд тусклых огней. В одном месте он ощутил запах дубильной кожи, в другом — запах пивоварни, в третьем — испарения, не поддающиеся никакому определению. И везде он видел столбы и арки такой массивной постройки, каких он никогда не видал доселе. Это были кирпичные титаны, на которые опиралась громадная тяжесть этого сложного мирового города, давящего своею сложностью миллионы живущих в нем анемичных людей. И потому он видел бледные лица, тощие, изможденные члены, уродство и вырождение.

Три раза Грехэм слышал Песню Восстания во время своего долгого и неприятного странствования по этим местам. В конце одного прохода он увидел беспорядочную свалку. Это были крепостные рабочие, захватившие свой хлеб раньше окончания работ. Поднимаясь по направлению к улицам, Грехэм увидал детей в синих блузах, бегущих в поперечный проход, и тотчас же понял причину их паники, так как увидал отрад рабочей полиции, вооруженной дубинками и направляющейся скорым шагом в ту сторону, где произошли какие-то беспорядки. Вдали где-то начиналась смута, но большинство из этих оставшихся рабочих продолжало работать, работать без всякой

надежды. Все то воодушевление, которое еще сохранилось у этого падшего человечества, сосредоточилось в эту ночь наверху, на улицах, где раздавались громкие крики, звавшие повелителя, и где люди шумно и мужественно хватались за оружие.

Грехэм и его спутник снова очутились на движущейся платформе, ослепленные ярким светом центрального прохода. Они скоро различили отдаленный лязг и визг машин одного из отделов службы всеобщих известий. Но вдруг показались бегущие люди, и вдоль платформы и на улицах послышались крики и возгласы. Пробежала женщина, на побледневшем лице которой выражался безмолвный ужас. Другая бежала за ней, задыхаясь и пронзительно крича.

— Что такое случилось? — спросил с недоумением Грехэм, так как он не мог понять их жаргона. Только когда он услышал настоящую английскую речь, он понял, в чем дело, и узнал, что кричали все эти люди, пробегая мимо, что заставляло женщин визжать от страха и что внезапно разнеслось по всему городу, как первые предвестники надвигающейся грозы, вселяя повсюду ужас и вызывая содрогание.

— Острог вызвал черную полицию в Лондон! Черная полиция идет сюда из Южной Африки! Черная полиция!.. Черная полиция…

Лицо Асано побледнело, и на нем выразилось удивление. Он с минуту колебался, затем взглянул на Грехэма и рассказал ему то, что сам уже знал раньше.

— Но как они узнали об этом? — спрашивал он себя с изумлением.

Грехэм услышал, как кто-то крикнул:

— Прекратите всякую работу! Прекратите всякую работу!

Какой-то смуглый горбун, смешно и пестро одетый в зеленое с золотом, вскочил впрыжку на движущуюся платформу, громко крича на хорошем английском языке:

— Это сделал Острог! Острог — негодяй! Повелитель обманут!..

Голос его хрипел, и тонкая струйка пены капала из его отвратительного кричащего рта. В его криках слышался невыразимый ужас, вызванный действиями черной полиции в Париже. Он удалился, продолжая выкрикивать: "Острог — негодяй!"

На мгновение Грехэм остановился, так как ему снова пришло в голову, что это сон. Он взглянул на громады высоких зданий по обеим сторонам пути, исчезающих в голубоватом тумане поверх фонарей, посмотрел вниз на жужжащие ярусы движущихся платформ, на бегущих, кричащих и жестикулирующих людей…

— Повелитель обманут!.. Повелитель обманут!..

И вдруг он понял действительное положение вещей. Его сердце забилось сильнее.

— Настало, — сказал он. — Я должен был бы знать это! Час настал!..

Он поспешно прибавил:

— Что же мне делать?

— Вернитесь назад, в Дом Совета, — сказал Асано.

— Но отчего бы мне не обратиться?.. Ведь народ находится здесь!

— Вы только потеряете время. Они будут сомневаться, не поверят, что это вы. Но они непременно соберутся около Дома Совета. Там вы найдете их вождей. Ваша сила там, с ними!

— Быть может, это только слух?

— Но это похоже на правду, — возразил Асано.

— Подождем фактов!

Асано пожал плечами.

— Лучше идти к Дому Совета! — закричал он. — Именно туда они все направятся. Пожалуй, уже теперь нельзя пройти через развалины.

Грехэм нерешительно взглянул на него, но все же последовал за ним.

Они поднялись на верхнюю быстроходную платформу, и там Асано заговорил с одним рабочим, который отвечал ему на простонародном жаргоне.

— Что он говорит? — спросил Грехэм.

— Он знает очень мало. Впрочем, он сказал, что черная полиция явилась бы сюда раньше, чем кому-нибудь это стало известно, если б кто-то в Управлении ветряных двигателей не проведал про это и не разгласил этого. Он говорит, что это была девушка…

— Девушка?

— Он так сказал. Но он не знает, кто она такая. Она вышла из Дома Совета, громко крича, и рассказала об этом людям, работавшим в развалинах.

Снова раздался крик, давший определенное направление беспорядочному народному движению. Этот крик пронесся, точно ветер, вдоль улиц.

— Все по местам! Все по местам! Каждый человек получает оружие! Каждый пусть идет на свое место!

Глава XXII

БОРЬБА В ДОМЕ СОВЕТА

Асано и Грехэм направились к развалинам около Дома Совета, повсюду встречая возбужденную толпу. Волнение все возрастало. "Все по местам! Все по местам!" — поминутно раздавались крики. Мужчины и женщины, бросив свою подземную работу, бежали к лестницам подземного прохода. В одном месте Грехэм увидел арсенал революционного комитета, осажденный толпой кричащих людей. В другом несколько человек, одетых в ненавистную оранжевую форму рабочей полиции, спасаясь от преследующей толпы, перескочили на быстроходную платформу, движущуюся в противоположном направлении.

По мере того как Грехэм и его спутник приближались к правительственным зданиям, призыв "По местам!" превратился в один общий несмолкаемый крик. Что кричали отдельные люди, разобрать было нельзя.

— Острог обманул нас! — рычал какой-то человек охрипшим голосом, и эта фраза, повторяемая несколько раз над самым ухом Грехэма, оглушала и преследовала его. Этот человек стоял рядом с ним

на быстроходной платформе и кричал что-то тем, которые толпились на нижних платформах. Его крик относительно Острога сменялся по временам какими-то непонятными приказаниями, которые он отдавал. Но вскоре он спрыгнул вниз и исчез.

В ушах Грехэма продолжал звучать этот крик. У него не было никакого определенного плана, и он не знал, как поступить. Он думал о том, чтобы обратиться к толпе с какого-нибудь возвышения и чтобы встретиться в Острогом лицом к лицу. В душе его закипало бешенство. Он чувствовал сильнейшее возбуждение, мускулы у него были напряжены и руки невольно сжимались.

Путь к Дому Совета через развалины был уже непроходим, но Асано обошел это затруднение и провел Грехэма через центральное почтовое управление. Оно номинально продолжало работать, но почтальоны в синей одежде лениво передвигались, постоянно останавливаясь под арками галереи, чтобы посмотреть на бегущих мимо и кричащих людей. "Пусть каждый отправляется на свое место!.. Каждый должен быть на своем месте!.." Здесь Грехэм, по совету Асано, открыл, кто он такой.

Они переправились в Дом Совета в кабине, движущейся по канату. В короткий промежуток времени после капитуляции советников произошли большие перемены в наружном виде развалин. Каскады морской воды, низвергавшиеся с шумом из разорванных труб, были прекращены, и громадные временные трубы были проложены вверху над головами, поддерживаемые рядами непрочных на вид балок. Небо снова заслонила сеть восстановленных кабелей и проволок, обслуживавших Дом Совета. А слева от белого здания выдавалась масса подъемных кранов и строительных машин, которые двигались взад и вперед.

Подвижные пути, проходящие через эту область, были тоже восстановлены, хотя они теперь еще двигались под открытым небом. Это были те самые пути, которые Грехэм видел с маленького балкона в тот час, когда проснулся, девять дней тому назад. В некотором

отдалении отсюда находился раньше зал, где он лежал в спячке: теперь на этом месте была лишь груда бесформенных каменных обломков.

Был уже день, и солнце ярко светило на небе. Быстроходные платформы, появляясь из освещенных голубым электрическим светом подземных проходов, были наполнены людьми, которые все более и более густой толпой собирались над обломками и хаосом развалин. Воздух был наполнен их криками, и все устремлялись и теснились к центральному зданию. Грехэм заметил, что среди этой толпы существовало стремление установить нечто вроде грубой дисциплины, но большинство все же представляло бесформенную массу. И повсюду раздавались голоса, взывавшие к порядку: "Все на свои места! На свои места!"

Кабель доставил их в зал, в котором Грехэм тотчас же узнал преддверие зала Атласа, находившегося над галереей, по которой он проходил с Говардом через час после своего пробуждения, чтобы показаться Совету, который теперь исчез. Но тут было пусто, и только два служителя при кабеле еще оставались на своих местах. Они, по-видимому, были чрезвычайно удивлены, узнав в человеке, соскочившем вниз, Спящего, который тотчас же спросил их:

— Где Острог? Я должен немедленно видеть Острога! Он ослушался меня. Я вернулся, чтобы взять власть из его рук…

Не дожидаясь Асано, Грехэм поднялся по ступеням на дальнем конце зала и, отвернув занавес, очутился перед лицом вечно работающего Титана.

Зал был пуст. Его внешность, однако, сильно изменилась после того, как он его видел в первый раз. Она довольно-таки сильно пострадала от первого революционного взрыва. С правой стороны огромной статуи верхняя часть стены была разрушена на протяжении двухсот футов, и

пролом был заткнут такой же стекловидной перепонкой, какая окружала Грехэма, когда он проснулся. Это до некоторой степени заглушало гул толпы, доносившийся снаружи. "По местам!.. По местам!.. По местам!.." — все еще кричали там. Сквозь эту перепонку просвечивали балки и подпорки железных подмостков, которые то поднимались, то опускались, управляемые целой толпой рабочих. На зеленоватом фоне этой картины виднелась строительная машина, неподвижно простиравшая теперь свои огромные рычаги, выкрашенные в красный цвет, точно тонкие металлические руки, которые служили для того, чтобы брать глыбы пластического минерального теста и аккуратно прилаживать их, придавая им нужную форму и положение. Около машины стояли рабочие и смотрели на гудящую внизу толпу.

Грехэм на минуту остановился, смотря на эту картину, и Асано догнал его.

— Острог находится там, в маленьких комнатах правления, — сказал он.

Асано был мертвенно бледен и всматривался в лицо Грехэма.

Они не прошли и десяти шагов, как с левой стороны Атласа поднялась вверх узкая панель в стене, и оттуда вышел Острог в сопровождении Линкольна и двух одетых в черные и желтые цвета негров. Он прошел через зал по направлению к другой панели, которая тоже раскрылась перед ним.

— Острог! — крикнул Грехэм, и при звуках его голоса маленькая группа с удивлением повернулась.

Острог что-то сказал Линкольну, и один подошел к Грехэму. Грехэм заговорил, и голос его звучал повелительно и громко.

— Что это я слышу? — спросил он, — Вы призываете сюда негров, чтобы удержать в повиновении народ?..

— Давно пора! — отвечал Острог. — Они все больше и больше отбиваются от рук после восстания. Я слишком легко отнесся…

— Не хотите ли вы сказать, что эти проклятые негры находятся уже в дороге?

— Да. Но ведь вы же видели, что делается там, снаружи?

— Ничего удивительного! Но после всего, о чем вы говорили… Вы слишком много берете на себя, Острог!

Острог ничего не ответил, но подошел ближе.

— Эти негры не должны являться в Лондон. Я повелитель здесь, и они не должны приезжать сюда!

Острог взглянул на Линкольна, который тотчас же приблизился к нему вместе со своими двумя служителями.

— Отчего же нет? — спросил Острог.

— Белые люди должны управляться только белыми. Притом же…

— Но негры здесь только орудие!..

— Это не имеет отношения к делу. Я тут повелитель и хочу им оставаться! Говорю вам: негры не должны быть здесь!

— Народ…

— Я верю в народ!

— Потому что вы сами анахронизм — вы человек прошлого, случайность! Вы, быть может, владеете половиной собственности всего мира, но повелителем его вы не можете быть. Вы слишком мало знаете для этого!

Острог снова взглянул на Линкольна и прибавил:

— Я знаю теперь, что вы думаете, и догадываюсь о том, что вы намерены делать. Но и теперь еще не поздно предостеречь вас. Вы мечтаете о человеческом равенстве, о социалистическом порядке! В вашем уме сохранились в полной силе эти обветшалые мечты девятнадцатого века. И вы хотите управлять этим веком, которого вы не понимаете!

— Прислушайтесь! — сказал Грехэм, — Вы слышите этот звук? Точно бушующее море! Тут нет отдельных голосов, а есть только единый голос! Понимаете ли вы сами это?

— Мы научили их этому…

— Может быть. Однако можете ли вы научить их теперь забыть это? Но довольно разговоров. Негры не должны быть здесь!

Острог взглянул ему в глаза.

— Они будут!

— Я запрещаю! — сказал Грехэм.

— Они уже отправились…

— Я не хочу этого!

— Нет! — возразил Острог, — Как мне ни грустно следовать методу Совета…. Ради вашего блага вы не должны становиться на сторону… беспорядка. А теперь, когда вы здесь… Вы очень хорошо сделали, что пришли сюда!..

Линкольн подошел и положил свою руку на плечо Грехэма. Внезапно Грехэм понял, какую громадную ошибку он сделал, придя к Дому Совета. Он повернулся к занавеси, отделявшей прихожую от зала, но цепкая рука Асано помешала ему. В следующую минуту Линкольн схватил Гре-хэма за платье.

Грехэм повернулся и ударил Линкольна по лицу, но тотчас же негр схватил его за ворот и рукав. Грехэм вырвался, разорвав с треском рукав, и отскочил назад, но его сшиб с ног другой служитель. Он тяжело упал на землю и несколько мгновений лежал, глядя на высокий потолок зала…

Потом он вскрикнул и, ворочаясь, старался вскочить. Он схватил одного из служителей за ногу и бросил его головой вниз. Линкольн подбежал к нему, но тотчас же тяжело упал, сраженный ударом в челюсть, и остался недвижим.

Поднявшись, Грехэм сделал два шага шатаясь. Но Острог схватил его за горло и повалил навзничь. Руки его были прижаты к земле. После нескольких отчаянных усилий освободиться Грехэм вдруг прекратил борьбу. Он лежал и смотрел на тяжело дышащего Острога.

— Вы… пленник!.. — проговорил, задыхаясь и торжествуя, Острог. — Вы… были безумцем… возвратившись назад!

Грехэм повернул голову и заметил сквозь неправильное зеленоватое окно в стенах зала, что люди, работавшие с подъемными

кранами, с жаром жестикулируют, сообщая что-то толпе, находящейся внизу. Они видели!..

Острог заметил, куда он смотрит, и тоже повернулся. Он крикнул что-то Линкольну, но Линкольн не двигался. Пуля ударилась в лепные украшения над Атласом. Две полосы прозрачного вещества, прикрывавшие щель, разлетелись, края образовавшейся трещины потемнели, свернулись и быстро отодвинулись в сторону. В одно мгновение комната Совета оказалась открытой и струя холодного ветра проникла через отверстие, принося с собой гул голосов снаружи, из развалин, точно таинственный шепот каких-то духов.

— Спасите повелителя!.. Что они делают с ним? Его предали.

Грехэм заметил, что внимание Острога чем-то отвлечено и нажим его рук несколько ослабел. Осторожно освободив свою руку, Грехэм поднялся на колени и в следующее мгновение повалил Острога на спину, стоя на одном колене и держа его за горло, в то время как рука Острога вцепилась в его шелковый воротник.

Но к ним уже устремлялись люди с эстрад — люди, намерения которых были непонятны ему. Он увидел мельком человека, бегущего по направлению к портьерам прихожей, и в тот же миг Острог разжал руки, а вновь прибывшие люди бросились на него и, к величайшему изумлению Грехэма, схватили его. Они повиновались крикам Острога.

Его протащили шагов двенадцать, пока он понял, наконец, что это не были друзья и что они тащили его к открытой панели. Когда он увидал это, то начал упираться, пробовал бросаться на землю и звал на помощь изо всех сил. И на этот раз он услышал ответные крики.

Руки, державшие его за шею, ослабели, и вдруг в нижнем углу пролома показалась сначала одна, а потом множество черных фигур, кричащих и размахивающих оружием. Они прыгали через отверстие в

светлую галерею, которая вела в Комнаты Молчания. Они бежали по галерее и были так близко от него, что Грехэм мог различить ружья в их руках. Затем Острог что-то крикнул над самым его ухом людям, державшим его, и он должен был употребить все свои силы, чтобы не дать себя подтащить к отверстию, которое зияло перед ним.

— Они не могут сойти вниз! — кричал, задыхаясь. Острог. — Стрелять они не смеют! Все прекрасно! Мы и на этот раз уведем его от них!..

Грехэму казалось, что эта постыдная неравная борьба продолжалась довольно долго. Его платье было изодрано во многих местах, он был весь в пыли, и одна рука у него была отдавлена. Он слышал крики своих приверженцев и даже слышал выстрелы. Но он чувствовал, что силы его слабеют и что все его попытки бесцельны и бесполезны. Помощь не приходила, и зияющее темное отверстие неуклонно приближалось к нему…

Однако вдруг тиски рук, державших его, опять ослабели, и он с трудом приподнялся с земли. Тут он увидел удаляющуюся от него седую голову Острога и понял, что его уже никто не держит. Он повернулся и очутился лицом к лицу с человеком, одетым в черное. Одно из зеленых ружей щелкнуло как раз около него, прямо ему в лицо пахнула струя едкого дыма и мелькнул стальной клинок. Огромный зал закружился у него перед глазами…

Почти у самого его лица какой-то человек в бледно-голубом заколол кинжалом одного из черно-желтых слуг. Затем его снова схватили чьи-то руки…

Его тащили в две разные стороны. Ему казалось, что люди что-то кричат ему. Он хотел понять, но не мог. Кто-то обхватил его за ноги и поднял, несмотря на его отчаянное сопротивление.

Но он внезапно понял, в чем дело, и перестал бороться. Его подняли на плечи и унесли прочь от зияющей дыры в панели, точно ожидавшей его, чтоб проглотить. Раздались радостные, ликующие крики…

Он видел теперь, что люди в синем и черном преследуют отступающих приверженцев Острога и стреляют им вслед. Он видел с высоты, на которой находился, все пространство зала около изображения Атласа и понял, что его несут к возвышенной эстраде, находящейся в центре. В дальнем конце зала собиралась толпа, и оттуда люди бежали к нему. Они смотрели на него и радостно кричали.

Он скоро заметил, что его окружал как бы отряд телохранителей. Какие-то люди около него выкрикивали приказания, и усатый человек, одетый в желтое, которого он видел раньше среди тех, кто приветствовал его в театре в день его пробуждения, тоже находился тут же и делал какие-то указания. Зал был уже густо наполнен волнующейся толпой, и маленькая металлическая галерея гнулась под тяжестью кричащих людей. Занавес в конце зала был сорван, и в передней тоже кишел народ.

Кругом был такой оглушительный шум, что человек, стоящий возле Грехэма, с трудом расслышал его вопрос:

— Куда девался Острог?

Человек, спрошенный им, указал ему, через головы толпы, на нижние панели зала, с противоположной стороны пролома. Эти панели были открыты, и вооруженные люди, одетые в синее с черными шарфами, вбегали туда и исчезали в комнатах и коридорах, находившихся за ними. Грехэму показалось, что к нему доносятся звуки выстрелов и происходящей там борьбы.

Его подняли и пронесли, описывая ломаную линию, через огромный зал к отверстию возле пролома. Он заметил, что окружающие его люди,

соблюдая известную дисциплину, стараются удерживать толпу так чтобы около него всегда оставалось свободное пространство.

Вынесенный из зала, он увидел прямо перед собой неотделанную новую стену, упирающуюся, казалось, в голубое небо. Его поставили на ноги; кто-то взял его за руку и повел. Какой-то человек в желтом шел около него.

Его вели по узкой кирпичной лестнице, и рядом с ним возвышались выкрашенные в красную краску краны, рычаги и остальные части огромной строительной машины.

Когда он достиг вершины лестницы, его повели дальше по узенькому проходу с перилами, и тут внезапно перед ним открылся амфитеатр развалин, откуда раздавались крики:

— Повелитель с нами! Повелитель! Повелитель!

Грехэм заметил, что его более не окружают люди и что он стоит на маленькой временной платформе из белого металла, составлявшей часть лесов, окружавших главные постройки Дома Совета. Все громадное пространство развалин было покрыто волнующейся несметной кричащей толпой, и в разных местах уже развевались черные знамена революционных обществ, образующие нечто вроде центров, вокруг которых среди всеобщего невообразимого хаоса группировались люди. Отвесные лестницы, стены и леса, по которым его освободители добрались до отверстия в зале Атласа, теперь унизаны были народом, а на всех выступах и столбах повисли маленькие, энергичные черные фигурки, взбиравшиеся все выше и старавшиеся увлечь за собой остальную массу. Позади него, на самом возвышенном пункте лесов, группа людей пыталась укрепить как можно выше огромное черное знамя, которое развевалось и хлопало во все стороны. Через зияющее отверстие в стене перед собой он мог рассмотреть напряженно внимательную толпу, наполнявшую зал

Атласа. К югу ясно и отчетливо виднелись отдаленные летательные станции, казавшиеся близкими вследствие необычайной прозрачности воздуха. Одинокий моноплан поднялся с центральной станции, быть может, навстречу прибывающим аэропланам…

— Что сталось с Острогом? — спросил Грехэм.

Задавая этот вопрос, он увидел, что все глаза обращены на верхушку крыши Дома Совета. Он тоже посмотрел в ту сторону, которая так привлекала всеобщее внимание. Сначала он ничего не видел, кроме зубчатого угла стены, резко выделяющегося на безоблачно синем небе. Затем мало-помалу он начал различать внутренность какой-то комнаты и с удивлением узнал зеленые и белые украшения своей прежней тюрьмы. Какая-то маленькая белая фигура, за которой следовали две другие, казавшиеся еще меньше и одетые в черное с желтым, быстро прошла через комнату и направилась к самому краю развалин.

Человек, стоявший около него, воскликнул:

— Острог!

Грехэм обернулся, чтобы спросить, но не успел, потому что раздалось испуганное восклицание другого человека, стоявшего возле него и указывавшего на что-то своим тощим пальцем. Грехэм посмотрел туда и увидел, что моноплан, только что перед этим поднявшийся с летательной станции, теперь несся прямо на них. Такой быстрый, плавный полет был для него новинкой и поэтому привлек его внимание.

Моноплан все приближался, быстро увеличиваясь в размерах. Проскользнув над отдаленным краем развалин, он очутился в поле зрения густой народной массы, столпившейся внизу. Он спустился, пересекая это пространство, и снова поднялся и пронесся над головами людей, затем взвился еще выше, чтобы обогнуть громаду Дома Совета. Он казался хрупким и прозрачным, и из-за его ребер виднелся одинокий

аэронавт. Он исчез за линией развалин, темневшей на фоне небесного свода.

Внимание Грехэма сосредоточилось теперь на Остроге, который делал какие-то знаки руками. Его помощники торопливо разрушали около него стену. В следующий момент снова показался моноплан в виде далекой маленькой точки, которая теперь медленно приближалась, описывая дугу.

Вдруг человек в желтом крикнул:

— Что они делают? Чего народ смотрит? Зачем оставили там Острога? Почему его не взяли в плен? Ведь они поднимут его теперь. Моноплан унесет его! А!..

На его восклицание отвечали, словно эхо, громкие крики в развалинах. Треск зеленых ружей донесся через пропасть к Грехэм, и, взглянув вниз, он увидел множество людей в черно-желтых мундирах, бегущих по одной из галерей с проломанной стеной, находящейся под тем выступом, на котором стоял Острог. Они стреляли на бегу в каких-то невидимых людей. Затем показались гнавшиеся за ними синие фигуры. Эти крошечные сражающиеся фигурки производили самое странное впечатление. Издали они казались какими-то маленькими игрушечными солдатиками. Необъятный вид дома, внутренность которого была раскрыта вследствие пролома стен, придавал этой битве, среди мебели и проходов, какой-то нереальный характер. Это происходило, быть может, за двести ярдов от него и приблизительно на высоте пятидесяти ярдов, над головами тех, кто находился в развалинах внизу.

Люди в черном с желтым вбежали на какую-то открытую арку и, обернувшись, дали залп, один из синих преследователей, бежавший впереди, у самого края пролома, как-то странно взмахнул руками и качнулся вбок. Грехэму показалось, что он повис над краем на

несколько мгновений и затем свалился вниз. Грехэм видел, как он на лету стукнулся о выступающий угол, отскочил в сторону и, перекувырнувшись несколько раз в воздухе, скрылся за красными рычагами строительной машины.

Какая-то тень на мгновение заслонила солнце. Грехэм взглянул вверх — небо было чисто. Он понял, что это промелькнул моноплан.

Острог исчез! Человек в желтом протиснулся вперед и, возбужденно жестикулируя, кричал:

— Они пристают! Они пристают! Скажите людям, чтоб они стреляли в него! Скажите им это!..

Грехэм ничего не понимал. Он только слышал громкие голоса, повторявшие эти загадочные приказания.

Вдруг из-за края развалин показался моноплан. Скользнув над стеной, он подпрыгнул и сразу остановился. Грехэм тут понял, что моноплан пристал для того, чтобы дать Острогу возможность бежать на нем. В то же время он заметил голубоватый дым и сообразил, что люди внизу стреляют по выступающей части машины.

Какой-то человек возле него хрипло издал одобрительный возглас. Грехэм увидел, что синие достигли арки, которую защищали за несколько мгновений перед этим черножелтые, и, опрокинув их, непрерывным потоком ринулись в открытый проход.

И вдруг моноплан соскользнул с края стены и стал падать. Он падал под углом в 45 градусов и так круто, что Грехэму показалось, — да и всем другим точно так же, — что он уже не в состоянии будет подняться вверх.

Он пролетел так близко, что Грехэм мог разглядеть Острога, цепляющегося за поручни сиденья. Его седые волосы развевались. Аэронавт с мертвенно-бледным лицом налегал изо всей силы на рычаг двигательной машины. Он слышал, как ахнула в ожидании толпа внизу…

Грехэм схватился за перила и замер, напряженно всматриваясь. Минута казалась ему вечностью. Нижнее крыло опускавшегося моноплана чуть не задело людей внизу, кричавших и толкавших друг друга.

Затем он поднялся.

В первую минуту казалось, что он, во всяком случае, не в состоянии будет пронестись над стеной или что он заденет ветряные колеса, вращавшиеся вверху.

Но он преодолел все эти препятствия и поднялся. Он накренился на один бок, но улетал все дальше и дальше в синеве небес…

Напряженное ожидание разрешилось яростью, когда люди поняли, что Острог ушел от них. С запоздалой энергией они возобновили стрельбу, пока треск отдельных выстрелов не превратился в сплошной гул и все пространство не заволокло синей мглой, а воздух пропитался едким дымом.

Слишком поздно! Моноплан, улетая, становился все меньше и меньше и, наконец, описав дугу, плавно спустился к летательной станции, откуда он недавно поднялся.

Несколько мгновений продолжалось смутное гудение толпы в развалинах, а затем всеобщее внимание обратилось на Грехэма, стоявшего на самом верху, среди лесов. Он увидел, что лица всех обращены к нему, и услыхал громкие радостные крики по поводу своего

избавления. И вдруг раздалась Песнь Восстания, и она пронеслась, как дуновение бури над волнующимся морем людей…

Маленькая группа людей около него поздравляла его со спасением. Человек в желтом, стоявший рядом с ним, смотрел на него сияющими глазами. А звуки песни все росли и становились громче. "Трамп! Трамп! Трамп!.."

Полное и ясное сознание того, что произошло, пришло к нему не сразу, но Грехэм, наконец, понял, что его положение быстро изменилось. Острог, всегда стоявший рядом с ним, когда бы он ни смотрел на кричащую толпу, теперь был далеко, стал его противником! Не было никого, кто бы мог управлять за него. Даже все эти люди, стоявшие около него, вожди и организаторы толпы, и те смотрели на него, ожидая, что он сделает, ожидая его поступков и приказаний. Он был настоящим королем теперь. Его прежнее игрушечное царствование пришло к концу.

Он был воодушевлен желанием сделать то, что ожидали от него. Его нервы, мускулы дрожали от напряжения. Он чувствовал, быть может, некоторое смущение, но ни страха, ни гнева у него не было. Только его придавленная рука распухла и горела.

Однако он был несколько смущен своим внешним видом. Он не чувствовал страха, но боялся, что может показаться испуганным.

В своей прежней жизни он не раз испытывал сильнейшее возбуждение во время разных игр, требующих ловкости. Теперь его охватила жажда немедленной деятельности. Он понимал, что не должен слишком вдумываться в подробности этой грандиозной по своей сложности борьбы, так как сознание ее необычайной запутанности могло бы парализовать его силы…

Там, вдали, синели четырехугольные очертания летательных станций, напоминая об Остроге. Он будет бороться с Острогом за будущее мира!

Глава XXIII

ГРЕХЭМ ГОВОРИТ СВОЕ СЛОВО

В течение некоторого времени повелитель земли не мог даже управлять своими собственными мысля ми. Даже его воля не казалась ему больше его собственной волей, и его собственные поступки изумляли его, как будто и они были только частью странных переживаний, нахлынувших на него откуда-то со стороны. Но одно было совершенно ясно: аэропланы приближаются! Элен Уоттон оповестила об этом народ.

Ясно было также, что он — повелитель земли. Каждый из этих фактов как будто боролся с другими за исключительное обладание его мыслями. Они выступали перед ним везде: в залах, где кишел народ, в возвышенных проходах, в комнатах, где собирались вожди отдельных частей для совещания, в помещениях для телефона и кинематографа и в окнах, через которые он видел шумную толпу двигающихся людей.

Трудно было сказать, увлекает ли его за собой человек в желтом и те, кого он считал вождями отдельных частей, или же они сами послушно следуют за ним? Вероятно, было и то и другое. Но, быть может, какая-то сила, невидимая и неподозреваемая, толкала их всех.

Он вдруг сообразил, что ему нужно обратиться с воззванием к народам земли и что в мозгу у него уже слагаются грандиозные фразы, выражающие его мысли, затем произошло много разных мелких событий, и вот он очутился рядом с человеком в желтом, и они вместе вошли в комнату, где должно было быть произнесено его воззвание.

Эта комната была причудливым воплощением современности, со всеми ее позднейшими приспособлениями. В центре виднелся яркий овал, образуемый падавшим сверху электрическим светом. Все остальное было в тени, а двойные, плотно закрывающиеся двери, через которые вошел Грехэм из зала Атласа, обеспечивали здесь полную тишину. Глухой звук закрывающейся за ним двери, внезапное прекращение шума, среди которого он жил несколько долгих часов, трепещущий круг света, шепот и быстрые бесшумные движения слуг, едва различаемых в тени, — все это производило на Грехэма странное впечатление. Огромные уши фонографического механизма зияли в батарее, словно приготовляясь слушать его слова, а черные глаза огромной фотографической камеры ловили его движения. Дальше тускло блестели металлические прутья и катушки и что-то с жужжанием вертелось наверху. Он вошел в середину освещенного овала, и его тень съежилась и превратилась у его ног в маленькое и резкое черное пятно.

В его уме уже сложилось в смутных чертах все то, что он намеревался сказать. Но он не ожидал ни этой внезапной тишины, ни этого уединения, ни полного отсутствия людей, заражавших его своим воодушевлением, ни такой безмолвной аудитории, какую представляли эти машины, слушающие и видящие. Он как будто сразу потерял всякую опору, и ему показалось, что он очутился здесь неожиданно для себя и теперь не знает, что делать. В нем сразу произошла перемена, и он почувствовал страх, что не справится со своей задачей. Он боялся показаться слишком театральным, боялся за свой голос, за свой ум, и, удивленный тем, что в нем происходило, он обернулся с умоляющим жестом к человеку в желтом.

— На минутку подождите, — сказал он, — Сейчас я не могу. Я не ожидал, что так будет! Мне еще надо обдумать то, что я хочу сказать.

Пока он колебался начать, явился взволнованный человек с известием, что передовые аэропланы уже прошли над Мадридом.

— Какие получены вести с летательных станций? — спросил Грехэм.

— Люди юго-западных частей готовы.

— Готовы?

Он нетерпеливо обернулся к блестящим линзам аппарата и сказал:

— Я думаю, что мне надо произнести нечто вроде речи. Если б только я знал, что надо сказать! Аэропланы в Мадриде! Они, должно быть, отправились раньше главного флота. А люди еще только готовятся? Наверное…. Впрочем, не все ли равно, буду ли я говорить хорошо или дурно! — вдруг сказал он сам себе и заметил, что свет стал ярче.

Он уже составил в уме несколько неопределенных фраз, выражающих чувства, но внезапно им снова овладели сомнения. Уверенность в своих героических качествах и в своем призвании как будто покинула его. Картина бесцельности и непонятности того, что совершалось, заслонила перед ним все. Внезапно для него стало совершенно ясно, что это восстание против Острога было преждевременным и было обречено на неудачу. Это был страстный импульс, побуждающий к борьбе с неизбежностью. Грехэм думал о быстром полете аэропланов, видел в нем неумолимый перст рока. Его несказанно удивляло, что он может рассматривать теперь вещи с другой точки зрения. Но он боролся со своими сомнениями и, наконец, решительно отбросив их в сторону, сказал себе, что он должен пройти через это испытание и сделать то, что он намеревался сделать.

Однако он все еще не находил слов, чтобы начать. Но в то время как он стоял в нерешительности, из уст его уже готовы были слететь слова извинения, вдруг донесся снаружи шум и крики бегающих взад и вперед людей.

— Подождите! — крикнул кто-то, и дверь отворилась.

— Она идет!.. — послышались голоса. Грехэм повернулся, и огни, освещавшие его, померкли.

В открытую дверь он увидел легкую серую фигуру, которая проходила через обширную залу. Его сердце дрогнуло. Это была Элен Уоттон…

За ней и кругом нее раздавались аплодисменты. Человек в желтом, стоявший в тени, вошел в круг света.

— Это та самая девушка, которая сообщила нам, что сделал Острог, — сказал он.

Она вошла очень спокойно и стояла молча, словно не желая говорить с Грехэмом. Но все его сомнения и вопросы исчезли в ее присутствии, и он вспомнил все, что хотел сказать народу.

Он встал против камеры, и свет вокруг него засиял ярче. Повернувшись к Элен, он сказал:

— Вы помогли! Вы очень мне помогли. Все это так трудно.

Он замолчал на минуту. Потом, обратившись к невидимым народным массам, которые как будто взирали на него сквозь черные глаза камеры, медленно заговорил:

— Мужчины и женщины новой эпохи! — начал он. — Вы восстали, чтобы биться за человеческую расу! Но легкой победы тут не может быть…

Он остановился, ища слова. Мысли, уже сложившиеся в его уме до ее прихода, теперь возвращались к нему, но без примеси сомнений в их уместности.

— Эта ночь представляет только начало! — сказал он. — Предстоящая битва, та, которая надвигается на нас в эту ночь, — только начало! Возможно, что вам придется бороться всю вашу жизнь. Но не падайте духом даже в том случае, если я буду побежден, если я буду совершенно раздавлен…

Однако то, что он хотел бы выразить, было слишком неопределенно и в слова не укладывалось. Он на мгновение остановился и снова начал повторять те же неопределенные фразы, которыми хотел поддержать бодрость. Но вот, наконец, слова вернулись к нему и потоком полились из его уст…

Многое из того, что он говорил, представляло лишь общие места гуманитарных взглядов прошлого века. Но убеждение, звучавшее в его голосе, придавало им жизненность. Он говорил о прежних временах этому народу новой эпохи и женщине, стоявшей около него.

— Я пришел к вам из прошлого, — сказал он, — с воспоминанием о веке, который жил надеждой. Мой век был веком мечтаний, веком начинаний и благородных надежд. Мы покончили с рабством во всем мире; мы распространили по всему миру желание и надежду, что скоро прекратятся войны, что все, мужчины и женщины, будут вести благородную жизнь в мире и свободе…. Так надеялись мы в эти минувшие дни! Но что сталось с этими надеждами? Что сталось с человечеством по прошествии двухсот лет? Огромные города, могущественные силы, величие коллективной работы превзошли наши мечты. Мы не стремились к этому, но это пришло. Но что же сталось с маленькими жизнями, созидающими эту великую жизнь? Как вообще живут теперь люди? Как и раньше было, человек продолжает жить в горе и труде, живет скудно и чувствует неудовлетворенность, живет, искушаемый властью, богатством, неразумно расходует свою жизнь и

совершает безумства. Старые верования вымерли и изменились. А новая вера…. Да существует ли новая вера?

И он почувствовал вдруг, что начинает верить в то, во что ему так хотелось верить. Он окунулся в эту веру и крепко ухватился за нее, некоторое время продержавшись на ее высоте. Он говорил порывисто, отрывочными фразами, но вкладывал в них всю силу и искренность той новой веры, которая теперь была в нем. Он говорил о величии самоотречения, о вере в бессмертную жизнь человечества, с которой мы живем, двигаемся и осуществляем свою жизнь. Его голос то повышался, то падал, и воспринимающие аппараты, казалось, с одобрительным жужжанием отмечали его речь. Слуги в тени комнаты молча прислушивались к его словам. Присутствие же безмолвной слушательницы, стоявшей возле него, поддерживало в сомнительных местах его воодушевление и его искренность.

В течение нескольких блестящих моментов, подхваченный волной своего воодушевления, он уже не сомневался более в себе, верил в силу своих героических слов, и эти слова как будто сами собой рождались у него. Его красноречие лилось свободной рекой. Наконец он произнес заключительные слова:

— В этот момент и здесь я передаю вам свою волю! — сказал он, — Все, что принадлежит мне в этом мире, я отдаю народу мира. Отдаю это вам, и себя самого тоже отдаю вам! И как богу будет угодно, я буду жить для вас или умру!..

Он кончил, сделав красноречивый жест, и повернулся.

На лице девушки отражалось его собственное воодушевление. Глаза их встретились. В ее глазах блестели слезы энтузиазма.

— Я знаю, — прошептала она. — О! Повелитель мира, государь, вы должны были это сказать.

— Я сказал, что мог, — ответил он медленно и на мгновение взял ее протянутую руку.

Человек в желтом очутился возле них. Никто не видал, как он подошел. Он сказал им, что юго-западные части уже выступили.

— Я не ожидал этого так скоро! — кричал он. — Они сделали чудеса. Вы должны послать им слово одобрения, чтобы поддержать их.

Грехэм рассеянно взглянул на него, словно не понимая, о чем идет речь. Но вдруг он вспомнил, и прежняя тревога относительно летательных станций снова вернулась к нему

— Да, — сказал он. — Это хорошо, очень хорошо. Скажите же им: "Хорошо сделано, юго-запад!"

Он снова посмотрел на Элен. Его лицо отражало борьбу, которая происходила в нем.

— Мы должны захватить летательные станции, — пояснил он. — Если мы этого не сделаем, то они высадят негров. Мы во что бы то ни стало должны предупредить это...

Но произнося эти слова, он уже почувствовал, что говорит не то, что было у него в уме за мгновение перед этим. Он заметил легкое изумление в ее глазах. Она как будто собиралась что-то сказать, но пронзительный звон заглушил ее голос.

Грехэм тотчас же пришло в голову: она ждала от него, что он будет предводительствовать народами, и что именно это он и должен был сделать!

Он обратился к человеку в желтом и сказал ему. Но говорил он для нее и видел радость в ее глазах!

— Здесь я ничего не делаю, — заметил он.

— Это невозможно! — протестовал человек в желтом. — Ваше место здесь…

Он начал подробно объяснять ему и указал комнату, где он должен был ждать.

— Иначе поступать нельзя, — сказал он. — Мы должны знать, где вы находитесь. Каждую минуту может наступить кризис и потребуется ваше присутствие и ваше решение.

В его уме пронеслась картина великой драматической борьбы масс, происходившей здесь, в развалинах. Но теперь грандиозного зрелища не будет. Ему остается только ждать в уединении и тревоге — ждать того, что будет!

Только после полудня ему удалось получить некоторое представление о битве, невидимой и неслышной, свирепствовавшей в четырех милях от него, под Рогемптонской станцией. Странное и небывалое сражение, распадавшееся на сотни тысяч маленьких битв, происходивших среди сети путей и каналов, где люди сражались, не видя ни неба, ни солнца, при сиянии электрического света, сражались в полном беспорядке, как не обученные военному делу и поощряемые только отдельными возгласами. Это были народные массы, отупевшие под влиянием бессмысленного труда и обессиленные двухвековым рабством, доставлявшим им обеспеченное существование. Они сражались с массами, деморализованными вследствие чувственной распущенности и продажных привилегий, которыми они пользовались. У них не было ни артиллерии, ни разделений по родам оружия. И с той, и с другой стороны единственным оружием был маленький зеленый металлический карабин, тайная фабрикация которого и внезапная раздача в огромных количествах были одним из главных актов Острога, действовавшего против Совета. Но мало кто имел какое-нибудь понятие

о том, как надо обращаться с таким оружием. Многие еще ни разу не имели его в руках раньше, другие же явились без снарядов. Более дикой стрельбы еще не бывало в истории войн! Это была битва добровольцев, не воевавших на войне, отвратительная бойня, где люди учились военному делу на опыте. Вооруженные мятежники, подстрекаемые словами и дикими звуками Песни Восстания, сражались с такими же вооруженными мятежниками и, побуждаемые сочувствием других, бросались бесчисленными толпами к узким путям, по испорченным лифтам к галереям, скользким от крови, к залам и проходам, наполненным дымом, вблизи летательных станций и там на опыте знакомились, когда отступление было отрезано, с древними мистериями войны…

А вверху, за исключением нескольких искусных стрелков на крыше и нескольких полосок и облачков дыма и пара, ничто не смущало ясности дня. Только к вечеру число этих облачков увеличилось, и они сгустились и потемнели. Острог, по-видимому, не имел в своем распоряжении бомб, в ранних же стадиях битвы летательные машины не принимали участия. Ни единое облачко не омрачало блестящей синевы неба, которое оставалось пустынным, точно застыло в ожидании появления аэропланов.

Известия о них приходили из разных пунктов, все более и более близких: сначала из испанских городов, потом из Франции. Но о новых пушках, отлитых Острогом, которые должны были находиться в городе, Грехэм ничего не узнал, несмотря на свои настойчивые расспросы. Не было также получено никаких известий о каком-либо успехе в битвах, охвативших кольцом летательные станции. Секции рабочих обществ одна за другой извещали о том, что они выступили в поход, затем о них не было больше никаких известий, и они исчезали внизу в лабиринте боя.

Что же происходило там? Даже деятельные вожди отдельных частей не знали ничего!

Несмотря на стук отворяемых и затворяемых дверей, на голоса торопливых гонцов, на звон колокольчиков и постоянную трескотню передающих приборов, Грехэм все же чувствовал себя изолированным и как-то странно бездеятельным и бесполезным.

Их изолированность в эти минуты казалась ему временами наиболее странной и неожиданной вещью из всего того, что ему пришлось пережить после своего пробуждения. В этом было нечто, напоминавшее ему ту неподвижность, которую человек испытывает во сне. Оглушительный шум и неожиданное открытие, что между ним и Острогом загорелась мировая борьба, — и затем это заключение в тихой маленькой комнате, с ее говорильными и звуковыми приборами и разбитым зеркалом!..

Вот закрывается дверь, и Грехэм и Элен остаются одни, отделенные от этой небывалой мировой бури, бушующей снаружи, и чувствующие только присутствие друг друга и только занятые друг другом! Но когда вновь открывается дверь и входят гонцы или резкий звон нарушает спокойствие их убежища, то это производит такое впечатление, словно ураганом внезапно раскрывается окно в хорошо освещенном и прочно выстроенном доме. Тогда к ним врываются мрачная суетливость, суматоха, напряжение и ярость борьбы и на время захватывают их.

Но они были не участниками событий, а только простыми зрителями и лишь воспринимали впечатления этой страшной борьбы. И даже самим себе они казались не реальными, а какими-то бесконечно малыми изображениями жизни. Единственно реальными были: город, трепещущий, гудящий, охваченный яростью, и аэропланы, неуклонно стремящиеся к нему через воздушные пространства…

Несколько минут они ничего не слышали, между тем за дверью послышался топот и раздались крики. Девушка вздрогнула и вся превратилась в напряженное внимание.

— Что это? — закричала она и вскочила, безмолвная, сомневающаяся, но уже торжествующая.

Грехэм тоже услышал. Металлические голоса кричали: "Победа!"

В комнату, быстро отдернув портьеры, вбежал человек в желтом, растрепанный и дрожащий от сильнейшего волнения.

— Победа! — кричал он. — Победа! Народ одолевает. Люди Острога поддались.

Элен привстала.

— Победа? — переспросила она.

— Что такое? — спросил Грехэм. — Скажите, что такое?

— Мы вытеснили их из нижних галерей в Норвуде. Стритхэм весь в огне, а Рогемптон наш!.. Наш!.. И мы захватили моноплан.

Раздался пронзительный звон. Из комнаты начальников отдельных частей вышел взволнованный седой человек.

— Все кончено! — крикнул он.

— Что из того, что Рогемптон в наших руках! Аэропланы уже показались в Булони!

— Канал, — сказал человек в желтом и быстро сделал подсчет.

— Через полчаса.

— В их руках еще три летательные станции, — сказал седой человек.

— А пушки? — вскричал Грехэм.

— Мы не можем их снарядить в полчаса.

— Значит, они найдены?

— Слишком поздно, — сказал старик.

— Если бы их можно было задержать еще хоть на полчаса! — воскликнул человек в желтом.

— Ничто не может остановить их теперь, — заметил старик. — У них почти сто монопланов в первом отряде.

— Еще один час? — спросил Грехэм.

— Быть так близко от победы… теперь, когда мы нашли пушки! — вскрикнул человек в желтом. — Так близко!.. Если б мы могли поднять их на крыши!

— А сколько времени потребуется на это? — внезапно спросил Грехэм.

— Час, конечно.

— Слишком поздно! — вскричал начальник части. — Слишком поздно!

— Слишком поздно? — переспросил Грехэм. — Даже теперь…. Ведь только час!

У него вдруг блеснула мысль о возможности найти выход. Он старался говорить спокойно, но лицо его было бледно.

— У нас есть еще один шанс. Вы говорили, что там есть моноплан? — спросил Грехэм.

— Да, на Рогемптонской станции, сэр.

— Испорчен?

— Нет. Он лежит поперек дороги. Поставить его на рельсы не стоит труда. Но у нас нет аэронавтов!

Грехэм посмотрел на них и на Элен и, помолчав, опять спросил:

— У нас нет аэронавтов?

— Ни одного.

— Аэропланы неповоротливы в сравнении с монопланами, — сказал он задумчиво.

Он внезапно повернулся к Элен. Его решение было принято.

— Я должен пойти на эту летательную станцию, где лежит моноплан.

— Что же вы хотите сделать?

— Я ведь аэронавт. Во всяком случае… эти дни, за которые вы упрекали меня, не пропали даром!

Он повернулся к человеку в желтом и сказал

— Велите им поставить моноплан на рельсы.

Человек в желтом стоял в нерешительности.

— Что вы хотите сделать? — вскричала Элен

— Ведь моноплан… это для нас еще один шанс.

— Неужели вы хотите?..

— Сражаться, да. Сражаться в воздухе. Я уже думал об этом раньше. Аэропланы ведь неповоротливы. Какой-нибудь решительный человек…

— Но никогда, с тех пор как началось воздухоплавание!.. — вскрикнул человек в желтом.

— Не было надобности, — перебил его Грехэм. — А теперь время пришло. Скажите им это, передайте мое приказание… пусть поставят моноплан на рельсы

Старик с немым вопросом взглянул на человека в желтом, потом кивнул головой и поспешил вон из комнаты. Элен подошла к Грехэму. Она была бледна как смерть.

— Как? Разве один человек может сражаться? Ведь вас убьют!..

— Быть может. Но если не сделать этого или заставить кого-нибудь другого попытаться…

— Но вас убьют, — повторила она

— Я уже сказал свое слово. Разве вы не видите? Нужно спасти Лондон.

Он замолчал. Говорить он больше не мог, только сделал жест, означающий, что нет другого выбора. Они молча посмотрели друг на друга.

Ничего не произошло между ними: ни объятий, ни прощания, мысль о личной любви отошла в сторону перед жестокой необходимостью действовать. Ее лицо выразило нежность и одобрение, небольшим движением руки она указала ему его судьбу.

Он повернулся к человеку в желтом.

— Я готов, — сказал он.

Глава XXIV

ПРИБЫТИЕ АЭРОПЛАНОВ

Два человека в бледно-голубом лежали возле захваченной Рогемптонской станции, границы которой образовали ломаную линию. Они держали свои карабины и всматривались в тень, падающую от соседней станции Уимблдон Парк. По временам они перебрасывались словами друг с другом. Они говорили на испорченном английском языке своего класса и своей эпохи.

Огонь со стороны приверженцев Острога постепенно уменьшался и, наконец, прекратился совсем, и вообще с некоторого времени неприятеля почти не было видно. Однако отзвуки сражения, происходившего далеко внизу, в нижних галереях этой станции, доносились наверх время от времени, и слышны были крики, залпы и шум. Один из лежащих рассказывал другому, что он видел внизу

человека, который пробирался за балками; он тотчас же, прицелившись в него, выстрелил и уложил его на месте.

— Вон там, внизу, он и до сих пор лежит там, — сказал довольный собой стрелок, — Посмотри на это пятнышко… вон там… между этими балками.

В нескольких футах от них лежал убитый иностранец лицом к ним. На синей холстине его блузы виднелась маленькая круглая дыра, края которой тлели. Она соответствовала пулевой ране в груди. Рядом с мертвым сидел раненый с перевязанной ногой и каким-то неподвижным взглядом смотрел, как горел холст у краев раны. За ними обоими, поперек платформы, лежал захваченный моноплан.

— Я вовсе ничего не вижу! — сказал вызывающим тоном товарищ стрелка.

Стрелку это не понравилось, и он с жаром принялся доказывать ему, что он должен видеть. Но его разглагольствования были внезапно прерваны криком и шумом, доносившимися снизу.

— Что это происходит? — воскликнул он, приподнявшись на одной руке, и начал всматриваться в верхние ступени лестницы, выходящей на середину платформы. Толпа людей, одетых в синий холст, поднималась по лестнице.

— Зачем пришли сюда эти дураки! — воскликнул он недовольным тоном, — Они только создают тесноту и мешают стрелять. Что им тут понадобилось?

— Шш!.. Они что-то кричат.

Оба прислушались. Толпа вновь пришедших густой массой окружила машину. Три начальника частей, выдававшиеся своими черными

мантиями и значками, вскарабкались внутрь кузова и оттуда вылезли наверх.

Стрелок привстал на одно колено и с удивлением заметил:

— Они ставят его на платформу…. Вот зачем они пришли.

Он вскочил на ноги. Его товарищ сделал то же самое.

— Какой смысл! — воскликнул он. — Ведь у нас нет аэронавтов!

— А они все-таки ставят, — сказал другой.

Он взглянул на свое ружье, на суетящуюся толпу и, вдруг обернувшись к раненому, сказал, передавая ему ружье и пояс с зарядами:

— Побереги это, товарищ!

Через минуту он уже бежал к моноплану.

В течение четверти часа он работал изо всех сил вместе с другими, обливаясь потом, крича и подбадривая товарищей, и, наконец, когда дело было сделано, он вместе с толпой издал радостный, торжествующий крик.

В толпе он узнал то, что знал уже каждый в городе.

Повелитель, хотя и новичок в этом деле, все же хочет сам полететь на этой машине и идет сюда, чтобы принять ее в свое ведение. Он никому не даст заменить себя!

— Тот, кто подвергает себя величайшей опасности, кто несет наиболее тяжелое бремя, тот и есть настоящий вождь! — так говорил повелитель.

Стрелок продолжал восторженно кричать, весь мокрый от пота, струившегося по его лицу, как вдруг оглушительный рев толпы покрыл его голос. Сквозь этот рев временами прорывались громкие, призывные звуки революционной песни.

Толпа расступилась, и он увидел головы людей, густым потоком покрывавших лестницу.

— Повелитель идет! Повелитель идет! — кричали голоса.

Толпа кругом становилась все гуще. Стрелок постарался протиснуться ближе к центральной площадке.

— Повелитель идет!.. Спящий!.. Повелитель!.. Бог и повелитель! — ревела толпа.

И вдруг совсем близко от себя стрелок увидел черные мундиры революционной гвардии и в первый и в последний раз в жизни увидел Грехэма, который прошел совсем близко около него. Высокий, смуглый человек, в развевающейся черной мантии, с бледным энергичным лицом и глазами, устремленными вперед. Он, очевидно, не видел, не слышал и не замечал ничего, что делалось вокруг…

Во всю свою жизнь потом стрелок не мог забыть промелькнувшего перед ним бледного, бескровного лица Грехэма. Через минуту он исчез, затерялся в нахлынувшей толпе. Какой-то мальчик со слезами ужаса в глазах столкнулся со стрелком, протискиваясь к лестнице. Он кричал изо всей мочи:

— Очистите старт, вы, дураки!

Раздался громкий, немелодичный звон колокола, призывающий народ очистить летательную станцию.

С этим звоном в ушах Грехэм приблизился к моноплану и вступил в тень его наклонного крыла. Люди, окружавшие его, выражали желание сопровождать его, но он жестом отклонил их предложения. Он должен был хорошенько сообразить теперь, как привести в движение машину.

Все громче и громче раздавался звон колокола и все быстрее и громче звучали шаги отступающей толпы. Человек в желтом помог ему влезть внутрь. Затем Грехэм взобрался на сиденье аэронавта и очень обдуманно и осторожно укрепил себя там.

Но что это? Человек в желтом показал ему на две маленькие летательные машины, поднявшиеся вверх в южной стороне неба. Без сомнения, они высматривают приближение аэропланов…

Однако самое главное для него в данную минуту — это подняться! Ему что-то кричали, о чем-то спрашивали его, предостерегали. Но это надоедало ему. Он хотел сосредоточиться в мыслях о машине, припомнить свой прежний опыт до мельчайших подробностей. Он махнул рукой и увидел, что человек в желтом скользнул между ребрами монопланa и исчез. Толпа же, повинуясь его жесту, подалась за линию балок.

Несколько мгновений он сидел неподвижно, рассматривая рычаги, колеса, придававшие направление двигателю, и весь сложный механизм, так мало знакомый ему. Он взглянул на нивелир: воздушный пузырек находился прямо против него. Тогда он вспомнил что-то и потратил несколько минут на то, чтоб переместить двигатель вперед до тех пор, пока воздушный пузырек не оказался в центре трубки.

Грехэм обратил внимание, что толпа притихла; криков больше не было слышно. Должно быть, она наблюдает за ним! Вдруг пуля

ударилась в балку, над его головой. Кто это стреляет? Свободен ли путь? Он встал, чтоб посмотреть, и снова сел на место…

В следующую минуту пропеллер завертелся, и машина покатилась вниз, по рельсам. Грехэм схватился за колесо и передвинул машину назад, чтоб приподнять нос…

Послышались крики народа, и через минуту он уже начал подниматься, ощущая содрогание машины. Крики замирали внизу в отдалении, и скоро все затихло. Над щитом свищет ветер, и земля быстро убегает вниз…

Троб, троб, троб! — стучит машина. Грехэм поднимался все выше и выше. Ему казалось, что он не чувствует ни малейшего возбуждения и мысль его может работать спокойно и хладнокровно. Он поднял нос моноплана еще выше, открыл один клапан в левом крыле и, описав дугу, взлетел еще выше. Он спокойно посмотрел вниз, не чувствуя головокружения, а потом наверх. Он увидел, что один из монопланов Острога пересекает линию его направления под острым углом, сверху вниз. Маленькие аэронавты пристально разглядывали Грехэма.

Что у них на уме? Мысль Грехэма энергично работала. Он заметил, что один из аэронавтов поднял ружье и прицелился, видимо приготовляясь стрелять. В чем они подозревают его? В то же самое мгновение он понял их тактику, и у него созрело решение. Временное колебание исчезло. Он открыл еще два клапана в левом крыле, сделал оборот, повернувшись носом к врагу, затем, закрыв клапаны, бросился прямо на него, защищенный от выстрелов носом и экраном. Враг подался в сторону как будто для того, чтобы дать ему дорогу. Он еще поднял нос.

Троб, троб, троб. Пауза. Троб, троб, троб… Он стиснул зубы. Лицо его исказилось судорогой и… трах! Он ударил в них сверху, в ближайшее крыло…

Крыло его противника раскололось от удара во всю ширь и затем медленно скользнуло вниз и исчезло из виду.

Грехэм почувствовал, что нос его машины опускается. Он вцепился руками в рычаги, стараясь повернуть их, чтобы оттянуть двигатель назад. Вслед за тем он снова почувствовал толчок, и нос опять круто поднялся кверху. Ему показалось на мгновение, что он лежит на спине. Машина раскачивалась из стороны в сторону, словно танцуя на своем винте. Он сделал отчаянное усилие, почти повис на рычагах, и, наконец, ему удалось повернуть двигатель вперед. Он поднимался, но уже не так круто.

Передохнув немного, Грехэм опять налег на рычаги. Ветер свистел вокруг него. Еще одно усилие — и моноплан принял почти горизонтальное направление.

Теперь он мог вздохнуть. Он в первый раз оглянулся, чтобы посмотреть, что сталось с его противниками. Повернувшись спиной к рычагам на мгновение, он осмотрелся кругом. В первую минуту ему могло показаться, что враги его исчезли. Но потом он увидел между двумя станциями что-то вроде колодца. Туда что-то быстро скользнуло вниз и скрылось из глаз, падая, точно маленькая шестипенсовая монетка, закатившаяся в щель…

Сначала он не понял, что это, а потом его охватила дикая радость. Он крикнул изо всей силы что-то неопределенное и пронзительное и помчался все выше, выше, к небесам.

Троб, троб, троб. Пауза. Троб, троб, троб…

— Где же другая машина? — подумал он, — Пожалуй, и они…

Всматриваясь в пустынное пространство кругом, он почувствовал на минуту опасение, что эта машина поднялась над ним, но потом он

увидел, что она пристает к Норвудской станции. Очевидно, аэронавты имели в виду только перестрелку. Риск получить удар и ринуться вниз головой с высоты двух тысяч футов, очевидно, превышал мужество современных людей. Поединок не был принят.

Несколько времени он кружился на высоте, а затем круто спустился к западной станции.

Троб, троб, троб… Троб, троб, троб…

Сумерки тихо спускались. Дым со Стритхемской станции, такой густой и черный раньше, теперь превратился в столб пламени. Изгибы подвижных путей, прозрачные крыши и куполы и глубокие пропасти между зданиями слабо мерцали внизу, освещенные электрическим светом, который смягчался сиянием дня.

Три станции, еще остававшиеся в руках сторонников Острога, зажгли сторожевые огни для ожидаемых аэропланов. Станция же Уимблдон Парк не могла быть использована вследствие обстрела из Рогемптона, а Стритхем превратился в пылающую печь.

Пролетая над Рогемптоном, Грехэм увидел чернеющие массы народа, собравшегося там. До него донеслись радостные крики. Просвистела пуля из Уимблдона, и он, еще поднявшись, полетел над Серрейскими холмами.

Дул юго-западный ветер. Вспомнив прием, которому он научился, он поднял свое западное крыло и полетел вверх, где воздух был реже и свежее.

Троб, троб, троб! Троб, троб, троб!..

Он поднимался все выше и выше с каждым ритмическим толчком, пока внизу страна, утопая в синеве, стала неясной, а Лондон

превратился в маленькую карту, начерченную огнями, точно небольшая модель города у края горизонта. На юго-западе небо казалось сапфиром, в темной оправе над краем земли, а по мере того как он поднимался, число звезд все увеличивалось и они становились ярче…

Что это? На юго-западе, далеко внизу, показались две туманные точки, быстро увеличивающиеся. Затем еще две и, наконец, целая масса каких-то быстро несущихся призрачных теней. Грехэм мог уже сосчитать их. Сначала четыре, потом двадцать. Это был передовой флот аэропланов. За ним виднелось другое туманное пятно, еще более широкое.

Грехэм описал полукруг, всматриваясь в этот приближающийся флот. Аэропланы, словно гигантские светящиеся чудовища, неслись треугольником в нижних слоях воздуха. Он быстро вычислил их скорость и повернул колесо, перемещавшее двигатель вперед. Он тронул рычаг, и стук машины прекратился. Грехэм начал падать все быстрее и быстрее. Он направился прямо в вершину клина, образуемого аэропланами, и падал словно камень, пронизывающий воздух. Должно быть, не прошло и секунды с того момента, как он начал падать, и он уже ударил в передовой аэроплан.

Ни один человек из этой черной толпы не видел ничего, не подозревал грозящей ему судьбы и не думал о соколе, который мог ударить с высоты небес! Те, кто не испытывал страданий воздушной болезни, вытягивали свои черные шеи, чтобы рассмотреть вдали беззащитный город, встававший перед ними в тумане, богатый и блестящий, с которым им предстояло расправиться, повинуясь приказу хозяина. Их белые зубы сверкали, и блестели лоснящиеся черные лица. Они уже слышали о Париже и думали теперь, что знатно попируют среди этой белой черни.

И вдруг Грехэм нанес им удар…

Грехэм метил в корпус аэроплана, но в самый последний момент у него блеснула счастливая идея. Он повернул в сторону и всей силой своего веса ударил в край правого крыла. От толчка его отбросило назад, и нос машины скользнул по гладкой поверхности края крыла. Он почувствовал, что это огромное сооружение мчится, увлекая с собой и его моноплан. На мгновение он не мог сообразить, что случилось. Но вот он услышал крик, вырвавшийся из тысячи грудей, и увидел, что его машина балансирует на краю громадного крыла и опускается все ниже и ниже. Взглянув через плечо, он увидел, что хребет аэроплана и противоположное крыло поднимаются вверх. Перед ним мелькнули ряды висячих кресел, лица с застывшим на них выражением испуга, руки, судорожно цепляющиеся за перила сидений. В другом крыле были настежь открыты клапаны вследствие попыток аэронавта выпрямить машину. Дальше он увидел второй аэроплан, круто поднимающийся вверх, чтобы избежать воздушного водоворота, образующегося вследствие падения такой махины. Широкая поверхность размахивающих крыльев вдруг точно подпрыгнула в воздухе. Грехэм почувствовал, что его моноплан освободился, а чудовищное сооружение, перевернувшись, повисло над ним, как наклонная стена.

Он не понимал ясно, что ударил в боковое крыло аэроплана и соскользнул с него. Но он заметил, что летит теперь свободно вниз и быстро приближается к земле.

Что он сделал? Сердце его стучало так сильно, точно в груди у него была машина, и был один опасный момент, когда не мог двинуть рычагов, потому что руки его были точно парализованы. Но, очнувшись, он налег изо всей силы на рычаги, чтобы повернуть двигатель назад. С трудом справившись с тяжестью, он все же заставил машину выпрямиться и принять почти горизонтальное направление. Тогда он пустил в ход двигатель.

Он посмотрел вверх и увидел, что два аэроплана несутся высоко над его головой. Посмотрел назад и увидел, что главный флот разлетелся в разные стороны и вверх. А тот аэроплан, который он сбил, падал ребром

вниз, вонзаясь, точно гигантское лезвие, в линию колес ветряных двигателей, находящихся под ним.

Он опустил хвост моноплана и посмотрел снова, не обращая внимания на направление своего полета. Он увидел, как поддались ветряные двигатели, и огромное сооружение коснулось земли. Нижние крылья согнулись от тяжести падающей массы, затем аэроплан перевернулся вверх дном и, рухнув вниз, разбился вдребезги.

Вдруг из груды обломков вырвался тонкий язык белого пламени и поднялся к зениту. Но в ту же минуту Грехэм заметил, что прямо на него несется громадная масса. Он повернул вверх как раз вовремя, чтобы избежать нападения, — если только это было нападение, — второго аэроплана. Внизу со свистом, точно вихрь, пролетел аэроплан и сильным движением воздуха увлек Грехэма за собой на некоторое расстояние, так что чуть не перевернул его.

Тут Грехэм заметил, что три других мчатся прямо на него. Он понял безусловную необходимость находиться над ними. Аэропланы были кругом него, но казалось, они сами хотели ускользнуть от него и поэтому описывали широкие круги. Они пронеслись мимо него вверху, внизу, на востоке и западе. Очень далеко к западу слышны были звуки какого-то столкновения и промелькнули два падающих огня.

С юга приближалась вторая эскадра. Он опять поднялся выше, но не решался броситься на них, так как не знал, достаточна ли достигнутая им высота. А затем обрушился на свою вторую жертву, и весь ее живой груз, состоящий из черных солдат, видел его приближение.

Огромная машина накренилась и закачалась в воздухе, когда обезумевшие от страха люди бросились к корме, чтоб достать свое оружие. Град пуль пронизал воздух, и в толстом стекле экрана, защищающего от ветра, образовалось звездообразное отверстие. Аэроплан стал быстро опускаться, чтоб избежать его удара, и опустился

слишком низко. Но Грехэм вовремя заметил ветряные колеса Бромлейского холма, быстро вертевшиеся навстречу ему. Он круто повернул кверху, а в это время аэроплан попал на колеса. Раздался треск и протяжный, дикий вой тысячи голосов, огромное сооружение точно замерло на мгновение между осколками разбитых колес и ветряных крыльев, но затем разлетелось в куски. Огромные обломки взлетали на воздух. Двигатели рассыпались вдребезги, как скорлупа. Высокий столб пламени поднялся вверх, в темнеющее небо…

— Два! — вскрикнул Грехэм, и точно в ответ сверху упала бомба, разрываясь на лету. Он тотчас же снова поднялся. Его охватила опьяняющая радость. Сразу исчезли все его тревожные мысли о человечестве, о собственной непригодности. Он испытывал ощущение воина, наслаждавшегося своей силой в бою. Аэропланы, по-видимому, преследовали только одну цель — избежать его и поэтому бросались врассыпную. Когда они пролетали мимо, то он слышал вой их человеческого груза, доносившийся к нему с порывами ветра.

Он выбрал третью жертву и быстро погнался за ней, но ему удалось только перевернуть аэроплан на ребро. Тем не менее хотя аэроплан и ускользнул от него, но он все-таки разбился о высокий выступ лондонской стены. Опустившись под влиянием толчка,

Грехэм пролетел так близко от темнеющей внизу земли, что даже успел разглядеть испуганного кролика, убегавшего по склону холма. Но он тотчас круто поднялся вверх и увидел, что летит над южным Лондоном и все воздушное пространство около него пусто. Справа от него с треском и шумом лопались сигнальные ракеты приверженцев Острога, производя дикую сумятицу в воздухе. На юге пылали обломки полдюжины воздушных кораблей, а на востоке, западе и севере убегали от него другие воздушные корабли. Они летели в разные стороны, потому что совершенно не могли останавливаться в воздухе, а при общем смятении всякая попытка к эволюциям непременно привела бы к роковым столкновениям.

Грехэм лишь с трудом оценил все значение того, что им было сделано. Аэропланы везде отступали, везде! Они точно таяли в воздухе, становясь все меньше и меньше. Они бежали!..

Он пролетел мимо Рогемптонской станции приблизительно на высоте двухсот футов. Она была черна от наполнявшего ее народа, оглашавшего воздух своими ликующими криками. Но отчего же и Уимблдон Парк также черен от толпы и оттуда также несутся ликующие крики? Дым и пламя Стратхемской станции заслоняли три другие станции.

Грехэм опять поднялся и описал круг, чтобы посмотреть, что делается на них и в северных кварталах. Сперва выступили из-за дыма четырехугольные строения Шутерс-Хилла. Они были освещены и в полном порядке. Там уже пристали аэропланы и высаживали негров. Затем показался Блэкхит, и из-за дыма выглянул Норвуд. К Блэкхит не пристало ни одного аэроплана, Норвуд был покрыт толпой маленьких черных фигурок, в страшном смятении бегающих взад и вперед.

Что же случилось?.. Вдруг он понял. Упорная защита летательных станций, очевидно, прекратилась, и народ ринулся в подземные пути, ведущие к этим последним твердыням Острога, захватившего их. А затем, с далекой северной границы города, донесся звук, полный для него великого, прекрасного значения. Это был сигнал, звук торжества, глухой звук пушечного выстрела…

Он глубоко вздохнул и крикнул, крикнул в воздушную пустыню, окружавшую его:

— Они побеждают! Народ побеждает!..

Точно в ответ на его крик грянула вторая пушка. А затем он увидел, что моноплан в Блэкхите бежит по своим рельсам и поднимается вверх, плавно и свободно. Он прямо понесся к югу и скрылся от него

Но Грехэм тотчас же сообразил, что это значит. Это бежит Острог!..

Грехэм вскрикнул и тотчас же бросился за ним. Он находился уже на нужной ему высоте и теперь необыкновенно быстро скользил вниз по наклонной линии. Но другой моноплан круто поднялся вверх при его приближении, и так как Грехэм мчался с чрезвычайной скоростью, то пролетел мимо него.

Грехэм промчался дальше, стремглав летя вниз со всею силой своего неудачного удара.

Это привело его в бешенство. Он с силой дернул двигатель назад и круто поднялся вверх, описывая круги. Он видел, что впереди и выше него несется по спирали машина Острога. Поднявшись вертикально, он сразу обогнал его вследствие силы своего разгона и оттого, что на его стороне было преимущество меньшего веса.

Стремглав бросившись вниз, он опять промахнулся. Когда он проносился мимо, то увидел спокойное и хладнокровное лицо аэронавта и мрачную решимость в позе Острога. Острог упорно смотрел в сторону, прямо на юг…

Грехэм с бешенством подумал, что его полет должен быть очень неумелым. Внизу он видел Кройдонские холмы. Поднявшись вверх, он снова обогнал своего врага.

Вдруг он оглянулся, и внимание его приковало к себе странное явление. Восточная станция, одна из тех, которые находились на Шутер-Хилле, как будто поднялась на воздух. Что-то сверкнуло, и затем появилось большое серое облако, точно какая-то огромная, закутанная в дым фигура, несущая на своих плечах глыбы металла. Несколько мгновений эта фигура держалась неподвижно в воздухе, затем с плеч ее стали падать громадные металлические массы и с головы стало спадать покрывало дыма.

Народ взорвал станцию, аэропланы и все!

Внезапно вспыхнула вторая молния, и над Норвудской станцией тоже показалось серое облако. Пока Грехэм смотрел на это, раздался глухой гул, и волна от первого взрыва ударила в него…

Несколько мгновений его моноплан летел вниз, почти под углом, зарываясь носом и точно колеблясь, окончательно перевернулся в воздухе. Грехэм стоял под щитом, стараясь изо всех сил повернуть колесо двигателя, вертевшееся над его головой. А затем воздушный толчок от второго взрыва положил его машину на бок.

Он судорожно вцепился в одно из ребер своей машины. Воздух со свистом пронесся мимо него вверх, и ему на мгновение показалось, что он неподвижно висит в воздухе и только ветер свистел около него.

Вдруг ему пришло в голову, что он падает. Да, это было несомненно! Он не мог взглянуть вниз.

Как молния, пронеслась в голове его мысль обо всем, что произошло со времени его пробуждения. Он вспомнил дни сомнений, дни владычества и шумное открытие ловко задуманной измены Острога…

Все это видение показалось ему нереальным. Кто же он такой? Почему он держится так крепко руками? Почему он не может отнять рук? Каким падением кончались его бесчисленные мечты! Через минуту он проснется…

Мысли его неслись все быстрее и быстрее. Увидит ли он Элен когда-нибудь. Было бы так нелепо, если б он ее больше не увидел!

Он вдруг почувствовал, что земля совсем близко, хотя и не мог взглянуть на нее.

Последовал удар, страшный хруст и скрежет кипящего металла.